р. 50 к.

А. С. ШАПОВАЛОВ

В ПОДПОЛЬЕ

1 9 3 1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. С. ШАПОВАЛОВ

В157 469

947 РД
Ш 24

В ПОДПОЛЬЕ

ЦРОВ. 1936

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

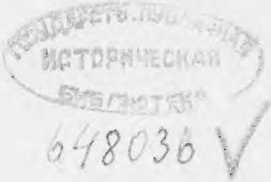
КОММУН. УНИВЕРС. НАЦ. ЖЕН. ЗАВ. ИСКЛЮЧЕН КАБИНЕТ ЛЕНИНИЗМА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА ★ 1931 ★ ЛЕНИНГРАД

Редактор серии „Мемуары, воспоминания"
Т. М. КОПЕЛЬЗОН

Отпечатано в типографии
„ШЕСТОЙ ОКТЯБРЬ"
г. Загорск, Московской обл.
в количестве 5000 экз.
Главлит № А 83 622.
С. 52. Гиз № 43117.
Заказ № 776
15 п. л.



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.

Содержанием предлагаемой вниманию читателя книги является описание событий, бытовых условий и переживаний, которые сопутствовали жизни рабочего революционера-большевика, начиная с 1901 г. и кончая 1906 г. Собственно говоря, книга представляет собой описание того участия, которое автор книги принял в подготовительном периоде партийной революционной работы, приведшей к нашей первой революции 1905 г. Книга начинается рассказом о возвращении автора из сибирской ссылки к революционной подпольной работе и заканчивается описанием участия автора в революции 1905–1906 гг.

Первые шаги автора на революционном поприще, приведшие его через борьбу с религией и участие в партии „Народная воля" к революционному марксизму, описаны автором в его первой книге „На пути к марксизму", выдержавшей три издания. Дальнейшие события в его жизни, разыгравшиеся среди рабочих Бельгии и Франции, описаны им в его третьей книге — „В изгнании".

Хотя рабочие Западной Европы ведут борьбу за свое освобождение уже два столетия, но пишут они о своих переживаниях, о своем .внутреннем „я" в этой борьбе очень мало или совсем ничего не пишут. Между тем свободные рабочие, а за ними и рабы, например в древней Греции, начали свою борьбу еще две тысячи лет назад. Сами они ничего не написали о себе.

Только после Октябрьской революции, при советской власти

угнетенный рабочий смог подняться до возможности самостоятельно написать несколько книг о своей жизни и борьбе.

Одним из таких рабочих, начавших свою революционную деятельность еще в 90-е годы прошлого столетия, посвятивших свою жизнь освобождению рабочего класса, и является автор данной книги.

Москва, 23 сентября 1930 г.

„Труд этот, Ваня, был страшно громаден.
Не по плечу одному".

Некрасов.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ОТ МИНУСИНСКА ДО КРАСНОЯРСКА.

Под звон бубенчика, под песни ямщика возвращался я в конце марта 1901 года в санях, в крестьянской кошовке, на паре сибирских коней из сибирской ссылки. Я торопился. Стояла уже довольно теплая погода. Дорогой крестьяне поговаривали, что лед у берегов рек Енисея и Чулыма мог уже стать опасным для переправы.

„Вдруг на самом деле из-за одного только переезда на другой берег реки я принужден буду задержаться на неделю и более?", начинал думать я.

Затем другая, еще более тревожная мысль приходила мне в голову.

„А что, если из Департамента полиции вдруг придет приказ немедленно меня вернуть с дороги обратно в Тесь или в какую-нибудь другую глухую сибирскую дыру? Тогда пропало все. Я не встречу в России милых товарищей — Курнатовского, Ленгника и других; мне не придется принять участие в революционной борьбе русских рабочих. Я не увижу даже России. Я обречен буду снова влачить жалкое существование и изнывать в Сибири".

При одной этой мысли я холодел от ужаса. Все надежды, все мечты, все желания у меня сосредоточивались на одном — немедленном отъезде из Сибири по окончании ссылки, и вдруг... То, что было мечтой моей жизни в течение трех лет, могло рушиться по капризу какого-нибудь чиновника в один миг, как карточный домик.

Мне хотелось мчаться в кошовке не только днем, но и ночью. — Скорее! — говорил я себе, под влиянием этой мысли. Погоняй, ямщик! Неситесь стрелой, крепкие сибирские кони! Звоните громче, колокольцы! Быстрей! Быстрей! Пусть поднимется столбом снежная пыль! Пусть замелькают копыта коней! Пусть развеются по ветру от быстрой езды гривы коней! Эй, скорее! Только скорей!

Поэтому я с неохотою слушал ямщиков, когда они вечером, добравшись до какой-нибудь деревни, заявляли, что нужно остаться на ночлег.

— Я дальше не еду, — заявлял мне обыкновенно ямщик, привезший меня в эту деревню. — Здешние тоже не повезут тебя ночью.

— Оставайся ночевать у нас, завтра чуть свет выедем, — говорил ямщик из этой деревни.

Я оставался и сталкивался с одним из бытовых явлений сибирской деревни того времени.

Сибирская девушка и женщина пользовались большей свободой располагать собой, чем в самой России. В деревнях на проезжей дороге они любили поболтать с проезжим, посмотреть на него, а при случае, как они выражались, и „погулять".

В избу, где я останавливался, как бы мимоходом приходили они. Некоторые ограничивались лишь тем, что заглядывали в дверь; другие, побойчее, войдя в избу, тотчас уходили, видя, что я не обращаю на них особенного внимания. Но находились среди них более смелые. Они подходили к столу, за которым я сидел.

— Напиши, — говорит, — проезжий, письмо мне. Говорят, грамотный ты. — А сама подсаживается ближе, плечом к плечу.

— Слышишь, проезжий, может, подаришь на платье? — шепчет она, а сама заглядывает влекущим таинственным взглядом.

Я отодвигался.

— Письмо я напишу, — говорил я. — Что касается платья, подожди другого проезжего, приискателя или купца, или еще кого другого. У меня денег нет.

— Врешь ты, — говорит она. — Просто ты жадный. Все равно когда-нибудь умрешь и денег с собой в гроб не возьмешь. Прощай, язви тебя!

Наутро, чуть светало, снова запрягали коней и продолжали путь. Хороша езда на автомобилях. Но она лишена тех преимуществ, которые дает любителям красот природы поездка на лошадях. Быстро мчится автомобиль, побеждая пространство, но глаз не успевает всмотреться, запечатлеть в памяти красивые виды, которые природа рассеяла во множестве в холмистой местности. Все сливается в одну серую, безличную линию бесформенного пространства. Другое дело — езда на лошадях! Мы ехали полями, перелесками, тайгой, логами, среди невысоких гор. Слушая, как весело звенят колокольцы, подставляя лицо свободному ветру, всматриваясь в очертания гор, поросших тайгой, в лога, в дали, окутанные голубоватой дымкой, отдаваясь величию природы, я подводил итоги прошлому, пережитому, передуманному. Я старался также представить себе и то будущее, которое ждет меня в России.

. . . . . .

Я примкнул к движению в самый разгар борьбы марксизма с народовольческим учением. Марксизм противополагал народовольческому учению о роли личности в истории организованное массовое рабочее движение. Невольно при этом умалялось значение роли вождей партии и их положительного и отрицательного влияния на революционное рабочее движение.

Это последнее обстоятельство и полная невозможность для того времени предвидеть, что из тов. Ленина выработается вождь не только российской, но и мировой революции, привели к тому, что многие его современники не отнеслись ни к нему самому, ни к его произведениям с тем вниманием и в той степени, как он и его произведения того заслуживали. Например, я, уезжая из Сибири, помнил резолюцию В. И. против „Кредо" Кусковой, за которую голосовал, лишь в самых общих чертах. Основные вехи его учения, как мысль о рабочем классе — гегемоне в революции, о необходимости захвата рабочим классом власти для проведения социалистической революции, о трудящейся массе крестьянства — непосредственном союзнике в борьбе, о сочетании экономической и политической борьбы пролетариата в его классовой борьбе, о роли профсоюзов, с указанием, что они не должны быть узкими по своим целям, а должны стремиться к всеобщему освобождению миллионов рабочего люда, — все это не было мною продумано, понято и усвоено так ясно и отчетливо, как это было бы необходимо для ученика тов. Ленина.

Кроме того, все это объясняется еще тем, что в 1901 году почти все перечисленные мною вопросы имели скорее лишь чисто теоретическое значение и только лишь намечались, но не вставали во всей своей остроте.

Роль самого тов. Ленина, не только как превосходного теоретика, но и рулевого русской революции, усвоившего, как никто, искусство вносить сознательное отношение в стихийный процесс, умевшего применять, внедрять революционный марксизм в жизнь, в массовое революционное движение рабочего класса, вести рабочий класс через множество казавшихся непреодолимыми препятствий к победе, — эта роль мне, как и огромному большинству товарищей, в то время не была ясна.

Добравшись, наконец, до Ачинска, войдя в вокзал, я, к досаде, узнал от проходившего мимо кондуктора, что пассажирский поезд на Красноярск ушел всего пять минут до моего прихода и что следующего поезда на Красноярск придется ждать целые сутки.

— Как досадно! Я рассчитывал сегодня же попасть в Красноярск, — говорил я кондуктору.

— Да вы с товарным, с нами можете поехать. Самое милое дело!.. Билет не нужно брать, у кассы этой стоять в очереди. Дешевле будет, и сегодня вы будете в Красноярске.

Прельщенный преимуществами езды в товарном поезде, торо-

пясь поскорее попасть в Красноярск, я принял предложение кондуктора и поехал так называемым „зайцем".

Я влез в вагон, который мне указал кондуктор. Поезд действительно скоро тронулся. На одной из остановок к нам в теплушку поднялся сам „обер". Как только поезд опять двинулся, и тайга замелькала перед нашими глазами, он, перемигнувшись с подчиненными ему кондукторами, вдруг крикнул, обращаясь к пассажирам, которых набилась целая теплушка:

— Билеты ваши! Покажите ваши билеты!

Произошел всеобщий переполох. Пассажиры имели вид огорошенных.

— А! Без билетов едете! — закричал обер. — Я вам покажу, челдонам желторотым, как без билетов ездить. Отцу родному закажете. Махоркин, — обратился он к одному из кондукторов, — открывай-ка пошире дверь-то. А ты, Криворотов, хватай-ка за воротник челдонов энтих, да в шею их, вон, на шпалы, в тайгу!

В вагоне начались визг, плач, стоны. Ехало много крестьянок.

— Говорила тебе я, не езди с энтим товарным поездом, — упрекала мужа одна из них. — Из-за тебя, дурака, медведя заимочного, смерть теперь принять придется.

— Это что такое? — обратился я к кондуктору, предложившему мне сесть в теплушку. — Пусть-ка он попробует меня выкинуть из вагона; как бы ему самому там не очутиться!

— Не бойтесь, — шептал мне кондуктор, — он вас не тронет. Сидите себе спокойно. Он просто хочет мало-мало челдонов энтих попугать. Каждый, почитай, раз у нас эта комедия. У них у всех, у желторотых, мошна туга, а они всегда норовят нашармака, задаром проехать, „зайцами" значит.

Кончилось тем, что „зайцы" уплатили „оберу" добавочное, были оставлены в покое и благополучно продолжали путь.

Наконец показался Красноярск.

— До свидания, — говорил мне кондуктор. — Вот и доехали. Только не через главный ход выходите, а вон через ту боковую служебную калитку.

В Красноярске я пробыл в ожидании приезда тов. Ленгника несколько дней. Я здесь познакомился с женой тов. Сильвина — Ольгой Александровной, с тов. Ряховским, Николаем Андреевичем, и его женой Марией Николаевной, а также встретил сына тов. Ковалевского — Стасю, учившегося в железнодорожном училище.

— Я уже веду пропаганду среди учеников училища и даю слово посвятить свою жизнь освобождению рабочего класса, — говорил он мне.

Не знаю, сдержал ли он свое обещание. Впоследствии я его больше не встречал. В Красноярске жило довольно много политических ссыльных. К сожалению, кроме Ряховских, Николая Андре-

евича [1] и Марии Николаевны, я не помню их фамилий. На собрании ссыльных я неожиданно встретился с народоправцем Тютчевым... Сохранив, очевидно, неприязнь к нам, марксистам, за историю с побегом тов. Райчина [2], он прошел мимо, не поздоровавшись.

Сильвин [3] „Мишка", как его звал тов. Ленгник, отбывал воинскую повинность в Красноярске и жил в казарме.

— Что ты делаешь в полку? — спросил его приехавший тов. Ленгник.

— Представь себе, мне полковник поручил полковую школу. Я учу солдат грамоте.

Как только приехал тов. Ленгник, мы, снявшись группой в фотографии и попрощавшись с товарищами, уехали из Красноярска.

СТАНЦИЯ „ТАЙГА" ТОМСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

На станции „Тайга", где жили наши товарищи — Г. М. Кржижановский, З. П. Невзорова и Проминский, мы сделали большую остановку. Здесь мы узнали все новости о Владимире Ильиче. Работая по созданию группы „Искра", В. И. был арестован в Питере весной 1900 года. Через три дня, за недостатком улик, был освобожден и вскоре уехал за границу. В Мюнхене, в столице Баварии, он издал первый номер газеты „Искра" с девизом: „Из искры возгорится пламя!". Но мы не знали, что приезд тов. Ленина в Мюнхен уже тогда был вызван опасением, что в Швейцарии П. Б. Аксельрод и другие, создавшие позднее вместе с Мартовым ядро меньшевизма, вызовут известное сопротивление проведению в „Искре" основной линии тов. Ленина о роли рабочего класса, как гегемона в русской революции.

Тов. Кржижановский, введенный в русский центр организации „Искры", заявил нам, что он собирается переезжать в Россию. З. П. Невзорова, помогая партиям политических, которых гнали в Сибирь, вошла в острый конфликт с жандармским ротмистром станции „Тайга". Последний писал рапорты по начальству, что ему приходится служить на станции с определенным революционером, жена которого оказывает всевозможную помощь государственным преступникам, отправляемым в Сибирь.

При отъезде из „Тайги" неугомонная Зинаида Павловна так усердно помогала нам усаживаться в поезд, что мы с тов. Ленгником по ошибке попали в дамское купе вагона третьего класса.

Заметив свою ошибку и пересаживаясь из вагона в вагон на одной из остановок за станцией „Тайга", я вдруг увидел тов. К., устроенного здесь тов. Кржижановским в качестве помощника железнодорожного мастера по ремонту пути. Обрадован-

---

[1] *Невский, В. И.,* Очерки по истории РКП(б), стр. 491, 492, 502.

[2] *А. Шаповалв,* На пути к марксизму, ч. III.

[3] Там же.

ный встречей с товарищем, я, выскочив из поезда, бросился было к нему, но пораженный, остановился на полдороге, ибо неожиданно тов. К. боязливым жестом указывал на стоящего неподалеку от него своего непосредственного начальника — железнодорожного мастера.

„Как! Он боится, он не решается подойти ко мне, — говорил я себе, — он до такой степени робеет перед начальством! Но ведь всего две-три минуты простоит здесь поезд и умчит меня дальше, и мы, быть может, более никогда не увидимся. Он упускает последний, быть может, случай пожать руку товарищу, сказать ему несколько дружеских слов".

На лице тов. К. я прочел выражение придавленности, какое я видел и у других товарищей, не пожелавших покинуть Сибирь для борьбы, и как бы сознание стыда передо мной. Мне казалось, что он завидовал мне. В его глазах я мог быть своего рода героем, который, не промедлив ни одного дня, едет туда, в Россию, на революционную борьбу, навстречу опасности. Поезд, наконец, умчал меня, и он так и не осмелился подойти ко мне, проститься со мной.

СТУДЕНТЫ-ЗАБАСТОВЩИКИ.

Поезд между тем уносил нас все дальше и дальше... Все вагоны были переполнены студентами Томского университета, объявившими забастовку. Революционное движение в 1901 году начало втягивать в себя и мелкобуржуазные слои населения. Начался террор партии эсеров. Был убит Карповичем министр просвещения Боголепов. Наша партия высказалась против террора партии эсеров.

Массовое революционное рабочее движение, выразителем и передовым отрядом которого явилась наша партия, накладывало свой отпечаток и на массовое движение мелкобуржуазных слоев. Так и студенческое движение приняло форму забастовок. Студенты подражали рабочим.

Студенты-забастовщики, ехавшие в одном вагоне со мною, пели революционные песни, но больше всего:

„Сбейте оковы, дайте мне волю,
Я научу вас свободу любить!..".

Но слово „товарищ" не было слышно в их среде; „коллега", — говорили они, обращаясь друг к другу.

— Как относитесь вы, — спросил я одного из них, казавшегося мне наиболее активным, — к учению Карла Маркса?

— Устарела материалистическая философия вашего Маркса, — ответил он мне. — Новейшая наука опровергла этот, теперь уже старый, хлам.

— Кто же является таким соперником Карла Маркса, которому удалось доказать, что марксизм есть не что иное, как старый хлам?

— Авенариус, — ответил он мне с апломбом, не допускавшим возражений.

Я был очень смущен словами студента. В философии я не был силен и обратился за разъяснениями к тов. Ленгнику, ехавшему в другом вагоне. На одной из остановок, выйдя на платформу, я заметил студента, сторонника философии Авенариуса, гуляющим и что-то живо обсуждающим в компании с сопровождавшим поезд жандармским ротмистром...

— Есть что-то странное, — говорил мне тов. Ленгник, указывая на гулявшую парочку, — если студент не гнушается разговаривать с жандармом.

ПРИЕЗД В ПЕТЕРБУРГ И ПОЕЗДКА В ВЫБОРГ.

В Уфе, выйдя на станцию, я неожиданно встретил Леоновича, с которым я привлекался по делу Лахтинской типографии. Он с жаром начал говорить мне о партии эсеров. Мне очень не понравился сопровождавший Леоновича какой-то подозрительного вида интеллигент, только что завербованный им в партию эсеров. Наблюдая, как последний жадно прислушивался к словам Леоновича, говорившего, что партия эсеров готовит террористические акты, я не мог отогнать от себя мысли: „Охранник, переодетый охранник!“.

— Слушайте, тов. Леонович, — не утерпел я, — что это за сомнительный тип с вами, он так походит на шпика.

— Что вы, что вы! — вознегодовал Леонович. — Да это наш уважаемый товарищ, — и, бросив меня, он снова подошел к своему приятелю, возбудившему во мне такие подозрения.

Проехал Москву, где я в первый раз в жизни, по совету тов. Ленгника, осматривал Третьяковскую картинную галлерею, Румянцевский музей и Кремль, я был поражен оценкой русской живописи, которую давал один профессор своим слушателям. „Существует, — говорил он, — итальянская школа живописи, французская, немецкая, фламандская и даже испанская. Но мы, русские, еще не успели создать своей русской школы в живописи, несмотря на огромные достоинства последней“.

Я направился нелегально в Питер. Тов. Ленгник ехал туда же, но отдельно от меня.

Сердце забилось во мне сильнее, когда, выйдя с Николаевского вокзала, пошел я по улицам города, который будил во мне столько воспоминаний. Нева, гранитные набережные, острова, золотой купол Исаакия, шпиль Адмиралтейства, египетские сфинксы, рабочие кварталы, — все увидел я снова.

В Питере я должен был скрываться.

Стояло начало апреля. Я поселился у студентов, симпатизировавших революции.

— Ты поедешь в Батум, — сказал мне тов. Ленгник, когда я в назначенный день пришел к его хорошему знакомому — инженеру Ульману. — Сначала ты заедешь в Тифлис к тов. Курнатовскому, от него ты получишь все указания. Тебе придется наладить транспорт „Искры", которую должны доставлять на французском пароходе из Марселя в Батум.

— Я хотел бы получить еще другие адреса, — заметил я. — Вдруг что случится. Ведь могут и арестовать тов. Курнатовского. Имея только его адрес, никого, кроме него, не зная в Тифлисе, я могу очутиться там в безвыходном положении.

— Да, ты прав. Я об этом не подумал. Приходи сюда послезавтра в это же время. Кроме адресов, ты получишь и деньги на дорогу.

Попрощавшись с тов. Ленгником, я направился в музеи — Эрмитаж и Русский музей. Вечером я разыскал старых товарищей — И. Дрожжина и Виноградова.

Дрожжин увлекался наукой. Не удовлетворившись вечерней школой, он окончил учительскую семинарию и продолжал усердно заниматься самообразованием.

Встреча со мной, видимо, доставила ему удовольствие. При воспоминании о пережитых днях его красивое лицо становилось мягче. Что-то светлое набегало на него. Глаза загорались каким-то внутренним блеском. Видимо, он с удовольствием вспоминал старое и в эти короткие мгновения искренно жалел, что из-за увлечения наукой временно отстал от движения. Он не переставал оглядывать меня с удивлением. После двух лет тюрьмы и трех лет Сибири он, видимо, ожидал встретить человека, разбитого тюрьмой и ссылкой и разочаровавшегося в революции. Вид человека, вернувшегося оттуда здоровым и крепким и еще более укрепившимся в мысли о необходимости продолжения революционной борьбы, удивлял его.

Петр Виноградов после ареста жил несколько лет на юге России. Ему очень понравились южные рабочие, особенно рабочие-евреи.

— Пожалуй, они выше нас по сознательности и по подготовке, — говорил он.

Вернувшись в Питер, он женился по совету своего дяди, говорившего:

— Надо женить Петьку. Тогда он остепенится.

Женитьба на красивой портнихе начала, как он сознавался сам, его засасывать.

— Не дает мне заниматься, читать. Как я за книги, она бросается мне на шею. „Брось, — говорит, — Петя, книжки эти, зачитаешься"... Принес раз прокламации, она возьми и брось их в печь, а сама стоит и смеется. — „Так-то спокойнее будет, Петя", — говорит. — Уйди, — говорю я ей, — от меня, ведьма. А она

виснет у меня на шее, смеется и кричит:„Не уйду, не уйду. Останусь с тобой, Петя".

Вспомнив, что тов. Оскар Эндберг живет недалеко от Питера, в Финляндии, в Выборге, я решил поехать к нему. Направляясь к нему, я питал надежду вытащить его из Финляндии снова на революционную работу в Россию.

— Чем же вас угощать? — спросил он меня, когда, после долгих поисков по городу, я наконец нашел его и сидел у него в комнате.

— Да ничем, но если уж хотите, то чаем.

— Чаем? — ответил тов. Оскар. — Ну, это у нас будет потруднее.

Он ушел и долго толковал с хозяйкой, объясняя ей, как приготовить чай.

— Не умеют, — объяснял он мне, — финны чай приготовлять. Они кофе пьют.

Хозяйка долго возилась на кухне. Прошло, как мне показалось, не менее часа. Наконец Оскар принес кофейник, в котором хозяйка приготовила чай. Последний был жидкий, от него исходил запах кофе и в довершение всего был холоден.

— Говорил я вам, что не умеют наши финки готовить чай, так и вышло, — говорил тов. Эндберг.

— Что ваша хозяйка бедная очень? У нее нет самовара? — спросил я его, удивленный, что она чай принесла в кофейнике.

— Вот чего захотели! — воскликнул тов. Эндберг. — Самовар! Да знаете ли вы, что говорят фин[illegible] и по поводу чая и по отношению самоваров? „Не хотим ни самоваров, ни чаю: это — русский обычай".

— А между тем здесь столько лесов, столько жгут древесного угля, что самовар как раз подошел бы. А неужели так не любят здесь все русское?

— Очень не любят. Я подозреваю, что хозяйка нарочно приготовила такой плохой, жидкий и холодный чай, только потому, что это здесь считается русским напитком.

— Вы знаете, — продолжал он, — какие у меня в этом смысле были здесь истории? Я вступил в профессиональный союз рабочих по металлу. Здесь все-таки посвободнее, чем в самой России, и здесь рабочие имеют право организовываться в союзы. Так вот, вступив в последний, я, натурально, стал приходить на его собрания. Меня они чрезвычайно интересовали. Вот прихожу я и замечаю, что косятся на меня финны. Собрания у них всегда оканчиваются танцами. Так вот вижу, что девушки, наши работницы, не хотят со мной танцовать. „Что такое? — думаю. — Сам я — финн, говорю превосходно по-фински, люблю Финляндию, и вдруг... Что такое?" думаю. Подхожу к рабочему-финну, начинаю говорить, он мне отвечает: „Мы с русским не желаем разговаривать". Подхожу

к девушке, предлагаю ей на чистейшем финском языке потанцовать со мной, слышу: „Я с русским не хочу танцовать".

Однажды пришел я на собрание. Хожу по залу и вижу, что все от меня отворачиваются. Вдруг подскакивает ко мне секретарь союза и говорит:

— Слушайте, Эндберг, я советую вам бросить носить русскую красную рубашку, мы не любим русских обычаев. Хотите с нами жить мирно — одевайтесь, как одеваются финны, т. е. по-европейски, а не по-азиатски.

— Позвольте, — говорю я, — я считаю русскую мягкую рубашку гораздо более удобной, особенно для работы, чем эти твердые, похожие на кандалы на шее, крахмальные воротнички.

— Дело не в том, что она удобнее или неудобнее, а в том, что она — русская рубашка, что она — русский обычай, что она как бы говорит о примирении с Россией, поработившей нашу маленькую родину, наш прекрасный уголок, нашу Финляндию, которую мы любим безумно. Предупреждаем вас, что если вы не перестанете ее носить, мы принуждены будем принять свои меры, вплоть до исключения вас из союза. Ведь то, что вы носите русскую рубашку, позволяет некоторым из членов союза делать предположение, что вы чуть ли не русский шпион.

Так политика угнетения, проводимая царизмом и господствующим классом старой России, вызывала у представителей малых угнетенных народностей и у рабочих, находившихся под несомненным влиянием своей буржуазии, острую ненависть ко всему, что напоминало Россию.

Простившись с Оскаром Эндбергом, решившим остаться в Финляндии, я вернулся в Петербург. Я поселился опять у интеллигента-студента одного из высших учебных заведений Петербурга. При его посредстве и по его инициативе я в первый раз в своей жизни побывал в государственных театрах, в оперном и драматическом.

Я должен сознаться, что до возвращения из сибирской ссылки ни театр, ни музыка, ни танцы в Петербурге не играли в моей жизни никакой роли. Я сложился, воспитался не под их влиянием. Объясняется это, вероятно, тем, что я вышел из глубоко похороненных низов рабочего класса, которым доступны были лишь водка и религия.

Судя по тому впечатлению, которое произвел на меня театр Гоголя и Островского и опера Бородина, я уверен, что при иных условиях театр и музыка, играющие такую огромную роль в развитии духовного облика человека, помогли бы мне притти к революции раньше и быть может не таким трудным путем, как это имело место на самом деле.

В указанный тов. Ленгником день и час я позвонил у квартиры инженера Ульмана. Отворившая мне дверь горничная взгля-

нула, как мне показалось, как-то странно. В квартире царил беспорядок. Тотчас вышла жена Ульмана, на которой, что называется, лица не было. Видимо, она была чем-то очень расстроена.

— Зачем вы пришли? — сдавленным голосом произнесла она. — У нас случилось страшное несчастье. Сегодня ночью арестовали моего мужа. Уходите скорее, а то и вас могут арестовать.

— А что с Ленгником? — спросил я, в свою очередь обеспокоенный.

— Ах, ничего я не знаю, не медлите ни минуты. Вам оставаться здесь опасно. Я предлагаю вам для вашей же безопасности немедленно уйти через черный ход, а не через парадный.

Видя, что я как бы оцепенел от неожиданного известия, она вскрикнула вне себя:

— Да уходите же, ради бога, скорее!

Ее лицо, взгляд, — все говорило, что она считает меня, как и тов. Ленгника, виновником свалившегося на них несчастья.

— Она права, — сказал наконец я себе. — Надо немедленно уходить.

Положение создавалось довольно затруднительное, особенно после того, как я узнал от встретившего меня студента, у которого я ночевал, что у него тоже, после того как я ушел, был обыск.

Без денег, которых хватало лишь на покупку ж.-д. билета до Батума, с адресом одного лишь Курнатовского я должен был собираться к отъезду в Батум. В Петербурге, среди людей, я почувствовал себя одиноким, как в пустыне. Я не мог среди них отыскать товарищей.

„Незнакомые лично мне, они, может быть, встречались со мной, может, они живут в тех самых домах, мимо которых я проходил", — говорил я себе.

Перед отъездом я зашел к матери. Она жила в углу (угол — часть комнаты).

Трудно описать ее радость, когда она меня увидела, и горе, которое отразилось на ее лице, когда она узнала, что я должен немедленно уехать. Тотчас же она начала безумно рыдать. Она обхватила руками мою шею. Она смеялась и в то же время горько рыдала. Вскоре не только вся квартира, но и многие жильцы в доме узнали, что приехал из Сибири ее сын. Сознавая, что меня могут тут арестовать, я простился и направился к заводам, где я раньше работал.

Сторожа, дворники и даже собаки, выглядывавшие из подворотней, были новые. Я мог безопасно проходить мимо них, никто меня не мог узнать.

„Пять долгих лет прошло с тех пор, — думал я, — как я работал здесь на капиталистов". Я смотрел на мрачные стены заводов и чувствовал снова прилив ненависти к эксплоататорам рабочего класса.

ОТЪЕЗД НА ЮГ.

Простившись с Питером, с заводами, я уехал на юг, где до этого никогда не жил. Стоял апрель. Более мягкая природа, синее небо, необычные для меня, как для жителя севера, яркие звезды, копьеобразные тополя, — все это вызывало во мне восторг перед природой, которая весной снова расцветала во многообразии бытия. С одной стороны, я восторгался картинами южной природы, с другой — я испытывал тоску. Смотря ночью на почти черное небо донских и кубанских степей, на звезды, необычно ярко сверкавшие в выси, на степные огни, мимо которых мы проезжали, я испытывал чувство наслаждения красотой природы. В то же время я тосковал и мне хотелось рыдать и оттого, что моя мать гибнет в тисках нищеты, и оттого, что я попрежнему одинок среди людей... Одиночество угнетало меня и ложилось на мое сердце камнем...

В то время, как я проезжал по кубанской степи, в вагон входили и выходили из него кубанские казаки в своих живописных костюмах.

— Богатый здесь край, — обратился я к одному из них. — Наверное, вам, казакам, хорошо живется?

— Эх, — ответил он совершенно неожиданно для меня, — слава-то у нас казачья, а жизнь-то наша собачья: так говорит наша пословица.

И он начал довольно яркими красками описывать, как тяжело живется бедному казаку: он должен справить за свой счет коня, седло, шашку.

— Худо то, — говорил он, — что казак должен служить всю жизнь, до смерти. Еще хуже, что, возвращаясь через год в станицу, он привязан к ней настолько, что не имеет права уехать из нее без разрешения станичного атамана дальше чем на пятнадцать верст от станицы. Это похоже на крепостное право.

Слова этого казака поразили меня. „Значит, думал я, недовольство, которое мы, революционеры, стремимся вызвать во всех слоях народа, начинает проникать и в эту среду, которая является последней опорой царизма, помещиков и капиталистов".

— Мало среди них таких-то недовольных, — заметил ехавший в том же вагоне рабочий. — Больше богатеев среди них.

Начиная со станции Минеральные Воды почувствовалась близость Кавказа. Увидев раз вдали сквозь мглу снеговую вершину Эльбруса и сиявшие ослепительным светом изломы вершин хребта Кавказа, я чуть не заплакал от радости. Красота Кавказских гор поразила меня. Мне показалось, что я вдруг увидел какой-то иной, сказочный, волшебный мир... Я тотчас представил себе глубокие ущелья, склоны высоких гор, заросшие буковыми и дубовыми лесами, качающиеся от ветра вершины деревьев, голубые озера, горные речки и ручьи, глубоко внизу шумящие

по камням мутной волной, и горца в оборванной одежде, но увешенного оружием, в красивой гордой позе сидящего на седле и едущего по горной опасной тропинке. Так я представлял себе Кавказ по поэтическим описаниям Лермонтова и Пушкина.

На одной из станций, не доезжая до Владикавказа, итальянские рабочие-каменщики строили железнодорожное здание и рабочие-татары поправляли железнодорожный путь. Увидев западно-европейских рабочих, с внешней стороны так непохожих на нас, русских, я обезумел от радости.

„Товарищи, — говорил я себе, подходя к ним, — вот настоящие товарищи...". Но скоро, разочарованный, я должен был уйти от них, так как при незнании языка они не поняли даже, когда я пытался произносить священное, как мне казалось, слово для всех рабочих. Вместо улыбки, которую я ожидал на их лицах, я увидел недоуменное выражение лица, когда я говорил: „социалист".

Опечаленный я вернулся в вагон и, стоя у окна, смотрел на закат солнца. Как только огромный шар солнца опустился за горизонт, вся толпа рабочих — татар-мусульман как по какому-то сигналу тотчас побросала кирки и лопаты и, опустившись на колени, с лицом, обращенным к востоку, с выражением искренней веры во взоре, стала молиться.

Тихий вечер, багровые краски заката, бородатые фигуры рабочих-татар в их восточных костюмах, склонившиеся до земли,— все производило впечатление чего-то красочного, но говорило в то же время, что религия у мусульманских племен и даже у рабочих еще очень сильна.

„Здесь, на Кавказе, — думал я, — поскольку я здесь останусь, придется работать и поднимать к социализму и этих мусульман. Как хорошо, — продолжал я думать, — что мне придется работать под руководством такого опытного, знающего, образованного и преданного товарища, как тов. Курнатовский".

АРЕСТ ТОВ. КУРНАТОВСКОГО.

Тотчас по приезде в Тифлис я направился разыскивать тов. Курнатовского по адресу, который я получил от него, когда еще был в Сибири.

Наконец я нашел улицу, дом, квартиру, где жил Виктор Константинович. Мое сердце забилось сильнее, когда я брался за ручку двери. Но что это такое? На лице хозяйки, в звуках ее голоса я прочел тот же испуг, какой так недавно видел на лице у жены инженера Ульмана. Тотчас упало у меня сердце. Мною овладела тревога.

— Где Виктор Константинович? — спросил я. — Что с ним?

Я чувствовал холод в спине. Страшное подозрение все более овладевало мною.

— Кто вы такой? — спросила меня хозяйка, внимательно оглядывая меня. — Откуда вы?

— Я его знакомый, — ответил я. — Я приехал из Сибири.

Ах! — облегченно вздохнула она. — Так это вы! Он о вас почти каждый день вспоминал. Он все ждал, что вот-вот вы приедете. Но ведь вы не знаете, что случилось. Этой самой прошлой ночью пришли сюда жандармы, долго, почти до утра, рылись в его вещах и арестовали его. Теперь он отвезен в Мцхетский замок. Больше я ничего не знаю. А вам советую немедленно, во избежание такого же несчастья, какое случилось с ним, уходить отсюда.

Хотя ареста, как чего-то совершенно неизбежного, с своего рода фатализмом ждал тогда каждый революционер, хотя он мог случиться с каждым из нас во всякое время, но все-таки известие об аресте тов. Курнатовского оказалось подобным удару грома. Шатаясь, вышел я из дома.

У Мцхетского замка, куда я пришел, стояла большая толпа женщин в характерных туземных костюмах и в круглых низких шапочках на головах. Встретив отпор со стороны стоявшего у ворот тюрьмы надзирателя, отказавшего мне в пропуске к начальнику тюрьмы, которого я думал уломать дать мне, как приезжему, одно свидание с тов. Курнатовским, я ушел от ворот тюрьмы и машинально направился куда глаза глядят по узкой улице в гору.

Между тем погода менялась. Темное облачко, которое я заметил на западе, выросло в огромную свинцовую тучу, заволакивавшую все небо. Внезапно подул ветер, крутя по улице пыль. Зашумели деревья. Стали падать сорванные ветром ветки. Застучали о землю крупные капли дождя. Начался дождь, вскоре перешедший в кавказский ливень. Не успел я оглянуться, как промок до костей. Через несколько минут горная, круто спускавшаяся вниз улица превратилась сначала в горный ручей, а затем в горную речку. Мутная вода, с шумом стремившаяся вниз, доходившая сначала мне до щиколоток, поднялась вскоре мне почти до колен и неудержимо тащила меня вниз. Чтобы не быть увлеченным потоком в какой-нибудь подвал, я, ухватившись за водопроводную трубу, а затем за стену дома, вошел в первый попавшийся по дороге „духан". Я спросил чаю. Стоявший за прилавком черноглазый грузин объяснил мне, что чаю у него нет, но что он может предложить мне хорошего красного вина и шашлык. В духане я вспомнил, что многие питерские рабочие считали, что русский человек насытиться может лишь черным хлебом и напиться лишь водкой и что от виноградного вина никак нельзя опьянеть.

— Пьешь его, — говорили они, — оно ровно квас...

Считая, что я тоже, как русский, не охмелею от виноградного вина, которое я пробовал лишь в первый раз в жизни, так как в Питере оно являлось роскошью, недоступной для рабочих,

я, ничтоже сумняшеся, выпил один за другим два или три стакана кахетинского вина. Когда я вышел из духана, я почувствовал, что я очень ошибся и что от выпитой бутылки вина я пьянею. Дождь между тем, пока я находился в духане, совсем прошел. Небо очистилось от туч, опять засияло солнце. В его лучах зелень деревьев блестела еще ярче. Громко чирикали и пели птички. В голубой выси снова летали ласточки. Я продолжал итти все вниз. Одежда на мне почти просохла. Только в ботинках еще хлюпала вода. Меня поражала необычайная для севера уличная жизнь в городе. Я прошел мимо кустарей, выделывавших кавказское оружие, чеканщиков ножен, рукояток к кинжалам и побрякушек к кавказским поясам. Меня оглушил крик уличных продавцов. Я вслушивался в непонятный для меня грузинский и армянский и в родной русский говор. Безумная мысль под влиянием легкого опьянения пришла мне в голову: итти в жандармское управление и просить свидания с Курнатовским.

„На грех и из палки выстрелит, — думал я. — Вдруг разрешат мне свидание; чем я рискую? Скажу, что только что приехал из Сибири и хочу видеть моего старого знакомого. На свидании все-таки я, быть может, получу от тов. Курнатовского какие-нибудь руководящие указания относительно транспорта „Искры".

В доме, где помещалось жандармское управление и куда я входил, царствовала между тем мертвая тишина. Жандармы, утомленные удачной ночной охотой за революционерами, очевидно еще спали. На дворе не было видно ни души. Ничто, казалось, не указывало, что здесь помещается грозное для нас, революционеров, учреждение. Я беспрепятственно прошел двор, поднялся по обычной для Кавказа боковой наружной лестнице на веранду второго этажа. Я пошел по галлерее, но лишь только я взялся за ручку двери, как на пороге ее появился жандармский унтер-офицер.

— Вам что нужно? — спросил он, внимательно и строго оглядывая меня с ног до головы.

— Мне нужно видеть начальника жандармского управления, — сказал я.

— Для какой надобности? — допрашивал он.

— Я хочу просить свидания с арестованным вчера моим знакомым Виктором Курнатовским.

Мой ли вид человека, одетого в измятый после проливного дождя, только что высохший костюм, вид неизвестного, покрытого до колен грязью, на которую я как-то, идя по улицам, не обращал внимания, произвел на него такое впечатление, показался ли я ему на самом деле человеком, который выпил лишнее, но только он вдруг, позвав еще другого жандарма, закричал на меня:

— Пошел вон отсюда! Уходи, пока цел, пока не накостыляли по шее Насоломов, — крикнул он жандармскому унтер-офицеру, —

спусти его по лестнице, чтобы он помнил, как сюда ходить. Дай ему раза, чтобы выпучил глаза!..

Видя, что Насоломов на самом деле делает жест, чтобы нанести мне удары кулаком в шею и ногой в зад, я, чтобы избежать их, со всех ног бросился вниз, но, нечаянно споткнувшись, покатился вниз по лестнице.

— Ха-ха-ха! — слышал я, как смеялись надо мною жандармы. — Ишь пьяница забрался куда. Сколько этой дряни, всякой сволочи шатается. Упаси, боже! А ловко ты его Насоломов шибанул. До самого низа так и покатился...

Поднявшись, я окончательно пришел в себя. Я был чрезвычайно рад, что дешево отделался, что я не арестован и ушел без переломанных ребер и тому подобных увечий. Ругая себя за только что совершенный безрассудный поступок, я решил, что мне не остается ничего больше, как уехать с первым поездом в Батум, куда у меня в кармане лежало письмо от Рослякова [1].

Было утро 12 апреля. Стояла та ясная солнечная погода, когда хочется вдыхать полной грудью живительный весенний воздух, когда особенно пробуждается жажда жизни и является желание отдаться обаянию вечно юной и прекрасной природы. Я, не отрывая глаз, любовался в открытое окно вагона голубым небом и синим морем.

БАТУМ.

Поезд несся по черноморскому побережью. Может, оттого, что мы, русские, жители равнин, редко видим море, оно нас поражает, когда мы попадаем на его берега. Как завороженный, смотрел я на развертывавшуюся передо мною картину. Это было не северное печальное море, омывающее берега окрестностей Петербурга. Это было синее море, о котором говорится в русских сказках и старинных песнях. Простор его притягивал к себе взор, хотелось слушать, как его волна, не умолкая, плещет, набегая на берег внизу. Оно окаймляется грядой зеленых вздымающихся вверх гор, поросших орешником, кизилем, буком, кленом, каштаном, грабом, дубом и другими деревьями. Над горами и морем вздымается голубое небо. Как отчетливо выделяется на фоне этих ярко-зеленых гор и сине-зеленоватого моря фигура грузина-аджарца, с зеленым флажком в руке провожающего поезд у переезда! Его голова повязана по-восточному белым башлыком. Наконец поезд остановился. „Батум", — прочел я надпись на вокзале. Я вышел из вагона, из вокзала. Я прошел мимо толпы амбалов (грузчиков) — армян, турок, аджарцев и грузин. Мне нужно было пройти весь город, мимо мечетей, шумного базара и новых построек в рабочий поселок в пяти верстах от Батума. Когда я проходил через город, особенно через шумный, крикливый базар, где продается обыкно-

[1] *А. Шаповалов,* На пути к марксизму, ч. III.

венно множество всевозможных ягод и фруктов, мне показалось, что я попал в своеобразный уголок Востока со своею особенною жизнью, со своими отличными от наших обычаями. Меня поразило, между прочим, что грузины-мусульмане (аджарцы) довели в то жестокий, изуверский и негигиенический обычай, заставляющий женщину скрывать свое лицо от мужчин, до полного абсурда. Если в Константинополе мусульманский обычай заставляет женщину закрывать от взоров посторонних проходящих по улицам мужчин только лицо, то в Батуме женщина-мусульманка принуждена была скрывать на улицах от посторонних мужчин не только лицо, но и шею, и плечи, и все свое туловище до самых пят. Жестокий обычай заставлял женщину-аджарку надевать на себя, не довольствуясь чадрой, целый мешок из редкой материи. Тяжело было смотреть на этих несчастных, особенно в летнюю 50-градусную жару, как они в этих мешках, без дыр для глаз и для дыхания, задыхаются и обливаются потом. Затем эти мешки являются источником всевозможных заболеваний, в особенности туберкулезом. Завидуя, наверно, грузинкам, армянкам и русским женщинам и в то же время не решаясь, под гнетом религиозного обычая, открыть свое лицо и формы тела, они бродили по улицам города, беспомощно путаясь в длинных, доходящих до пят мешках и спотыкаясь в них [1].

Пораженный всем виденным, я продолжал путь в так называемую „Холодную слободу", построенную русскими в самой нездоровой, лихорадочной местности — в устьи горных речек Барцхана и Кинтриш. Русские переселенцы в Закавказьи, по обычаю жителей долин и вследствие незнакомства с местными условиями, селились у самой воды, на берегу речек, где гибли от малярии массами.

Дорогою в эту Холодную слободу я все время слышал какие-то необычные звуки, напоминавшие не то пение птиц, не то кваканье лягушек, исходившее из водосточных канав. К моему удивлению, эти звуки издавали именно кавказские лягушки. Пройдя берегом моря заводы Манташева, Нобеля, я дошел наконец до завода Ротшильда, называвшегося сокращенно „Бнито".

Перед заводом выделялся трехэтажный чистый веселенький дом для служащих. Здесь жил один из представителей заводской администрации — заведующий лесным складом Г. Происходя из кубанских казаков, интеллигент, за участие в народовольческом движении он был сослан в отдаленный город Сибири, Обдорск, лежащий в устьи Оби. Как у многих революционеров, его молодость и лучшие годы жизни прошли в этом маленьком городке на краю сибирских тундр. Здесь он женился на сестре тов. Рослякова.

[1] Приехав через двадцать лет в Батум, я убедился, что в одежде мусульманки-аджарки за истекший период произошел известный сдвиг: так, они заменили прежний мешок чадрой, покрывающей лишь лицо.

Г. принял в моей судьбе самое живое участие и предложил даже, пока я не устроюсь с работой и с квартирой, поселиться у него. На его квартире с неизбежной на Кавказе террасой, откуда открывался прекрасный вид на море, где обедали, пили чай и вообще проводили большую часть времени, я познакомился с кавказским марксистом — грузином тов. Тускиа.

Г., выдававший себя за народовольца-террориста, представлял собою человека с чертами русского барина и с известной долей самодурства. Характерные особенности последнего у него сказывались в его способе обращения с рабочими лесного склада, которым он заведывал. Так как рабочие у него были главным образом турки, он изучил турецкий язык. Противопоставляя себя немцу Штубнеру, заведывавшему механической мастерской и соединявшему в себе всю утонченность эксплоататора рабочих по западно-европейскому образцу с противоестественной развращенностью кавказской буржуазии, Г. любил хвастать, когда бывал под хмельком, своими способностями управлять рабочими упрощенным способом.

— Не люблю я штрафовать рабочих, — говорил он, — я не то, что Штубнер. Он так штрафует своих рабочих-грузин за всякий пустяк, что иногда на штрафы у последних уходит почти четверть заработка в месяц. Зачем так обижать рабочих? Они и так мало получают. Я не так поступаю. Провинился турок: поймаю его за курением. Хороший он народ, честный, непьющий, а вот курит. А у нас в лесном складе строго-настрого запрещено курить. Так вот зову к себе его или, застав его на месте, так сказать, преступления, на их же языке говорю ему: „Ты что, такой-сякой, сделал?“ Да раз ему в ухо, раз ему в зубы, р-р-раззз ему в другое ухо. „Пошел, — говорю ему, — от меня. Чтобы этого больше никогда не было!“. Очень они бывают довольны таким оборотом дела. Меня же и благодарят по обыкновению на ломаном русском языке. „Спасибо, — говорит, — паша, что не штрафовал. Мой дурак был. Хорошо, что в зубы давал. Мой морда бил, бедный человек пожалел, с работы не прогнал и деньги в мой карман оставил. Аллах справедлив, и ты справедлив. Большое спасибо, паша“.

— Но это же — самодурство! Так поступают крепостники, владельцы плантаций и рабовладельцы. Ты же с гордостью называешь себя народовольцем, — возражала его жена, симпатизировавшая социал-демократам.

— Все это слова, — отвечал Г., все более пьянея. — Подумай, как мне быть. Наш директор, хотя и называет себя либералом, но отдает приказ: „Рабочих в струне держать, повадки не давать, штрафовать, увольнять“. Оштрафуй я его, уволь, прогони с работы, он же меня потом в горах подстрелит. Я не увольняю, не штрафую. У меня порядок. Все в струне ходят. Меня даже любят,

так как я не позволяю рабочих обсчитывать, как это делается в других частях завода, например у Штубнера. У меня, что заработал, то и получи. То, что ты сказала мне, что я — народоволец, это верно. У меня болит душа за угнетенный народ.

Говоря последние слова, он уже был во хмелю и плакал. Слезы капали у него из глаз, голова свисала на грудь, и он засыпал.

Так как Г. находился со Штубнером в большой ссоре, то с просьбой принять меня на завод к Штубнеру обратился по просьбе Г. один из конторщиков.

— Только не показывайте вида Штубнеру, что вы знакомы со мной, иначе вы все испортите. Он немедленно вас прогонит.

БАТУМ. НА ЗАВОДЕ У СТАНКА.

После пятилетнего перерыва я снова очутился на заводе. Он не был, как в Петербурге, выстроен из толстых кирпичных стен, а был сооружен из железных балок и стропил, обтянутых тонкими листами оцинкованного волнистого железа.

Как только я переступил его порог, я тотчас почувствовал себя в его власти. Я как бы перестал быть самим собою, свободным человеком, а стал его придатком, своего рода говорящим инструментом. Завод уже регулировал мою жизнь, не спрашивая моего согласия. Я вставал, шел на работу, обедал по свистку. Я снова, как раньше в Петербурге, услышал шум и лязг машин и ударов молотом по металлу. Перед обедом и вечером я мыл вместе с другими руки в маленьком ведре, наполненном неимоверно грязной водой. Мыть руки до свистка не полагалось. Так как рабочие стремились уйти с завода, который им опостылел, который они ненавидели всей душой, немедленно после заводского гудка, они мыли руки украдкой до свистка и по необходимости в вышеупомянутой грязной воде маленького ведерка, которое удобнее было прятать от мастера. Постоянная необходимость украдкой от зоркого взора последнего отдыхать, когда уставала рука, начинали болеть спина и отекать ноги, украдкой курить, украдкой перекидываться словами с соседом, украдкой есть принесенный с собой хлеб, пить чай, украдкой мыть руки, постоянно торопиться не опоздать на завод утром, после обеда, торопиться обратно к станку, к тискам после того, как нужно было выйти из мастерской на двор завода,— все это, помимо придирок, всякого рода замечаний, подчас резких и даже не лишенных грубости, с первого же дня заставило и меня возненавидеть завод, его порядки и мастеров.

Мастер Штубнер по моей манере держаться и говорить сразу учуял во мне непокорного. Я не снимал перед ним шапки, не заискивал. Этого было достаточно, чтобы и он возненавидел меня с первых же минут. Унижаясь сам перед директором, заиски-

вая перед последним, он любил лишь тех рабочих, которые отличались холопскими качествами.

Я вступил на завод на другой день по приезде, т. е. по старому стилю 13 апреля 1901 года, цветущим, здоровым человеком. Когда я, как все вновь поступающие рабочие, разделся и стоял совершенно голый перед заводским фельдшером, производившим телесный осмотр всех вновь поступающих рабочих, он сказал заводскому табельщику:

— Ну, этого и смотреть нечего. Таких здоровяков у нас давно не поступало на завод.

Сдав пробу, хотя прошло уже тринадцать лет, как я забросил слесарное ремесло, я, вспомнив питерские нравы рабочих, процветавшие десять лет перед тем, спросил слесаря из Ростова, работавшего рядом со мной:

— Когда ставить привальные?

— Что вы, — ответил мне ростовец, бывший лучшим слесарем на заводе. — За кого вы нас и в особенности меня принимаете? Это время прошло. Мы к вам, как к новому, должны были бы притти на помощь. Нет, никаких привальных ставить не следует.

Штубнер, обещавший мне платить 1 руб. 60 коп., надул меня на гривенник и положил мне жалованья 1 руб. 50 коп. в день. Первое время работать мне было очень тяжело: болели и ныли руки; на ладонях появились водяные пузыри, и во всем теле чувствовались страшная усталость и разбитость. Усталость, впрочем, меня не покидала и в праздники. Я не успевал отдохнуть за воскресенье. В конце концов я втянулся и снова, как и тринадцать лет тому назад, много и упорно работал. По совету Тускиа я поселился в рабочем предместьи, так называемом „Городке". Здесь жили рабочие, к которым меня тянуло. Так как я намеревался посылать моей матери деньги, то я поселился в комнате за 4 рубля без всяких услуг. Комната имела всего 3½ арш. длины и 2 арш. ширины. Пол ее лежал прямо на земле, без всякого фундамента. Стены комнаты не были толще однодюймовой доски. Ночью по комнате бегали и пищали крысы. Жилище, словом, было самое пролетарское.

Рабочий день начинался на заводе в 6 часов утра. Я вставал в 5 часов утра.

Все в городке, или, иначе, в Холодной слободе, зеленело и цвело. Из-за палисадников и невысоких заборов, мимо которых я проходил, видны были на фоне моря и гор в полном цвету розы, олеандры и т. д. и бутонившиеся магнолии.

Как только я входил в завод, меня тотчас оглушали визг и стук машин, вальцовавших, резавших, сгибавших, придававших устойчивую форму кускам жести, склепывавших в большие для пуда керосина коробки бидоны. Рабочие-грузины суетились около этих машин, перебегая от одной к другой. Плоские листы жести,

привозимой из Англии, машина превращала в большие прочные четырехугольные бидоны. Машина же (конвейер) подхватывала их и несла через весь широкий двор в другую, наливочную мастерскую, где машина же их автоматически наполняла керосином, и другая запаивала их оловом.

Завод изготовлял в день 40 000 таким образом налитых керосином и готовых к отправке коробок. Каждая обходилась заводу вместе с керосином в 30 коп. Начиная от завода, вплоть до самого города стояли огромные круглые резервуары, наполненные керосином и нефтью. Почва в этих местах пропитана была нефтью. В некоторых местах ее стояли целые лужи.

Обедал я в духане (харчевне). На полках здесь лежали „бурдюки" с вином (бурдюки — мешки для вина, сшитые из шкур мехом внутрь). Духанщик брал за обед 15 коп. Но эта плата была недоступна для большинства рабочих-грузин. Последние, купив тут же у завода у продавцов блюдечко лобио [1] и чурек [2], обедали в самом заводе, запивая лобио и чурек простой водой.

Рабочие завода Ротшильда представляли собой почти все главные национальности России. Кроме грузин, армян, кавказских горцев, немцев, украинцев, поляков, великороссов, были здесь и турки с анатолийского побережья Черного моря. Большинство рабочих на заводе были грузины. Они подвергались самой ужасной эксплоатации.

На заводе, как и всюду в России, сохранялся унизительный для рабочих обычай обыска. Два раза в день после заводского гудка нас встречал целый ряд сторожей-турок, вооруженных палками, преграждавших нам выход. Каждого рабочего, прежде чем пропустить за ворота завода, сторожа-турки прощупывали с ног до головы, стараясь поймать рабочего, не несет ли он чего-нибудь краденого. Однажды, когда я прошел оскорбительную для человеческого достоинства процедуру обыска и приближался к выходу, у которого стоял старый сторож-турок, внимательным взором еще раз осматривавший каждого проходившего за ворота, я вдруг услышал сзади себя пронзительные крики, сопровождавшиеся сухими ударами палки. Я невольно быстро оглянулся. Передо мною представилась следующая картина. Высокий, молодой сторож-турок наносил толстой палкой удары по голове одному рабочему-грузину. Звонко отдавались страшные удары палки по плешивой голове несчастного. Его белая грузинская шляпа давно свалилась на землю. Сам он после каждого удара по голове вскрикивал: „ай-ай-ай!" и подпрыгивал на пол-аршина от земли, беспомощно размахивая руками. Я остолбенел от ужасного зрелища. Удары между тем не переставали сыпаться. Несчастный продолжал кричать и подпрыгивать. Связка растопок, которую он выносил под

[1] Лобио — турецкие бобы.

[2] Чурек — хлеб.

блузой для своей семьи, стоившая не более 3 или 5 коп., рассыпавшись, валялась на земле. Рабочие молча, стиснув зубы, не вмешивались, не протестуя против избиения их товарища, продолжали выходить из завода. На лицах сторожей лежало выражение, какое бывает у ломовиков, бьющих свою лошадь. Я сделал было движение в сторону сторожа; я хотел крикнуть: „Что вы делаете? За что так жестоко вы бьете человека? Ради кого и ради чего?"

Тускиа, шедший рядом со мной, схватив меня за руку, сказал:

— Молчите, вас немедленно выгонят, если вы устроите скандал, а может быть, и изобьют.

— Как это ужасно! — говорил я Тускиа. — Я удивляюсь, как этот рабочий после такого избиения остался жив. Как не треснул череп у него от этой бесчеловечной расправы. Я насчитал не менее двадцати ударов.

— Мне самому ненавистно это рабство, — отвечал Тускиа, — это терпение рабочих. Надо раскачать их, как вы говорили, надо пробудить в них чувство возмущения против ужасной доли, против невыносимой эксплоатации на заводах в Батуме, против такого унижения человеческого достоинства.

Глаза Тускиа, когда он говорил, сверкали чувством возмущения и гнева. Мы давно миновали завод; мы шли по улице, усаженной копьеобразными тополями, буками, кипарисами, акациями и т. д. Мы перегнали древнего типа телеги — арбы, в которые были запряжены буйволы, отличающиеся силой и медлительностью в движениях. Так как колеса в этих арбах вращаются вместе с осью, на поворотах они сильно скрипели. Мы вышли к морю, к гавани, начинавшейся сразу же за заводом. Здесь разгружались и нагружались морские суда. Грузчики (муша)-туземцы несли на своих спинах такие огромные тяжести, что казалось, что вот-вот они их раздавят. Мы прошли улицу, населенную проститутками. Сидя и стоя у открытых дверей своих комнат, выходивших прямо на улицу, через которые веднелись кровати, они зазывали к себе посетителей, преимущественно матросов. Они начинали по своему обыкновению хватать нас за руки и тащить к себе в комнатушки.

— Пойдемте обратно, — предложил мне Тускиа, — а то от них не отобьешься.

Когда мы шли молча по берегу батумской бухты, большие черпаки машины, чистившей дно гавани, поднимались и опускались. Одновременно цепи, на которых они двигались, скрипели и визжали так громко и тоскливо, как будто в их надорванном скрипе были воплощены все скрытые слезы и затаенные, неотомщенные рыдания, которых здесь, среди этой цветущей природы, мы встретили так много.

Мы прошли турецкий базар, мимо турецких мечетей, бань,

мимо кофеен, где турки пили черный кофе без сахара в маленьких чашках, предварительно смакуя аромат, который издавала кофейная жижа. Здесь кипела жизнь, какой я уже не встретил через 26 лет. Здесь нас оглушили шум и резкие гортанные крики толпы, изъяснявшейся на множестве кавказских наречий. Нам попадались навстречу аджарцы с башлыками на головах, в коротких куртках, в поясах, за которыми торчало оружие, в штанах с широкой мотней сзади, по-турецки. Они шли в сопровождении своих жен, одетых в мешки, скрывавшие их с головы до пят. Стройные грузины и горцы в длиннополых бешметах, с огромными кинжалами, в мохнатых шапках из коричневой мерлушки, поминутно попадались нам навстречу.

— Как вам нравятся слесаря, среди которых вы работаете? — спросил меня Тускиа.

— Слесаря — довольно культурный народ. В подавляющем большинстве своем они — русские. Они не лишены даже сознания собственного достоинства. Среди них совершенно не замечается принужденности и условности, которых так много в других классах и слоях общества. Они откровенны в том, что другие лицемерно скрывают и делают потихоньку. К сожалению, великая идея освобождения рабочего класса их почти не коснулась. Все свободное время они проводят за разговорами о женщинах. Говорят о женщине большею частью грубо и цинично, но это только на словах. На деле каждый из них наверно испытывает острую потребность в нежной любви к женщине. Иначе и не может быть. Они также уделяют много времени танцам и чтению французских романов. По праздникам большинство из них, как вы это знаете, одеваются настоящими джентльменами.

— А пропаганде они поддаются?

— Да, они охотно меня слушают и всегда предупреждают, когда приходит жандармский унтер-офицер. „Смотрите, — говорят они, — ваш приятель опять пришел, вон он стоит, притаился за той машиной и подсматривает: не ведете ли вы среди нас пропаганды".

— Да, — подтвердил Тускиа, — этот жандарм приходит раза два в неделю и все норовит застать вас врасплох. Хочет сам собственными глазами убедиться, как вы себя ведете на заводе. Это называется находиться под надзором полиции.

Мы очутились на „Морском бульваре". Мы шли по пальмовой аллее. Я подставлял лицо свежему морскому ветерку и вдыхал полной грудью здоровый морской воздух. Внизу между тем морские волны с никогда не прекращающимся шумом и брызгами набрасывались жадно на берег, как будто желая его поглотить. Сердито ворча, они отступали, скатывались вниз. Затем снова, покрытые пеной, с рокотом и ревом они набрасывались на прибрежный песок. На песке за бульваром сидели какие-то большие

птицы. Они что-то кричали и как будто звали туда, вдаль, где на горизонте опускался в море огромный шар солнца.

Французы, как мне говорили, называли Батум „писсуар де ла мер нуар". Здесь были не дожди, а ливни, которые сменялись страшно жаркими днями. Воздух был наполнен влагой. Было жарко и душно, как в бане. Ночи, наоборот, были холодные. Барцхана и Кинтриш вздувались от дождей и ревели, неся по камням свои мутные волны.

Желая помочь матери, жившей с братом Павлом „в углу" [1] в Питере, и брату Егору, которого „лупил", как он мне писал, саженного роста вахмистер Кирасирского полка и у которого украли казенный револьвер, я ходил в ботинках, из которых видны были пальцы, не решался купить необходимый в Батуме зонтик и продолжал жить в своем ящике с окном и дверью, поставленном прямо на землю, без фундамента. Промокнув до костей, я не мог не только просушить за ночь свой пиджак и брюки, я, живя в городе с субтропическим влажным климатом, в комнате без печей, находил их утром не только сырыми, не успевшими в этом насыщенном влагой воздухе просохнуть, но даже покрытыми какой-то зеленью, появляющейся обыкновенно на гниющих растительных веществах. Револьвер, подаренный мне тов. Ленгником, через месяц жизни в Батуме превратился в кусок ржавчины, так как я позабыл его смазать салом. Живя в таких условиях в Городке, куда стекали все воды из Батума, где не были тогда осушены лежавшие неподалеку болота и где гнездилась малярия, я через месяц заболел кишечной болезнью, малярией и ревматизмом. Я заболел так сильно, что был в состоянии работать всего два-три дня в неделю.

Пока я находил в себе силы выходить из дома, я часто приходил к Г. Сидя у него на террасе, я постоянно видел Черное море, сливавшееся вдали с горизонтом, белые паруса рыбачьих баркасов, морских птиц, взлетавших над морем и постоянно что-то кричавших. Шум прибоя заглушался стуком и визгом машин и их частыми вздохами. Я наблюдал, как они то поднимали, то опускали свои стальные руки. Из окна видны были трубы заводов с тянувшимися к небу хвостами черного дыма. Через двор пробегали две горничные-грузинки, к которым постоянно приставали с любовными предложениями жившие здесь заводские служащие.

— О чем думаете? — спросила меня Анна Павловна, жена Г. — С той поры, как вы заболели, вы такой грустный. Писем, которых вы так ждете, еще нет.

— Я думаю о том, что у вас на заводе два мира, непохожие друг на друга, что эти табельщики, конторщики, мастера, глумящиеся над рабочими, еще больше, чем капиталисты, переоценивают

[1] Приблизительно четвертая часть комнаты.

прочность существующих порядков. Им кажется, они совершенно уверены, что постоянно можно будет так нагло обманывать, обсчитывать рабочих, подвергать их кулачной расправе, бить их палками. Они не представляют себе, что терпение рабочих наконец лопнет и что они объявят забастовку.

— Трудно на это надеяться. Многие из рабочих, говорящие на различных кавказских наречиях, даже не понимают друг друга. Затем грузины ненавидят армян, а армяне — грузин. Христиане не питают симпатии к мусульманам. Последние платят такой же монетой христианам. Директор завода, учитывая это, применяя принцип: „разделяй и властвуй", держит, как он говорит, в „струне" это разноплеменное человеческое стадо.

— Стадо рабов, хотите вы сказать, — возразил я. — Согласен. Но настанет день, и рабы восстанут. Внешняя покорность обманчива. Мы, социал-демократы марксисты, уже занесли революционную бациллу на седой Кавказ. Вы думаете, мой знакомый тов. Курнатовский не поработал над этим в Тифлисе. Посмотрите, сколько сюда выслано рабочих за стачки из Петербурга и из других мест России. Все они ведут пропаганду. Семена, которые они сеют, падают на благодарную почву. Я чувствую и здесь те же признаки возмущения, которые я уже наблюдал накануне великой стачки петербургских ткачей в 1896 г. Ведь была в Тифлисе всего 2 месяца назад, 22 апреля, демонстрация, о которой напечатано было в газете „Новое Обозрение", в №5685 от 26 апреля. На улицах столицы Кавказа в этот день появилось впервые красное знамя пролетариата. Произошло столкновение с полицией, пытавшейся вырвать это знамя из рук несшего его рабочего. Над седыми горами Кавказа повеяло свободой.

Было уже поздно, когда я возвращался от Г. в свой ящик. Было темно. В совершенно черном небе горели звезды.

На другой день я шел на завод обычной дорогой через Городок. Цвели розовая японская мимоза, олеандра, розы. Разливали медовый запах распустившиеся белые магнолии. Все сады, аллеи, улицы, по которым я шел, были наполнены ароматом от множества цветов. Я шел, едва передвигая ноги от невыносимой боли в ноге, и казался самому себе пасынком среди этой роскошной природы.

— Товарищ Шапувал, неужели это вы? — окликнула меня Желабина [1], жившая с мужем в Батуме. — Вы приехали сюда месяц тому назад таким крепышом, а теперь вы превратились в настоящего калеку. У меня слезы навертываются на глаза, когда я смотрю на вас. Уезжайте вы из этого проклятого Батума, из этого гнилого, сырого, лихорадочного климата!

---

[1] См. *Ю. Мартов*, Записки социал-демократа, стр. 308, и *Невский*, Очерки по истории РКП(б), стр. 407.

На заводе, у входа в заводскую амбулаторию я увидел лежавшего прямо на голой сырой земле огромного рабочего-турка с анатолийского побережья, только что раздавленного одной из заводских, груженных ящиками с керосином в бидонах, вагонеткой, на которых по проложенным рельсам отвозили в порт грузить на пароход пудовые жестянки с керосином.

Он, лежа на земле, стонал и корчился от боли.

— Что такое с ним? Почему он лежит на земле? — спросил я.

— Уже два часа лежит он, — ответил рабочий-грузин. Он упал, подталкивая по рельсам свою вагонетку. В это время на него наскочила ехавшая сзади за ним другая груженная вагонетка.

— Но почему же его не внесут туда, в амбулаторию, не положат на кровать?

— Порядок такой, — ответил мне желчно рабочий-грузин. — Нады ему очередь дожидать. Там доктор господа принимают.

В полуоткрытые двери видно было, как фельдшер очень любезно разговаривал с одной заводской дамой. Блистая белоснежными крахмальными, твердыми воротничками, прошел, брезгливо поглядев на лежавшего и продолжавшего стонать рабочего-турка, щегольски одетый инженер.

— Вы к доктору? — засуетился перед ним фельдшер, подавая стул. — Он сейчас вас примет, в первую очередь.

При виде того, как доктор и фельдшер попросту забыли про рабочего-турка, сознавая, что они его не принимают даже за человека, чувство возмущения поднялось во мне.

— Эх, что же вы молчите? — крикнул я рабочим, молча и покорно продолжавшим ждать своей очереди к доктору.

Я прошел мимо них, давших мне дорогу.

— Что у вас за безобразие творится! — громко и твердо сказал я, обращаясь к фельдшеру. — Почему вы оставляете рабочего-турка целых два часа валяться на земле в грязи, ровно собаку? Это же возмутительно, ведь он такой же человек, как и вы, и он заслуживает такого же внимания к себе; ведь он почти умирает. На его губах какая-то кровяная пена. Как вам не стыдно! Вы любезно разговариваете здесь, а его оставляете лежать там прямо на земле.

— А вы кто такой! — окрысился на меня фельдшер. — Кто дал вам право вмешиваться в заводские порядки? Вы думаете, что поскольку вы были в Сибири, что вы социал-демократ, так для вас все возможно здесь. Нет, руки коротки, батенька! Благодарите бога, что вас держат здесь. Не забывайте, что здесь военное положение. Если начнете мутить рабочих, здесь не будут церемониться, быстро руки к лопаткам прикрутят. Хоть бы конторщик был, а то просто слесаришка. А фордыбачит!..

— Вы что, — ответил я, — хотите на меня донести жандармам, что я в турке вижу такого же человека, как я сам? Так я этого не боюсь. Доносите!..

— А вы знаете, батенька, — начал снова фельдшер, — что такое мусульманский фанатизм? Ведь рабочий-турок до такой степени находится во власти религии, что не хочет обыкновенно обращаться за помощью к гяуру-врачу. А вы тоже говорите, что мы жестокосердны, что не понимаем, что рабочий-турок тоже человек. Ишь какой гуманист нашелся!

— Что такое, что за шум? — вмешался доктор, появившийся на пороге своего кабинета. — Какой там еще турок? Ах, да это тот раздавленный! Я действительно забыл о нем. Что же вы не напомнили мне о нем? — обратился он к фельдшеру. — Скажите, чтобы немедленно несли его сюда. Мы его посмотрим.

— Очень хорошее впечатление, — рассказывал мне Тускиа, — произвело на остальных рабочих ваше заступничество за рабочего-турка. Никто из них не знал, что вы — бывший политический ссыльный и социал-демократ. Этот дурак фельдшер так кричал, что теперь это стало всем известно. Теперь создалась опасность, что ваши дни сочтены здесь. Если русский ударит рабочего-турка или персианина, это считается хорошим тоном. Если же он, наоборот, заступается за них, — это уже никуда не годится. Вы как раз поступили наперекор всем создавшимся обычаям и традициям на заводе. Все зависит, как взглянет на это дело директор.

— Вы поступили вполне благородно, — говорил мне мой сосед — ростовский слесарь. — Вот этот никогда не решился бы на такой поступок, — говорил он, указывая на слесаря-поляка, работавшего на этом же заводе.

Захудалый шляхтич, он прибыл сюда из самой Варшавы. Он ненавидел все русское. Очевидно, он считал ниже своего достоинства быть за панибрата с нами, рабочими, которых он считал „хлопами, быдлом". Чуждаясь рабочих, редко вступая с ними в разговоры, он явно заискивал перед мастером Штубнером и его помощником. Рабочие подозревали его в наушничаньи. „Остерегайтесь этого ясновельможного пана, — говорили они мне. — Перед ним ни гу-гу... Иначе сейчас же донесет Штубнеру".

Однажды, когда артельщик вез на завод на фаэтоне деньги для уплаты жалованья рабочим, трое грузин, в черных бурках, в меховых шапках, вооруженных винтовками, револьверами и кинжалами, спрятанными под бурками, остановили фаэтон [1]. Нападение на экипаж, охраняемый тремя стражниками, среди белого дня в населенной местности было безумно смелым. Оно удалось благодаря своей неожиданности. Стражники, растерявшись, бежали. Им показалось, что их атаковали не менее десяти человек. Нападавшие бежали, но были настигнуты земской стражей и солдатами. Двое пали под пулями в перестрелке. Третьему удалось достигнуть крутого, почти отвесного горного обрыва, густо заросшего колючими

[1] Рессорный, дышловый экипаж.

кустарниками и деревьями, спускавшегося прямо к морю. Настигаемый погоней, осыпаемый пулями беглец остановился на краю обрыва. Выхода не оставалось. Пасть под пулями, отдаться в плен или броситься с обрыва. Уже показались фигуры преследовавших его солдат. Медлить было нечего. Быстро решившись, он, окутав лицо, голову, руки буркой, держа в руках сумку с деньгами, тотчас бросился головой вниз с кручи. Никто из подбежавших солдат и стражников не решился последовать его примеру. На колючках шиповника, лиан, терновника они нашли клочки его одежды. Сам он бесследно исчез, унеся с собой деньги. На всем склоне обрыва, от вершины до самого моря, не нашли ни его, ни его трупа.

— Смелые эти три разбойника, — высказался я, выслушав рассказ тов. Тускиа.

— Вы знаете, — ответил он, — у нас, у грузин, в народе такие люди не считаются разбойниками. Содержание народных песен полно рассказами об их геройских подвигах, сводившихся к увозу невест, к угону табунов коней, стад овец и т. д.

Г. уверял, что у русских со времен покорения Кавказа сохранилось своеобразное уважение к горцам, к этим людям, долго боровшимся за свою независимость. Русские, начиная с казаков, перенимали костюм кавказских племен. Подражать „джигиту", т. е. быть смелым, отважным, являлось одно время модой.

В произведениях Лермонтова, Пушкина и Л. Н. Толстого отразилась эта черта непримиримости, отважности, гордости побежденных.

Лично мне очень нравились рабочие-кавказцы, среди которых большинство было грузины. Чем-то еще нетронутым, искренним, беззаветным веяло от них. Среди них наша пропаганда, видимо, имела большой успех.

Кроме турок, самыми отсталыми рабочими являлись рабочие-персы. С низкими потребностями, они в то время ухитрялись в Батуме селиться по 15 человек в комнате для 2 человек, устраивая в ней нары по нескольку этажей, куда они приходили лишь ночевать.

У Г. над Батумом на горе находился небольшой участок земли и дача. Тускиа ввиду того, что моя болезнь все усиливалась, настоял на переводе меня в одну из пустовавших комнат.

— Да вы серьезно больны, — сказал мне раз пришедший навестить меня Г., — у вас 40-градусная температура. Я не знал этого и думал, что вы притворяетесь больным, переехали сюда, чтобы удобнее печатать эти ваши листовки. Теперь я убедился, что я ошибался.

Говоря это, он присел ко мне на кровать. По обыкновению он был выпивши. Говоря со мной, он навалился на меня. Я задыхался и от тяжести его огромного тела и от запаха винного погреба, которым несло от него.

— Стойте, — вскрикнул я, стараясь выкарабкаться из-под его навалившегося на меня огромного тела.

Я так ослаб от болезни, что мне стоило больших усилий отстранить его. Я не только задыхался, меня тошнило от запаха винного перегара, которым он обдавал меня вместе со своим дыханием. Очевидно, на моем лице отразилось не только страдание, но и отвращение.

Взглянув на меня с каким-то упреком, он встал, грузно сел на стул, громко вздохнул и засопел. На его глазах показались слезы, которые потекли по его суровому лицу.

— Вам противно, что я пью, что от меня пахнет водкой. Да, я пью! Я пью не только с директором завода, я пью и с начальником жандармского управления. Я вижу, вы вздрогнули; на вас это произвело ошеломляющее впечатление. Успокойтесь, не бойтесь, не делайте, пожалуйста, поспешных выводов. Я делаю это нарочно. Я нарочно бью по зубам моих турок. Я достиг своих целей. Директор и жандарм уже говорят: „Г. наш: он отказался от революционных целей". А это неверно. Я только вкрался к ним в доверие. Я не отказался от революционных целей. Я хотел бы собрать всех капиталистов, царей, директоров и начальников жандармских управлений вместе и взорвать их одной и той же бомбой. Вы не знаете, как я страдаю в их обществе, как мне нудно и тошно в их среде. Поэтому я прихожу время от времени к вам, к революционеру, чтобы побеседовать с вами и отвести душу. А вы вдруг отворачиваете от меня свое лицо.

Последние слова он произносил уже едва слышно. Усталость, видимо, овладела им. Он замолчал и вдруг громко захрапел. Он заснул.

Ночь, быстро надвигающаяся здесь, давно уже охватила землю. Студент-армянин, с которым пришел Г., который все время молчал, собрался уходить. Я встал, чтобы проводить его. Я был так слаб, что зашатался. Чтобы не упасть, я ухватился за стол, за дверь.

— Вы куда ночью, Александр Сидорович? — говорил в темноте сторож дачи Герасим. — Идите обратно, а я провожу. Пожалуйте направо, — обратился он к студенту, — вот калитка.

Болезнь обострила мои чувства, особенно слух. Гулко отдавались внизу по тропинке шаги удалявшихся по направлению к Холодной слободе сторожа и студента. Я долго слушал, как сторож предупредительно, рассчитывая получить со студента на чай и в надежде на обильную выпивку внизу в духане, говорил: „Направо пожалуйте, налево" или „Осторожней, тут яма".

Наконец их голоса и шаги заглохли вдали. Тишина снова охватила меня. Внизу город, морской порт горели огнями. Вверху, в небе, в совершенно черном южном небе, необычно ярко сверкали звезды. Таких ярких огромных звезд, такого черного неба я до

этого у нас, на севере, никогда не видал. Дрожа от ночного холода и трепавшей меня лихорадки, я всматривался в знакомые созвездия, стараясь разгадать их тайну.

Тишину прервали донесшиеся снизу из Холодной слободы мелодичные напевы украинской песни.

За украинскими пошли великорусские, грустные, тоскливые, хватающие за душу.

Соловьем залетным
Юность пролетела;
Волной в непогоду
Радость прошумела...

пели „Горькую долю" А. В. Кольцова.

Песни давно замолкли, а я все стоял погруженный в думу. Вдруг я вздрогнул от страшного рева. Это кричал „ишак" (осел). Вскоре послышались его шаги. Аджарец Алей, живший еще выше на горе, вез на осле навешенный вьюками в мешках купленный им в городе каменный уголь. Вдруг внизу, под горой, раздались женский визг, плач, стоны, безумный хохот и вой.

— Чекалки, — произнес Алей, проходя мимо дачи Г. со своим ослом. — Опять проклятые завыли. Много их, очевидно, собралось.

— Что они жрут, — спросил я, — за кем они охотятся?

— Курочек, уток, гусей, собак, кошек, — все жрут, что попадется. Даже барашка и теленка, если встретят ночью в лесу, сожрут.

— А на человека они не нападают? — задал я вопрос.

— Нет, человека они боятся. Мне случалось ночевать несколько раз в лесу. Так, не поверите ли, они мне подошвы от сапог отгрызли, а меня самого даже не царапнули. Встаю, смотрю: нет подошв и ремешок кавказский, который я снял на ночь, съеден. Только одни металлические части остались.

Простившись с Алеем, я ушел в свою комнату спать. Рано утром я был разбужен Г. Только что начинался рассвет. Сквозь густую листву покрывавших горные вершины деревьев виднелись изумрудно-ясные пятна и полоски светлеющего все более неба. Утренняя свежесть заставила меня вздрогнуть. Встав, встретив рассвет, полюбовавшись морем, которое сверху всегда красивее, я написал письмо в „Искру" (положение рабочих на Кавказе), которое, провалявшись долго у товарищей, было напечатано в номере 16 „Искры" от 1 февраля 1902 года.

Почувствовав себя лучше, я направился вниз в город, на завод. Тускиа, встретивший меня, сказал мне, что из Тифлиса мне просили сообщить, что план доставки „Искры" из-за границы, вследствие ареста Курнатовского, которого не выпускали из тюрьмы, и встретившихся неожиданных трудностей, отложен.

— Уже начало августа, — говорил мне тов. Тускиа. — Скоро у нас в Грузии начнется сбор винограда. Я вас свезу в Гурию, в наши горы, на сбор винограда. Вы познакомитесь с моими

сестрами, примите с ними участие в сборе винограда. Чурека, мамалыги [1], красного вина для вас хватит. Тем временем вы поправитесь. В Гурии у нас вы научитесь грузинскому языку и тогда с бóльшим успехом начнете здесь революционную работу. Оставайтесь у нас на Кавказе навсегда.

Так как доктор, лечивший меня, настойчиво советовал мне уехать из сырого климата Батума куда-нибудь в горы, я согласился на это предложение.

Кроме Желабиной, ее мужа Левашкевича, меня, в Батуме находилось еще человек шесть рабочих, высланных из разных частей России за участие в стачечном и революционном движении. Фамилий их я, к сожалению, не помню. Часть из них с рвением принялась за революционную работу. Другие стояли в стороне. Некоторые опускались...

Уехать в Гурию, к родным тов. Тускиа, как я хотел, мне не удалось. Почти в день отъезда ко мне на дачу пришел чернобородый, энергичного вида товарищ.

— Моя фамилия Багаев [2], — говорил он. — Я едва вас разыскал. Я нарочно приехал за вами и за другими товарищами с севера. Мы организовываем в северном районе, охватывающем Владимирскую, Костромскую и Ярославскую губернии, „Северный союз". Мне поручено собрать товарищей, разбросанных по разным местам России, живущих, как вы, под надзором полиции. Подумайте, — соблазнял меня тов. Багаев, — вы будете работать в одном из самых промышленных районов России, пока еще не захваченном в сеть партийной организации. Вам выпадет большая честь считать себя в числе тех товарищей, которые закладывают основание партийной организации в этой местности. Затем, какой смысл революционеру жить и работать на окраине, в то время как необходимо в первую очередь поднять центр России? Если движение будет сосредоточиваться на окраинах России, а центральные губернии будут отставать, рабочее революционное движение все равно будет обречено на неуспех и будет подавлено.

Предложение тов. Багаева немедленно направиться на революционную работу на суровый север, в один из главных промышленных центров, мало затронутый пропагандой, перевесило предложение тов. Тускиа — остаться отдыхать на юге, среди роскошной красочной природы.

— Напрасно уезжаете, — говорил мне тов. Тускиа. — Доктор, который вас лечит, с той поры, как вы заступились за турка, почувствовал к вам симпатию. Он говорит, что вам действительно необходимо уехать из Батума, но ни в коем случае не на север. Он говорил, что вам нужен отдых в горной сухой местности Кав-

---

[1] Блюдо из кукурузной муки.

[2] *В. И. Невский,* Очерки по истории РКП(б), стр. 457, 464, 467.

каза. Я думаю, что вы очень рискуете подорвать свое здоровье в суровых лишениях на партийной работе на севере, где скоро уже наступят холода. Оставайтесь здесь, где у вас есть друзья и где у вас имеется полная возможность отдохнуть и полечиться.

— Тов. Тускиа, — ответил я, — в Сибири в течение 3 лет я жил одной мечтой: это — посвятить свою жизнь революционной борьбе за освобождение рабочего класса и всего человечества. Меня революция послала сюда, но меня преследовала здесь неудача. Теперь, когда передо мною опять открылась возможность приложить свои силы на нетронутой еще ниве, обещающей богатые всходы, неужели я должен остановиться, отказаться от этой возможности только потому, что я болен? Жизнь рабочего коротка. Еще короче жизнь революционера. Я, видите, болен. Лучше погибнуть в борьбе, чем влачить жалкое существование калеки.

— Так вы уезжаете от нас? — говорил Г. Жалко. — Мы уже привыкли к вам. Этот, что приехал за вами, в синей блузе с черной бородой, производит очень хорошее впечатление. Я сразу понял, что он — революционер. Видно, что он усвоил революционную технику. Конспиративен, как сам Александр Михайлов. Народовольческое наследство пошло впрок вам, социал-демократам. Ну, а деньги-то у вас есть, по крайней мере, на дорогу?

— Какие деньги? Я даже не заикнулся о деньгах. Вот получу жалованье при расчете с завода, вот и деньги.

— Нет, у нас было не так! Нас партия „Народной Воли“ умела обеспечить для революционной работы деньгами. Ну, ладно!.. Я вам устрою проезд не по железной дороге, а на товарном пароходе „Берта“ до Мариуполя. На-днях этот пароход придет с грузом леса из Александрии. Вы приготовьте вещи, перетащите их сюда и будьте готовы. Капитан, грузин-католик, не любит засиживаться здесь. Как только погрузка кончилась, он тотчас дает приказ плыть дальше.

Наконец пришла „Берта“. Сказав, что я уезжаю на Мариуполь по железной дороге, и тем обманув жандармов, я на самом деле, при помощи товарищей грузин, перенес свои вещи на пароход. Сам я, после того как корзина моя была сдана товарищами грузинами туда, незаметно от шпиков, карауливших меня у вокзала, пробрался на пароход.

Начальник кутаисского жандармского управления, донося Департаменту полиции о моем отъезде, говорит, что я уехал из Батума 19 августа 1901 г. по старому стилю, и продолжавшимся розыском был обнаружен лишь почти через год, т. е. 12 мая 1902 года.

НА ПАРОХОДЕ.

Густой серый туман заволакивал батумскую гавань, море, берег, когда глубокой ночью с 19-го на 20-е августа 1901 г. товарный пароход „Берта“ выходил из батумского порта. Огни глохли

и слабо мерцали в охватывавшей все серой пелене. В трех шагах ничего не было видно. Пароход медленно двигался по направлению к выходу в море.

— Кто идет? Эй, кто идет? Слышь, говори, кто идет? — раздались крики откуда-то из глубины тумана. Пароход молча продолжал путь, не обращая внимания на крики.

— Говори, кто идет, так-так-растак!

— „Берта", — послышался, наконец, слабый, глохнувший в тумане ответ с вышины вахты.

— Что же вы молчите, мать-мать-мать? — продолжал доноситься голос из тумана. — Службы не знаете. Здесь крепость, военное положение. Оштрафуем вот вас. Чтобы вас разорвало, чтобы вам ни дна, ни покрышки, чтобы вам подавиться! — продолжал слышаться голос из тумана, пока не заглох окончательно.

„Как пароход в тумане идет наугад, так я не знаю, что ждет меня на севере. Я приехал на юг, в Батум, крепышом, здоровяком, полным сил и энергии. Я возвращаюсь на север больным, ослабевшим, физически надломленным. Первый блин у меня вышел комом", — приходило мне на мысль.

Под эти думы и под однообразный стук машин я заснул в каюте помощников капитана. Я долго еще слышал тяжелые удары морской волны о корпус судна, пока окончательно не забылся во сне.

Проснувшись рано утром на узком ложе каюты, я увидел яркий солнечный свет, пробивавшийся в маленькое круглое окошко каюты парохода и ложившийся светлыми полосами на стенах каюты. Не слышалось больше ударов волн о стены судна. До слуха доносилось лишь приятное журчание разрезаемой носом судна волны. Меня тотчас же потянуло наверх, на палубу. Я первый раз в жизни совершал морское путешествие. Синяя морская даль влево от парохода, красивые очертания кавказского берега справа, необыкновенно чистый, здоровый морской воздух, голубое небо, солнечный свет, стада дельфинов, обгонявших пароход, — все меня поражало, приковывало к себе мое внимание и вызывало чувство восторга перед красотами природы.

„Прекрасен мир, в котором мы живем, — думал я. — На земле вполне возможна иная, более счастливая жизнь".

— Хорошо на море, — сказал я подошедшему ко мне помощнику капитана, с которым я ехал в одной каюте. — Вам можно позавидовать.

— Чему? — спросил он.

— Вы постоянно на море.

— Вы ошибаетесь: нечему завидовать. Хорошо проехаться по морю раз-два и в такую хорошую погоду, как теперь. Но постоянно, всю свою жизнь совершать каботажное плавание, особенно зимой в штормы... Вот тогда в мороз, когда все на пароходе леденеет, когда идет снег, а ветер грозит вас сорвать с мостика, —

вот тогда побудьте вы на вахте, особенно ночью, когда завывает метель и ни зги не видно...

— Да, бывают моменты, когда море, как сейчас, необыкновенно красиво, — продолжал он, — когда смотришь на него и не можешь насмотреться. Тогда я люблю море. Но бывают дни, когда я ненавижу его. Затем тяжело сознавать, что ты как бы прикован к этой старой калоше, полной крыс. Разве это пароход! Его продали за негодностью в Англии нашему хозяину — одесскому еврею. Разве это жизнь! Можно опуститься, отупеть, спиться, совершая всю жизнь одни и те же рейсы.

Он замолчал. Наше внимание было привлечено страшными криками и похабной руганью, несшейся из машинного отделения.

— Опять та же история, — сказал помощник. — Послушайте, полюбуйтесь.

Я подошел к люку, ведшему к кочегарку.

— Эй, раззява, — кричал старший кочегар внизу, у паровых котлов, на пассажиров третьего класса, ехавших бесплатно и обязавшихся отработать переезд. — Эй, шуруй, открывай топку, бери кочергу, мешай уголь в топке! Бери лопату, наваливай уголь в топку! Да поживей пошевеливайся! Задарма что ли будем вас возить и кормить, лежебоки вы эдакие! Ваше дело жрать, спать да одежу рвать, а работать вы не хотите. Нет, я выучу вас, лодырей проклятых, как выпрашиваться на пароход: „Ваше благородие, господин капитан, возьмите, ради бога, доехать до Мариуполя, отработаю у вас на пароходе", — а теперь лодырничать!

Старший кочегар, похожий на вельзевула, покрытый потом и сажей, не давал ни отдыха, ни срока, обучая новичков кочегарскому делу, и попутно, как дело совершенно привычное и самое обыкновенное, давал то одному, то другому то в ухо, то в зубы. Бедные пассажиры третьего класса вертелись у него, как грешники на сковородке, мокрые от пота и покрытые сажей.

— Куда прешь? На палубу? — кричал он вдруг на кого-нибудь из них, пытавшегося вырваться из ада, который со своей невыносимой жарой от раскаленных топок представляла собой кочегарка. — На палубу захотелось? Хочешь на солнце, как боров, греться? Я тебе покажу палубу!

И он со всего маху наносил жестокие удары попавшему под его власть.

Жестокая расправа, бесчеловечное избиение, к которому прибегал кочегар, совершенно терроризировали этих несчастных, попавших в своеобразное рабство. Все молча исполняли приказания кочегара, перебегая от топке к топке, то мешая горевший в них уголь, то наваливая в них новый. Только один смельчак нашелся, который в свою очередь кричал:

— Не смей драться, сволочь ты паршивая! Я капитану буду на тебя жаловаться.

— Ладно, вот проснется капитан, выйдет на палубу, я тебя самого к нему представлю. А пока что, цыц, шалишь, не смей наверх лезть, изволь работать! Как бы он сам тебе в зубы не дал, а на берег-то уж обязательно высадит.

Угроза оказаться высаженным на берег возымела свое действие. Последний протестант смирился и молча исполнял все приказания старшего кочегара. Бесплатные пассажиры оказывались очень выгодной статьей для капитана. Не платя им жалованья, выставляя себя перед ними благодетелем человеческого рода, он заставлял их работать без отдыха и срока.

Капитан, грузин-католик, появившись на палубе, держал себя со всеми, за исключением пассажиров первого класса, страшно надменно, гордо, настоящим царьком. Своим острым, властным взглядом сверху вниз, вызывавшим к нему невольно почтение со стороны матросов, своим обращением с матросами, с пассажирами второго и третьего классов, он как бы давал понять, что он находится от них на неизмеримой высоте, недоступной для них, простых смертных.

Все приказания, все свои распоряжения и решения он передавал через своих помощников. Вступал он с ними в разговор лишь тогда, когда нужно было их распечь.

Как только он появился на палубе в сопровождении господина с дамой из первого класса, к нему тотчас подошли помощник и старший кочегар. Первый жаловался на повара, забывшего закупить достаточно провизии, а второй — на пассажира третьего класса, пробовавшего протестовать.

— Я же тебе, растакую тебя мать, говорил, чтобы ты купил провизии, — кричал он на повара. — А ты барином думал у меня на пароходе проехать. Не хочешь работать. На берег тебя высадим, — набросился капитан на пассажира третьего класса.

Тотчас пароход стал на якорь, была спущена шлюпка, забравшая с собой повара за провизией и злополучного пассажира третьего класса, вздумавшего протестовать против избиений. Матросы команды на пароходе „Берта“ отличались от иностранных матросов тем, что они носили на себе особый отпечаток приниженности, были оборваны, носили грязные лохмотья, сквозь которые видно было голое тело. Они помещались на носу парохода, на баке. Я вслушивался в их задушевные великорусские и задумчивые украинские песни. И они мне казались выше, душевнее, чем капитан, его помощники и пассажиры первого и второго классов и боцманы, резкая трехэтажная матерная ругань которых время от времени сотрясала воздух.

Мы миновали живописные берега кавказского побережья и, простившись с синими, зеленоватыми водами Черного моря, прошли через Керченский пролив в желтые воды Азовского моря. На четвертый день пароход пристал к Мариуполю.

ПИСЬМО В „ИСКРУ" А. С. ШАПОВАЛОВА.

„В нашем городе около 20 заводов, из которых 11 нефтяных, приспособленных к разливке керосина, отправляемого за границу. Из заводов самыми большими по числу рабочих являются нефтяные заводы Ротшильда и Манташева. Рабочих в городе более 8000.

У нас, как и на всех заводах Кавказа, кроме Баку, нет фабричной инспекции[1].

Вследствие этого здесь нет никакого надзора над фабриками. Произволу хозяев здесь предоставлен полный простор. Они делают, что хотят, не боясь никого и ничего, и являются полными господами жизни и здоровья рабочих, а рабочие — их рабами.

При столкновениях между отдельными хозяевами и рабочими дело разбирает обыкновенно околоточный надзиратель и всегда, конечно, в пользу хозяина. Если же рабочий перенесет дело в суд, то и тут хозяин выходит правым, ибо обыкновенно задавленные нуждой и зависящие от хозяина свидетели-рабочие боятся показывать против хозяев. Рабочие всегда бывают виноваты! Кроме того, ни одно безобразное деяние хозяев не было напечатано в местных газетах, потому что цензура позволяет только хвалить хозяев за их будто бы отеческое хорошее отношение к рабочим.

В других городах и местах нашего обширного отечества все-таки существуют праздники, во время которых замолкает шум машин и рабочие пользуются хоть кратким отдыхом. У нас не то. Не говоря уже о воскресных днях и двунадесятых праздниках, здесь даже в первые дни пасхи и рождества не перестают гудеть фабричные гудки и не прекращаются работы. Хозяева наши хотят, вероятно, показать, что для них нет ничего святого, что они поклоняются лишь золотому тельцу и чтут голый чистоган.

В нашем городе особенно развит труд малолетних. На заводе Манташева работают 7—8-летние дети. Дети работают столько же часов, как и взрослые, а так как здесь производство отличается страшным непостоянством и во время заказов на заводе Манташева число рабочих часов доходит до 105 в неделю, то детям приходится простаивать за станком по 15—16 часов в сутки. С прекращением заказа обыкновенно рассчитывается половина рабочих.

На наших заводах господствует по отношению к рабочим кулачная расправа. Рабочих бьют надсмотрщики, заведующие, механики и сами директора. Особенным постоянством в этом отношении отличаются управляющий завода Манташева — Тер-Акопов, а на

[1] Только что появилось сообщение о введении фабричной инспекции в Тифлисской губернии, причем правительство признало открыто, что к введению инспекции его побудили стачки тифлисских рабочих. (Примечание редакции „Искры".)

заводе Ротшильда — механик Штубнер и приказчик Файнштейн. Бьют и ребятишек, чтобы они усерднее работали. Особенно жестоко поступает с ними приказчик Файнштейн.

На заводах у нас очень часты несчастные случаи. Это происходит оттого, что хозяева нисколько не заботятся о безопасности рабочих при исполнении ими работ, а также и оттого, что пользуются дешевыми, необученными рабочими. В жестяночных и лесопильных отделениях нефтяных заводов редкий день проходит без несчастного случая. Если случится несчастье с рабочими при исполнении работ, протоколы пишут, как ни странно это, управляющие заводов. Если рабочему отрежет станком палец, пишут, что — „поранение несерьезное"; если рабочему отрежет кисть руки внезапно опустившимся ножом штампа, когда он выковыривал застрявшую жесть, которая должна была бы выбрасываться автоматически, — пишут, что поранение произошло по собственной неосторожности рабочего. Если рабочий, чтобы предупредить падение ножа, подложит под него кусок дерева и если нож опустится на это дерево, — ему пишут штраф в размере 3—5 рублей. Точно так же рабочих, которые попадают в станок 4-й и 5-й раз, попросту выгоняют, придравшись к какому-нибудь пустяку, чтобы не выплачивать ему вознаграждения как неспособному к труду.

В паяльных отделениях нефтяных заводов рабочие хворают горловыми и грудными болезнями, так как воздух в этих мастерских насыщен парами разных кислот. В разливочных отделениях этих заводов у рабочих от керосина пухнут ноги и покрываются язвами. Климат здесь очень нездоровый, лихорадочный, сырой; здесь трудно найти рабочего, который не хворал бы лихорадкой и ревматизмом. Несмотря на страшную жару летом, когда рабочие буквально обливаются потом, здесь ни на одном заводе нет кубов с кипяченой водой, и рабочие принуждены пить сырую, застоявшуюся в трубах воду. Вследствие этого здесь часты заболевания, а медицинская помощь поставлена очень плохо; ни на одном заводе нет больницы, и фельдшера обращаются с рабочими очень грубо.

На заводах здесь практикуются скрадывание рабочего времени и вычеты. Часто рабочие получают лишь половину заработанных денег: остальную половину вычитают за брак, хотя рабочие не виноваты, так как причинами плохого исполнения работы являются старые, испорченные машины. А у Манташева на заводе машины пускаются в ход на полчаса, на час раньше гудка. Заработная плата за последние годы здесь сильно понизилась. Десять лет назад на заводе Ротшильда работало 4000 человек. Рабочие получали по 2—3 рубля в день. Теперь же, после улучшения механизмов, ту же работу, даже в больших размерах, исполняют 1500 человек. За эти десять лет 2500 человек было вы-

брошено на улицу, а заработная плата понижена до 60 коп. в день. Теперь мы зарабатываем лишь на хлеб и на воду, чтобы только не умереть с голоду, чтобы быть в состоянии создавать не для себя — для других богатства... Тяжело так жить, и невольно является вопрос: зачем мы так страдаем? Жизнь наша лишена всякой радости, она — лишь сплошной путь к могиле. Так не лучше ли нам умереть не за станками и не рабами, а умереть, борясь за свободу, за лучшее будущее!..." [1]

---

[1] „Искра" № 16 от 1 февраля 1902 года.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

ВОРОНЕЖ, ЯРОСЛАВЛЬ, КИНЕШМА, ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК, БОБРОВ, КИЕВ.

Темная ночь охватила меня со всех сторон, когда я вышел, по дороге в Центральный промышленный район, с вокзала в Воронеже. Было чувствительно холодно. Лил дождь, тот осенний дождь в сентябре, который как зарядит, так и не перестает целыми неделями. Всюду кругом хлюпала и булькала вода и текла ручьями. Площадь была пустынна. При свете двух-трех фонарей, которые бессильны были рассеять надвигавшийся со всех сторон мрак, я рассмотрел несколько извозчиков, предлагавших довезти меня до города. Поборов в себе желание нанять одного из них, сидевших в вывороченных мехом вверх, чтобы не попортить мездру, полушубках на козлах своих пролеток, я направился пешком в город.

Отказался я от услуг извозчика потому, что мой бюджет не позволял такой роскоши и, во-вторых, из соображений, что, идя пешком, я проверю, нет ли за мной слежки, и если она окажется, легче могу от нее избавиться. Ночь была холодная, настоящая осенняя. Через час ходьбы под дождем, без зонтика, покупка которого представлялась для меня слишком большой роскошью, я промок до такой степени, что на мне не было, что называется, ни одной сухой нитки. Я дрожал от холода в моем тонком пиджаке, и вода лила с меня ручьями, когда я звонил у двери квартиры, где жил тов. Любимов Алексей Иванович (Марк) и другие товарищи, находившиеся в Воронеже под надзором полиции. Видя, до какой степени я промок, и что я продрог, он не только не выразил сочувствия, но как будто даже обрадовался этому обстоятельству.

— Вот и хорошо, что такая погода: значит, ни одной собаки и в том числе и шпиков нет на улице. Вам нужно использовать это благоприятное для нас обстоятельство и сейчас же уходить обратно на вокзал. Вы поедете в Ярославль.

Говоря это, он сообщил мне адрес в Ярославле, куда я должен был обратиться по приезде, и пароль.

— Есть у вас деньги на дорогу? — спросил он.

— Да, я получил на заводе в Батуме получку. У меня 25 руб.

— За глаза достаточно! Мы не всегда бываем так богаты, как вы теперь. Вы — настоящий крез с такими деньгами.

— Товарищ, — обратился я к нему, — может, можно будет у вас переменить белье? На мне нитки сухой нет, и я дрожу от холода.

— Это было бы очень желательно и даже необходимо, но совершенно невозможно. Подумайте, если менять белье, почему не выпить чаю, а затем обсушиться и даже переночевать? Каждую минуту погода может улучшиться, и тогда тотчас, как из-под земли, против нашей квартиры появятся шпики. За нашей квартирой особенно следят. Нужно выбрать одно из двух: или захватить слежку, или промокнуть на дожде еще раз и уйти свободным от нее.

Я понял, что он прав, и выбрал последнее.

Со времени приезда в Воронеж таких товарищей, как тов. Курнатовский, Ряховский Н. А. и другие, осенью 1900 года, искровское направление победило совершенно возглавляемую Махновцем рабочедельческую линию, но искровская организация была еще так слаба, что не имела возможности располагать в городе конспиративной квартирой, куда без явного риска немедленно провалиться, как это могло случиться на квартирах политических ссыльных, могли приходить ехавшие на подпольную работу товарищи.

Вняв голосу благоразумия, я, не оставаясь здесь ни минуты, вышел от тов. Любимова.

Поезд на Москву уходил рано утром. 5—6 часов необходимо было провести или в гостинице, или на вокзале. В гостиницу и на постоялый двор я не пошел, так как в таком случае пришлось бы предъявить свой паспорт и затем это было бы дорого. Мои двадцать пять рублей не позволяли такой роскоши, как ночевка в гостинице. Я решил как можно дольше просуществовать на те деньги, которые были получены мною на заводе, не обращаясь за помощью в организацию, у которой, при отсутствии средств у партии, каждая копейка была считана. Поэтому все говорило за то, чтобы мне остаться на ночевку на вокзале. Но, не говоря о лавках, скамейках и столах, даже все места под лавками, весь заплеванный, захарканный, загаженный пол вокзала был покрыт телами спящих крестьян и рабочих, ожидавших так же, как и я, поезда. Подобная картина каждую ночь наблюдалась по железным дорогам, на всех вокзалах царской России. Случайно я нашел одно место на лавке в коридоре. Ночь была холодная. Обе двери в коридор поминутно отворялись. Все время дул холодный сквозняк. В мокром белье и одежде я лежал и коченел. Ночь, проведенная на холоде, на сквозняке, сказалась чрезвычайно неблагоприятно на моем здоровьи. Чем далее ехал я на север, тем все более усиливался у меня ревматизм. Особенно остро я по-

чувствовал свое болезненное состояние в Москве. Здесь было еще холоднее. От боли в ноге я едва вышел из вагона, чтобы пересесть в поезд на Ярославском вокзале. Иногда начинала приходить в голову мысль, не напрасно ли я не послушал совета тов. Тускиа. Но было поздно раскаиваться. Выхода уже не было.

Не доезжая до станции Сергиево, за Москвой, в вагон вошел огромного роста, с звероподобным лицом монах знаменитой Троице-сергиевской лавры. Держа в руке медный обруч, к которому был привешен довольно больших размеров кожаный мешок, он густым басом возглашал:

— На свечу преподобному Сергию! На свечу! Кладите, православные, не ленитесь: рука дающего не оскудеет!..

Тяжело было смотреть на рабочих и крестьян, бросавших в мешок этому верзиле, которому впору было таскать на своей широкой спине мешки на пристанях или рубить деревья в лесу, медные, а подчас и серебряные монеты.

В Ярославле, где в то время находился центр „Северного союза", я прожил не менее двух недель, так как я заявил, что без фальшивого паспорта, под своей фамилией я ни за что не поеду на революционную работу. Здесь я встречался с Анастасией Дмитриевной Бабенко и, повидимому, с Кедровой и с Новицкой. Получив незаполненный паспортный бланк, приблизительно 15 сентября по старому стилю я выехал на пароходе в город Кинешму, тогда Костромской губ. Слушая, как матрос на носу парохода, не переставая, кричал: „четыре! четыре с половиной! не маячит, не маячит", я любовался поросшими лесом берегами верховьев Волги, где в свое время черпал свое творчество русский художник-пейзажист И. И. Левитан.

Но вот и Кинешма. Водная струя журчала, ударяя в паром, на который я перешел для переправы на другой берег Волги.

Я стоял на пароме и смотрел на удалявшийся город.

„Какая разница, — думал я, смотря на красиво расположенную на самой вершине берега Кинешму с ее домами и собором, — между этим простым северным пейзажем верховьев Волги, проникнутым какою-то печалью, и роскошными, сочными, яркими красками сине-изумрудного моря и покрытыми густою зеленью горами кавказского побережья Черного моря". Я присматривался и к обитателям края с волосами такого же цвета, как песок на берегу Волги, и с светлосерыми глазами.

„Я только что натолкнулся на страшно тяжелые условия жизни рабочих на цветущем юге. Что-то я увижу здесь, на печальном, суровом севере, в районе текстильного производства?" — приходило мне в голову.

Паром пристал к берегу. Я сошел на берег одним из первых и зашагал вверх по берегу Волги. Я прошел мимо корпусов те-

кстильной фабрики, мимо лесопильных заводов, пока не дошел до химического завода Философова. Всюду непролазная осенняя грязь. Пахло какими-то кислотами. На дворе виднелось множество огромных бутылей для кислот, обвернутых соломой и поставленных в особые круглые корзины, и длинная деревянная казарма. Из последней выходили рабочие деревенского типа, с волосами, остриженными в кружок, в передниках и в сапогах с длинными голенищами, с отпечатком какой-то забитости и приниженности на лице и во всей их фигуре.

Из любопытства я вошел в эту казарму. Моим глазам представились два ряда кроватей, стоявших на полтора аршина одна от другой и образовывавших узкий проход посредине. Меня поразили тяжелый запах в помещении и невероятная грязь, покрывавшая слоем не меньше чем в сантиметр, очевидно, никогда не мывшийся пол. Так как рабочие, входившие в казарму, ложились прямо в грязной одежде на одеяла кроватей, не снимая даже сапог, чтобы, передохнув немного, снова итти на работу, то кровати не отличались чистотой.

Цвет лица у рабочих был желто-зеленый, на их лицах лежала какая-то апатия. Очевидно, им было не до чистоты. Приходя со двора, они приносили на подошвах ту же грязь, которую затем разносили по всему полу.

— Вам господина П—ва? Это — помощник нашего директора. Вот напротив его квартира, — указали мне, когда я вышел из казармы.

Войдя туда, я встретил добродушных старичка и старушку, допытавшихся, откуда я и для чего мне нужен их сын — студент. Наконец пришел и он. Поговорив при его родителях о всякого рода пустяках, какие в тот момент пришли в голову, я намекнул ему, что мне необходимо переговорить с ним наедине.

— Пойдемте погуляемте по берегу Волги, — предложил он.

Мы вышли из завода и пошли вверх по Волге. Тропинка, наконец, повела вверх по крутому берегу, заросшему лесом. Как только мы обменялись условленными паролями, и он понял, кто я, на его лице отразилось скрытое недовольство.

— Очень нехорошо, что вас направили прямо ко мне, — говорил он. — Положение здесь вот какое. У меня решительно нет распропагандированных, более или менее сознательных рабочих, хотя бы таких, на которых можно положиться, что они не пойдут и сейчас же не донесут на вас. Таких рабочих у меня нет ни здесь, ни на других окрестных фабриках.

— Но позвольте, каким же образом могло случиться, что в Ярославле меня все в один голос уверяли, что связи с рабочими у вас, наоборот, имеются? Только на основании этого меня и послали сюда. Мне поручено познакомиться со знакомыми вам рабочими, расширить через них связи с рабочими других фабрик,

поставить и укрепить у вас в Кинешме организацию и расширить партийную работу.

— Лично я, — ответил он, — говорил тов. Носкову, что у меня всего один знакомый рабочий на этом самом заводе. Но вот уже две недели, как он уехал в Петербург. Остальная информация совершенно неверна. Никаких связей в настоящий момент у меня нет. Затем я также очень недоволен, что вас направили прямо ко мне: я ведь дал же другой адрес в Кинешме.

— Что же мне делать? Неужели уехать и сказать в Ярославле, что здесь совершенно пустое место?

— Нет, мы сделаем так. Вы останетесь здесь. Поселиться в самой Кинешме не советую: вам придется ведь ежедневно ездить на пароме туда и обратно. Все фабрики ведь на этой стороне. Кончится тем, что вы примелькаетесь в глазах и за вами начнут следить. Я предлагаю вам поселиться здесь в лесу уединенно, в шалаше. Вы будете приходить в него только ночевать и уходить отсюда рано утром. Вам придется обойти лично все фабрики и всюду проситься на работу. Найдете здесь работу, заведете здесь сами знакомство среди рабочих, создадите среди них организацию и поставите затем работу, разовьете, значит, пропаганду, агитацию, и все. Это — путь медленный, трудный, но единственный.

Ведя этот разговор, мы все поднимались вверх по узкой дорожке. В березовом лесу, в стороне от тропинки, мы встретили сколоченный из досок шалаш, образовывавший одну комнату еще меньших размеров, чем та, в которой я жил в Батуме. В ней не было ни стола, ни стула и вообще никакой мебели. В этом шалаше летом можно было бы укрыться от жары и дождя. Жить же здесь, особенно в холодные северные ночи в сентябре, представлялось даже мне, неизбалованному, невозможным. Так как пола в шалаше не было, спать приходилось на тощем, стареньком матрасе, положенном прямо на голую землю.

— Чтобы вам было чем укрывать себя на ночь, — сказал П—в, — я вам принесу лишнее одеяло.

Мы условились, что мою корзинку с вещами и книгами, которые я привез из Сибири, он спрячет в Кинешме у одного своего знакомого гимназиста.

— Да вот что, — сказал я, — надо мне заполнить паспортный бланк. Мне его товарищи выдали в Ярославле, но заполнить отказались. Своей рукой лично мне это сделать неудобно. Не возьметесь ли вы? Напишите какую-нибудь вымышленную фамилию, например Капустин Иван Петрович.

— Как это вссе у вас примитивно! — ответил тов. П—в, с большой неохотой согласившись превратить меня из Шаповалова в Капустина.

Так как сумерки уже сгущались, наступала ночь, тов. П—в, принеся мне одеяло, пожелав мне спокойной ночи и пре-

подав мне еще раз, как он говорил, необходимые инструкции, на основании которых мне запрещалось зажигать огонь, предлагалось входить в балаган и выходить из него так, чтобы никто из случайных прохожих не замечал моего присутствия в нем, ушел. Завернувшись в тонкое одеяло, помня, что мне нельзя было ни петь, ни кашлять, ни чихать, словом, делать все то, что могло выдать мое присутствие в шалаше, я завалился на матрасик. Я долго не мог заснуть. Меня трясло от сильного холода, от которого не спасало слишком тонкое одеяло. Наконец усталость взяла свое, и я заснул. Утром, как только рассвело, я тотчас ушел, не умываясь и не вычистив зубы, за неимением воды. С этого дня начались мои поиски работы на окрестных фабриках. Я уходил из моего жилища со всеми необходимыми предосторожностями. Спустившись из леса по узкой тропинке, я направлялся вниз по течению Волги к фабрикам, разбросанным здесь одна от другой верстах в 10—12. По мере того как я жил в шалаше, болезнь моя все усиливалась, прогрессировала. Обыкновенно с очень большими усилиями я поднимался утром от сильной боли в ногах. Первое время тотчас по выходе из шалаша мне было очень трудно, почти невозможно итти. Постепенно, по мере того как я удалялся от моего жилища, боль утихала. Но она еще более усиливалась к следующему утру.

Дорога к фабрикам обыкновенно шла лесом. Пройдя верст 6 или 8, а то и 10 или 12, еще издалека я среди стволов сосен или берез начинал различать высокие трубы и огромные из красного кирпича фабричные корпуса и жилые помещения для рабочих. Самая большая фабрика в то время здесь была так называемая „Томна" в 12 верстах от города Кинешмы.

Но мне не везло в поисках работы.

Везде, куда я ни приходил, мне отказывали. Всюду на мои предложения взять меня на фабрику в качестве токаря-металлиста или слесаря я получал один и тот же ответ:

— Нет, не надо.

Таким образом я обошел здесь все фабрики. На некоторых, как на Томне, побывал несколько раз. Питался я хлебом и чаем. Для этого дорогой заходил в какую-нибудь чайную. Проделав в течение дня не менее чем 40 или 50 верст, я возвращался, скорее прокрадывался, как зверь, за которым охотятся, в мой шалаш.

Дорогою я невольно предавался грустным размышлениям. Вода тихо журчала у моих ног, когда я шел берегом Волги. Какая-то, как мне казалось, меланхолическая, щемящая сердце грусть была разлита в воздухе, в лесу, среди молчаливо стоявших деревьев, на берегу Волги. Она мне слышалась в журчании и плеске волны, она мне чудилась на однообразных песчаных берегах реки.

„Как все здесь просто и бедно!" — думал я, заходя в лавчонку. Мне захотелось есть.

— Нет ли у вас чего-нибудь получше? — спросил я лавочника при виде старой запыленной колбасы и баранок, твердых и сухих, как камень.

— Получше вам? — переспросил лавочник. — Да кому здесь покупать-то? Кто у нас здесь? Мужик, крестьянин. Прядильщик да ткач, всюду он, куда ни взглянете. А для ткача и этот товар хорош. Только подавай. Он все стрескает. Вы думаете, он в товарах, в деликатесах что-нибудь понимает? Ничевохоньки. Нет надобности здесь хороший товар держать. А вы, видно, нездешний, надо полагать — питерский, сейчас видно по разговору. Я сам в Питере живал. Жалею, что сюда опять приехал. Плохая здесь сторона: песок, вода, лес, да ткач, да мужик еще. Больше ничего нетути.

„Не оттого ли я не могу нигде найти в этих местах работу, что меня здесь по выговору принимают за питерского?" — думал я, возвращаясь к себе в шалаш.

Прошло таким образом около двух недель. По ночам становилось так холодно, что утром все деревья покрывались инеем, земля твердела от мороза, и лужи подергивались ледком. Однажды утром я почувствовал такое обострение боли в ноге, что, попытавшись встать, я тотчас опять свалился.

„Что я буду делать?" — спросил я себя. От сознания, что болезнь усиливается, что я превращаюсь в настоящего инвалида, острая тоска охватила меня.

В этот момент отворилась дверь, и на пороге моей лачуги появился студент П—в.

— Ну, однако, батенька, вы и больны: я видел, как вы пытались подняться и не могли. Как это вы находили в себе мужество и силы каждый день проводить все время с такой болью в ногах в поисках работы? Я принес вам неприятную новость. С одной стороны, у крестьян соседней деревни украли лошадь, с другой стороны, вас случайно видела одна наша работница, живущая здесь. Теперь в деревне пошел слух, что в шалаше в лесу, что на берегу Волги, скрывается какой-то бродяга. Дело принимает, таким образом, неприятный оборот. Вас полиция может с минуты на минуту арестовать, как бродягу, подозреваемого в конокрадстве, или сами крестьяне, обозленные, что у них воруют лошадей, придут и расправятся с вами самосудом. Первое скверно, а второе — еще хуже. Вам немедленно придется уходить отсюда. Так как работы вы не нашли, а других связей с рабочими у нас нет, вам ничего другого не остается, как уехать отсюда снова в Ярославль.

Я спешно собрался, вышел из шалаша с тов. П—ым и так же спешно уехал из Кинешмы без моей корзинки с вещами и книгами, которые пропали у гимназиста.

Товарищи в Ярославле приняли во внимание мои сообщения о неожиданных трудностях, встреченных мною при попытке начать

работу в Кинешме. Так как я явился к ним совершенно больной, перед ними встал вопрос, что делать со мною.

Партия в то время не могла, не имела возможности лечить заболевших товарищей. Она была так бедна средствами, что не могла даже в той мере, как это было необходимо, поставить партийную работу. Заболевшим товарищам ничего не оставалось, как продолжать работать, пока хватит сил. Ничего иного не оставалось и мне. С другой стороны, я сам горел желанием использовать на революционной работе накопившуюся во мне энергию. Поэтому, когда товарищи в Ярославле, достав мне поношенное теплое пальто, направили меня в Иваново-Вознесенск, я с радостью поехал в этот город.

— Вот и русский Манчестер! — громко сказал один из пассажиров третьего класса, когда показались фабричные трубы, красные корпуса фабричных зданий и колокольни церквей Иваново-Вознесенска. Среди пассажиров, высыпавших из вагонов, выделялась своим европейским видом труппа артистов, приехавшая на гастроли в Иваново, в какой-то частный театр, ибо городского театра там не было и в помине. Я с любопытством смотрел на этих людей из другого для меня мира.

Я выходил из вагона уже надломленным человеком. Я попрежнему горел желанием посвятить свои силы великому делу освобождения рабочего класса. Во мне попрежнему горел мрачный, непримиримый огонь ненависти к капиталистам и угнетателям. Я не представлял себе иной жизни, кроме жизни революционера, работающего над пробуждением классового сознания рабочего класса, над созданием партии рабочего класса, но неудачи, начавшие преследовать меня на революционном поприще с первых же шагов после возвращения из Сибири — в Питере, Тифлисе, Батуме, Кинешме, и, наконец, болезнь, превращавшая меня в инвалида, уже не окрашивали мои представления о моем, личном будущем в розовый цвет. Чаще всего я начинал думать, что моя болезнь приближает меня к последней роковой черте...

Выйдя из вокзала, несмотря на сильную боль в ноге, я, за неимением денег, пошел пешком в город. Дорогой, увидев на окне у лавочника записку о сдаче комнаты, я зашел и спросил, каково помещение и сколько оно стоит. Комната была маленькая, сырая, плохо меблированная. Хозяин, узнав, что я рабочий-металлист, ищущий работы, отказал мне.

— Нет, для вас не подойдет. Из каких средств вы будете платить мне за комнату? Помилуйте, здесь не Питер! Здесь Иваново. Здесь рабочие не избалованы настолько, чтобы снимать отдельные комнаты. Они живут здесь в фабричных казармах или по деревням или, наконец, снимают себе местечко на полу для ночлега. Вот пойдете по городу, увидите записки: „желаем квартирантов", туда и идите. Как раз вокурат будет вам по карману.

Огромные красные корпуса фабрик и казарм для рабочих, высокие фабричные трубы, изрыгавшие черные хвосты дыма, церкви при фабриках, речка Талка, настолько загрязненная красильными фабриками, что в ней передохла вся рыба, огороды с неснятой еще капустой, тянувшиеся вдоль течения речки, наконец, множество маленьких деревянных деревенского типа домиков, выстроенных самими рабочими, — вот что встретило меня в городе.

На многих домишках я прочел приклеенные записки, гласившие: „желаем квартирантов". Это означало, что многие ивановские рабочие в то время жили на положении париев, не имеющих даже кровати. Последнюю заменял здесь войлок, расстилавшийся хозяином дома вечером, в 9 часов, прямо на полу. Квартирантов принимали ровно столько, сколько могло поместиться во всю ширину пола. Очень часто, как мне говорили, женщине-работнице приходилось укладываться рядом с совершенно незнакомым ей мужчиной. В этом отношении положение ивановских рабочих являлось даже худшим, чем положение босяков в ночлежных домах, где женщин отделяли от мужчин.

„Революционер, — думал я, — должен, приезжая в новую местность, замаскировать себя условиями жизни, общими для данной местности. Поэтому и мне придется жить жизнью, общей для местных рабочих. Мне придется также спать бок о бок на полу, на войлоке, как и другие".

Знакомство с ивановскими передовыми, сознательными рабочими произвело на меня чрезвычайно отрадное впечатление. Они поражали своей энергией, искренностью, преданностью делу, прямотой и в то же время простотой, отражавшимися на их симпатичных лицах и в их светлосерых глазах. Некоторые из них производили впечатление вполне установившихся искровцев. Значительная часть их еще переживала переходный период от традиции экономизма и рабочедельчества к искровскому направлению. Пионером последнего они считали Варенцову Ольгу Афанасьевну и до известной степени Глафиру Ивановну Окулову. Этой последней — мужественной девушке, прожившей лето 1900 г. в маленькой избушке на краю города, под руководством О. А. Варенцовой, удалось одной из первых пробить брешь в традициях трэд-юнионизма и экономизма, во власти которых находились ивановские рабочие того времени, и завоевать этот важный промышленный центр для нашей партии. Не так легко давались эти победы, как это может теперь показаться. Им пришлось вынести не мало схваток и вести самую упорную борьбу со сторонниками старой кружковщины. Рукопись первой прокламации искровского направления, написанную ею, Г. Окулова отослала за неимением „техники" в Иванове для напечатания в Киев, где у нее сохранились связи с организацией. Отпечатанные там прокламации привезла из Киева в Иваново ее сестра Антонина Ивановна Окулова.

Живя на окраине города, тов. Г. И. Окулова переживала иногда тяжелые минуты. Случалось не раз, что какой-нибудь подвыпивший ткач, проходя мимо, вдруг сваливался, споткнувшись, и засыпал у самого ее окна, находившегося в уровень с землей и открывавшегося не внутрь комнаты, а наружу. Обыкновенно еще долго, прежде чем заснуть, такой пьяный, пытаясь подняться, скверно бранился, не подозревая, что в полуподвальной комнатке, у окна которой он лежал, живет марксистка-интеллигентка, бросившая буржуазную среду для того только, чтобы помочь рабочим освободиться от капиталистического рабства.

Появление прокламаций, начало массовой агитации среди рабочих подняло на ноги полицию. Последняя обратила в конце концов внимание на „таинственную барышню", жившую совершенно одиноко на самой окраине города в избушке на курьих ножках. Началась слежка. Шпики подходили к самому ее окну. В одну лунную ночь, когда она сидела и читала, она явственно услышала шаги крадущегося человека к ее окну. Через широкую щель в ставне она рассмотрела городового, приникшего ухом к окну.

„Подслушивают", — решила она.

— Что шпионите? — вдруг крикнула она. — Имейте смелость делать это открыто.

На другой же день она уехала.

Поселившись в Иваново, я не знал, что в этом городе принимает участье в партийной работе мой знакомый Н. Н. Панин. Он жил здесь под кличкой Гаврилы Петровича. Он так законспирировался, что до него невозможно было добраться. Вскоре, впрочем, после моего приезда он уезжал в Самару.

— Новый товарищ сюда приехал, — рассказывала ему тов. Володина, очень интеллигентная передовая работница, портниха.

— Кто такой? Что он собой представляет?

— Какой-то Капустин. Очень развитой, знающий, бывалый. Одно нехорошо: болен он. Едва ходит, опирается на палку, прямо калека. Что с ним делать? Полиция сейчас же обратит на него внимание.

— Дайте ему кружок. Пусть возится... Этим и ограничимся. А дальше посмотрим. Придется его отправить в другой город, где условия более благоприятны для лечения, жизни и работы.

— Вы напишите в Ярославль, что вам по болезни здесь совершенно нельзя оставаться, — говорила мне тов. Володина. — Здесь слишком суровые условия жизни. Пока мы вам дадим кружок из передовых рабочих. Можете его вести?

— Конечно, могу. Относительно тяжелых условий не беспокойтесь, я привык.

— Не в том дело, а вы у нас свалитесь окончательно. Вам бы на юге нужно жить, чтобы поправиться.

На самом деле, хотя я и был болен, я нисколько не тяготился

тяжелыми условиями жизни в Иваново-Вознесенске. Вареная картошка, соленые огурцы, кислая капуста, черный хлеб, ночевка на полу, где из-под двери обыкновенно дул холодный сквозняк, — все это мне было по душе. Жизнь подпольщика доставляла мне своего рода наслаждение, несмотря на все ее тяжелые стороны. Приятно было смотреть на пробуждающихся к сознательной жизни рабочих. Ивановские рабочие настолько уже были распропагандированы, что стремились подражать героизму революционеров предыдущих эпох. Так, в подражание героине повести Ежа „На рассвете" „Баба мокра", у ивановских рабочих была своя героиня — „Мокрая баба" (Ивлева Екатерина Васильевна). В ее доме, в каком-то заброшенном овраге, скрывался тов. Панин.

Неудачи продолжали между тем меня преследовать. Ночевки на полу в ноябре, когда стало особенно холодно, привели к тому, что в одно утро я не мог подняться с моего ложа.

Хотя болезнь моя была настолько очевидной и необходимость лечиться настолько неоспоримой, что меня надобно было бы совсем освободить от работы, но тов. Носков, не желая, очевидно, меня терять и надеясь, что авось болезнь скоро пройдет, направил меня на время к своему брату в Смоленск. Только после того, как через месяц его брат написал ему, что я болен более серьезно, чем предполагали, меня направили на лечение сначала в Воронеж и затем в город Бобров, Воронежской губернии.

Накануне отъезда из Иванова я еще раз встретил одного из старейших членов нашей партии, Ольгу Афанасьевну Варенцову. Окончив ссылку, она немедленно вернулась к революционной партийной работе и приняла участие в руководстве „Северным союзом". Ольга Афанасьевна жила в Ярославле. В Иваново, откуда она была родом, она наезжала время от времени.

В Воронеже на этот раз я встретил тов. Носкова, Карпова Льва Яковлевича, Кардашева Николая Николаевича, Костеркина, Любимова Алексея Ивановича и бывшего проездом в Воронеже Н. Н. Панина.

— Я совершенно не предполагал, что Гаврила Петрович и вы — одно и то же лицо, — говорил я, — иначе я добился бы свидания с вами. Все хорошо в меру. Вы так законспирировались, что не имели представления, с кем вам приходится иметь дело.

— Да, чрезвычайно досадно, что я не догадался, что Капустин и Шаповалов — одно и то же лицо, — ответил он.

Николай Васильевич Носков, познакомившись со мной лично и поговорив с врачом, который меня осматривал, убедился, что я действительно продержался на подпольной работе в Кинешме и Иванове до той поры, пока окончательно не свалился. Видя, как я с огромным трудом передвигаюсь, опираясь на палку, и узнав от врача, что моя болезнь приняла затяжной, хронический характер, он решил наконец отпустить меня на лечение. Н. В. Носков

представлял собой молодого человека лет 22, очень способного и подававшего большие надежды. Младший Носков, живший в Смоленске под надзором полиции, рассказывал мне о спорах, которые вел Николай Васильевич со своим старшим братом, фабрикантом из Иваново-Вознесенска.

— Брось ты эту дурь, — внушал он Николаю Васильевичу, — пропаганду эту, Маркса этого самого. К чему это? Блажь одна... Все одно рабочие не поймут тебя. Больно сер наш рабочий, особенно ткач.

— Наоборот, — возражал Николай Васильевич, — по-моему, дни капитализма сочтены. Если невежественный пока русский крестьянин, задавленный вековым гнетом, доведенный последним до тупости, веками молчаливо переносил свою ужасную участь, это не значит, что фабричный рабочий будет так же безропотен.

— Ты думаешь? Эх! Улита едет, когда-то будет... Больно сер наш ткач, чтобы потребовать от нас отчета. Мы еще поцарствуем вволю... А ты, дурак, за эти самые неосуществимые идеи пропадешь зря, сгниешь в тюрьме или Сибири. Жаль мне тебя: башковат ты. Хороший бы из тебя инженер и хозяин вышел... Брось эту ерунду, рабочий класс твой. Скажи слово, я шепну министру, — тотчас ты будешь в Иванове.

— Не трать слов понапрасну. Не соблазнить тебе меня. Как не потечет Волга вспять, так и я никогда не вернусь к вам. Пусть я пропаду, погибну, я погибну за великую идею...

— Не за великую идею! — пренебрежительно возражал фабрикант брату революционеру, — а за вздор, осмеянный еще две тысячи лет назад греком Аристофаном!..

— Эка куда ты хватил! — смеялся товарищ Носков. — Ты пригласил бы, в таком случае, царя Давида с его псалмами и сказал бы его словами: „Рече безумец: нет бога“... Старо, брат!

Я прожил несколько дней в Воронеже, прежде чем уехать в Бобров. Здесь я встретил рабочего Н. Д. Богданова (брусневец), [1] служившего в это время мастером на каком-то заводике в Воронеже или его окрестностях, и Желабина с женой, сестра которого жила с мужем на Кавказе.

Алексей Иванович Любимов брал гитару и, наигрывая на ней, напевал песенку из эпохи борьбы болгар за свое освобождение:

Их было семь. Все юных цвет!
Они погибли за восстанье...
Но гибель смелых много лет
Звала на подвиг, на страданье!..
Был жарче солнца, тверже скал
Призыв их, брошенный народу...
И пробил час... Народ восстал,
Народ добыл себе свободу!

[1] *В. И. Невский,* Очерк по истории РКП(б).

Их было семь. Все юных цвет!
Они погибли за восстанье...
И память их уж много лет
Хранит народное преданье! [1]

Слушая его, я вспомнил смелого поднявшегося ввысь и погибшего сокола, сокола, о котором пел в Сибири тов. Барамзин. Мне казалось, что в моей судьбе было что-то общее со смелым соколом. Мне представлялось, что я так же гибну, как и он, гибну медленно, неизбежно...

В начале зимы 1901 года я приехал в город Бобров Воронежской губернии. Здесь жил тов. Сергей Павлович Шестернин и его жена Софья Павловна Невзорова — сестра упоминаемой в „На пути к марксизму“ [2] Зинаиды Павловны Невзоровой.

Сергей Павлович Шестернин был сторонником легального марксизма. Он не сходился с тов. Лениным и с платформой „Искры“. Им была написана брошюра, к сожалению, забытая теперь, о морозовской стачке 1886 года.

Шестернин, юрист по образованию, назначенный городским судьей в свой родной город Иваново-Вознесенск, строго держался законности. Так как рабочие всегда жаловались на несправедливости фабрикантов и так как Шестернин становился всегда на сторону рабочих, он возбудил к себе ненависть фабрикантов. Колупаевы и Разуваевы Иваново-Вознесенска подали жалобу министру юстиции, в которой слезно просили защитить их, „сирот“, и просили убрать из их города появившегося там „Судью праведного“, как прозвали они в насмешку тов. Шестернина.

Министр юстиции внял жалобе ивановских фабрикантов и перевел тов. Шестернина в глухую дыру земледельческого района, где не было фабрично-заводских рабочих и где, следовательно, тов. Шестернин не мог быть вреден для фабрикантов. Министр в деятельности тов. Шестернина никак не мог найти предлог для ссылки его в места еще более отдаленные.

Не найдя возможности подвести его под какую-нибудь кару, как социалиста-марксиста, министр ограничился тем, что обезвредил его, переведя в город Бобров Воронежской губернии, что являлось равносильным ссылке. Но и здесь тов. Шестернин продолжал отстаивать интересы бедняков против богатеев и крестьян против помещиков. Его жена Софья Павловна исполняла у него обязанности секретаря. Он и она оказывали возможное содействие революционному движению.

Оба они все же изнывали от тоски и жаждали живой революционной деятельности. Они очень обрадовались моему приезду и приняли в моей судьбе самое живое участие. Устроив меня на лечение в уездной земской больнице, где главным врачом был

[1] Стихотворение Л. Ф. Кашменской.

[2] См. *Шаповалов*, На пути к марксизму.

доктор Кирсанов, ныне покойный, они время от времени навещали меня и окружили заботливостью, какая только была возможна в их положении. Вследствие этого я в этой больнице ни в чем не нуждался. У меня даже водились деньги, необходимые на покупку сахара и т. п.

Если С. П. Шестернин, так не пришедшийся по вкусу ивановским фабрикантам, являлся скорее марксистом правого крыла, то его жена Софья Павловна была определенной искровкой.

Я переступил порог больницы с отвращением. Со своим режимом, неизбежной вонью, серыми заношенными солдатского сукна халатами, с больными, значительная часть которых ждала смерти, как чего-то совершенно неизбежного, она напоминала мне тюрьму. Я чувствовал и сознавал, что Россия накануне больших событий, что рабочие готовятся к великой борьбе, что в их среде происходит стихийный, не осознанный еще процесс нарастания сил. Я жаждал принять участие в этой борьбе, но, выбитый болезнью из рядов борцов, превращенный ею в инвалида, сознавал свое бессилие.

Однажды ко мне в больницу вдруг явился тов. Ряховский, Н. А., окончивший ссылку и вернувшийся в Воронеж. Увидев меня в сером засаленном халате, полы которого волочились по полу, опирающегося на палку, он, видимо, не мог притти в себя от изумления. Его лицо исказилось как бы от какой-то внутренней боли, слезы заблестели у него на глазах. Он, видимо, не верил своим глазам.

— Как вы изменились, каким вы инвалидом стали! — сказал он с выражением невыразимой жалости в голосе.

„Как быстро, как ржавчина железо, — казалось, говорило его лицо, — болезнь точит человека. Этот передовой рабочий, еще так недавно, в Красноярске казавшийся каким-то особенно сильным физически, крепышом, точно вылитым из стали, полным энергии и заражавший всех революционным энтузиазмом, превратился теперь в жалкого калеку, в совершенного инвалида. Как непрочно все на земле!“...

Ему, видимо, тяжело было смотреть на мой серый, похожий на арестанский, халат, на мои стоптанные туфли, на палку, на которую я опирался, на всю поразительную перемену, происшедшую со мной. Ему как будто показалось, что вместо живого человека, каким он меня знал, он вдруг увидел смердящий труп. Пробыв со мной около часу, он, попрощавшись, ушел.

Вместе с его уходом я почувствовал, что во мне образовался какой-то надрыв, как будто во мне рвалась жизненная нить, связавшая меня с живыми, со здоровыми. Я увидел себя уже на полдороге между последними и теми, которые уже лежат в гробу.

Но жизнь была и в больнице. Я с интересом присматривался к ней. Здесь я столкнулся с крестьянами степной черноземной полосы. Влияния фабрики на них совершенно не было

заметно. Живя веками в степной, безлесной стране, где нет топлива, они мало-помалу потеряли привычку великороссов еженедельно бывать в бане. Они совершенно не мылись всю зиму, лишь летом купались в речках или прудах. Вследствие этого среди них были распространены чесотка, короста, лишаи и другие накожные болезни. Все они приходили в больницу, покрытые вшами. Бросались в глаза их неумение есть с тарелки вилкой и непривычка к отдельной для каждого больного посуде.

— Иванов, — обращалась обыкновенно заведующая хозяйством больницы к какому-нибудь больному, — отчего ты не ешь мясо вилкой, которая лежит вместе с ложкой и ножом около твоей миски и тарелки?

— Я, чай, не нехристь какой-нибудь, — отвечал обыкновенно Иванов, оставляя в покое вилку и тарелку, употребление которых ему было неизвестно, и прибегая лишь к помощи пальцев, ложки, ножа.

— Разве можно православному христианину вилкой вашей, как вилами сено на сеновал, пищу в рот ширять? И от чая вашего тоже избавьте: живот дюже от него у меня болит.

— Да ведь удобнее, легче и гигиеничнее вилкой-то вынуть мясо из чашки да на тарелке и резать его, а то ты, я вижу, пальцами да зубами одними его разрываешь.

— Нет, барыня, — отвечал Иванов, — грех это. Как можно, чтобы вилкой вашей рот поганить! Грех это... Православный я!..

Заметив и узнав от других, что я никогда не молюсь богу и не верю в его существование, они смотрели на меня с каким-то нескрываемым ужасом. Увидев, что ко мне на свидание приходят „господа“, т.-е. Шестернины, они успокоились, решив, что и я принадлежу вероятно, к разорившимся господам.

На земских врачах был еще заметен довольно сильный отпечаток старого народолюбия. Народолюбие, честное отношение к больному, особый человеческий подход к темному крестьянину, — все это очень выгодно отличало русского земского врача от многих его собратьев, западно-европейских врачей, отличавшихся, по всем данным, большой сухостью и своекорыстием, и помогло ему, мало-помалу, завоевать доверие крестьян, относившихся отрицательно и к медицине и к врачам.

Время шло. Отовсюду доходили слухи о росте революционного движения. Появилась брошюра тов. Ленина „Что делать?“, начались демонстрации, а я продолжал оставаться в том же положении. Здоровье мое не улучшалось.

Ранней весной 1902 года, когда начались красные зори, окрашивавшие степь в розовый цвет, я уехал из Боброва. Я начал задыхаться в этом глухом городке, и меня неудержимо потянуло в другие места. Я побывал в Самаре, Саратове, в Конотопе, Черниговской губернии, и, наконец, осенью 1902 года попал в Киев. Я хо-

рошо сознавал, что я у последней черты. Вследствие происшедших по России арестов я потерял связь с товарищами и не получал ответа на мои письма по адресу „до востребования". Стояла поздняя осень. Холодный ветер, срывавший с деревьев последние желтые листья и устилавший ими дорожки парков и улицы, заставлял меня ежиться от холода в моем летнем пиджаке. Я давно продал свое пальто на толчке на Подоле. Ночевать я направлялся в ночлежку в лавру. Рано утром, часа в 4, когда раздавался первый звучный удар колокола, который таял в воздухе, в ночлежку входил толстый, высокий монах с фонарем в одной руке и с палкой в другой.

— Рабы божьи! — кричал он толстым басом, грубо и бесцеремонно расталкивая своей палкой спящих, — рабы божьи, в церковь, а вы, босяки, на Подол! На Подол, босяки, на Подол!

Получив удар палкой, которой монах угощал направо и налево спящих ночлежников, я выходил вместе с другими на улицу. Чтобы спастись, бывало, от проливного дождя и пронизывающего ветра, я шел вместе с другими в монастырскую церковь. Продремав, прислонясь к стенке, утреню, слушая, как монахи пели про „Феодосия, богом избранного, и Антония, богом дарованного", затем раннюю обедню, я направлялся в какую-нибудь чайную, купив где-нибудь по дороге фунт хлеба. За „парой чаю", которую я заказывал, я сидел обыкновенно до той поры, пока половой-ярославец не подходил и не заявлял раздраженным тоном:

— Ты чаво здесь расселся? Ночевать што ль собрался? Чаю выпьет на пятак, а места норовит просидеть на целый рупь. Или снова заказывай чаю, или убирайся вон отсюда!

— Ты смотри в оба, — говорил вслед мне трактирщик половому, — не стащил ли чего. За босячьем этим смотри да смотри!..

Слезы начинали душить меня, когда при выходе из трактира до моего слуха доносились эти речи. Мне было противно ночевать в монастыре, простаивать в церквах утрени и обедни. Монастыри, я это знал, давно превратились в вертепы разврата, наглого обмана и ужасных преступлений. С омерзением, для того лишь, чтобы укрыться от дождя и холода, я заходил под их своды.

Мрачные мысли все более приходили мне в голову.

„Что мне делать? — думал я. — Я потерял связь с товарищами. Я тяжко болен. Болезнь превратила меня в калеку, неспособного к труду. Я хожу, опираясь на палку, и каждый шаг, который я делаю, приносит мне невыносимую боль. Меня никто не принимает на работу. У меня нет одежды, я замерзаю в своем пиджачке. Денег в кармане всего полтинник. Его хватит всего на несколько дней. Неужели дойти до попрошайничества, до настоящего босячества, потерять облик, черты восставшего против гнета гордого рабочего?" Я невольно вспомнил босяков, с которыми ночевал бок о бок, питерских мазуриков, маляра Антона, спившегося

и опустившегося, и токаря Петуха, певшего на потеху другим „ку-ка-ре-ку". Мрачное отчаяние на миг охватило меня.

Я заковылял как можно быстрее к берегу Днепра. „Довольно,— говорил я себе,—этого жалкого существования. Прощай жизнь, борьба!.." Вдруг чья-то рука опустилась мне на плечо, и чей-то знакомый голос меня окликнул:

— Никак это вы, Александр Сидорович, что с вами? В каком вы виде!... Вы едва идете! Вы больны?

Неожиданная надежда на спасение вдруг замелькала передо мной. Со мной говорил сибиряк Палашек Иван Константинович [1]. Тотчас вспомнил я горы Минусинского края, широкие, быстрые, многоводные реки, с необыкновенной прозрачной звенящей струей. Передо мной вдруг предстали острова реки Тубы, совершенно белые от множества цветущей черемухи. На этом фоне выплыло лицо Х. У. Жажда жизни нахлынула на меня. Мне безумно захотелось жить, вылечиться от болезни, снова броситься в революционную борьбу, найти огромное счастье в борьбе,—и я устыдился минутной слабости.

— Иван Константинович,—ответил я,—как видите, мне не повезло. В том плавании, которое я предпринял, я потерпел кораблекрушение. Я захворал. Приехав в Киев, я попал в очень тяжелое положение.

— Где же вы живете? Отчего вы без пальто?

— У меня нет квартиры. Что касается пальто, то, приехав в Киев, чтобы здесь в клинике сделать рентгеновский снимок, я принужден был продать его. Собственно говоря, нечего скрывать от вас, я очутился в совершенно отчаянном положении.

— Я сейчас должен итти на службу,—сказал задумчиво И. К.— Я живу на Тарасовской улице, в меблированных комнатах. Скажите, что вы от меня. Затем вот вам полтинник, сходите в баню. Чистое белье у меня в комоде. Вечером я приду. Проживете у меня с неделю.

Вместо недели с перерывами, когда я уезжал в больницы, где лечился месяцами, я прожил у И. К. около года. Мы питались ситным, колбасой и чаем. В конце концов от такого режима И. К. нажил себе катар желудка. Несмотря на то, что первое время моя болезнь пошла резко на ухудшение, я поражал И. К. Палашека своим бодрым, веселым, жизнерадостным настроением. Сам Палашек, охотно приютивший меня, но ставивший условием, чтобы я, живя у него, не занимался революционной деятельностью, заражен был до известной степени скептицизмом, мало верил в возможность победоносной революции в России. Он вращался в кругу студентов, уже успевших после короткого пребывания в рядах партии охладеть к революционному рабочему движению. Они

---

[1] *А. Шаповалов,* На пути к марксизму, ч. III.

усиленно ухаживали за женщинами, пили, устраивали кутежи. Разочаровываясь в революции, они теряли бодрый взгляд на будущее. Прекрасные черты народолюбивого интеллигента и революционера, которыми, хотя на короткое время, многие из них были, все более стирались и тускнели...

И. К. Палашек находился под двойным влиянием: под влиянием, с одной стороны, революционеров, как Г. И. Окулова, Ленгник, Кржижановский, Курнатовский, которых он глубоко любил и уважал, и с другой — под влиянием этих все более заблуждавшихся студентов. Сам он не пил, или пил мало, но скептицизм к делу революции рабочего класса от этих студентов переходил и на него. Среди его знакомых выделялся ветеринарный врач Понамаренко, не пивший и чуждавшийся вышеупомянутой компании студентов. В первый же день знакомства он мне рассказал о знаменитом побеге искровцев из киевской Лукьяновской тюрьмы, имевшем место в конце августа 1902 года.

— Да, грандиозный побег был, — рассказывал он. — Сначала думали, что вся тюрьма бежала. Затем выяснилось, что бежало через стену всего одиннадцать-пятнадцать человек. Смелый побег! Такой переполох был у жандармов, ужас!.. Всю охранку, всех шпиков и жандармов на ноги подняли. Особенно вокзалы внимательно смотрели. Да ищи ветра в поле. Найдешь!..

— А как же был организован этот побег? Ведь без помощи со стороны невозможно устроить такой побег.

— Да как? На свидании передали в большом букете цветов железный якорь. Веревки, говорят, скрутили из простыней. Когда все было готово, связали часового, заткнули ему рот тряпкой, затем устроили у тюремной стены пирамиду и по плечам друг друга взобрались на верх тюремной стены, зацепили якорь и по веревке спустились на противоположную сторону ее. Бежали, говорят, самые видные искровцы. Великолепно было организовано; никто не был арестован. Жандармы озлились, страсть...

Вскоре после встречи с Палашеком товарищ Ленгник, приезжавший в Киев, устроил меня на лечение у своего знакомого врача в местечке Ракитно, Белоцерковского уезда.

Около двух месяцев я пробыл в больнице в местечке Ракитно. По дороге меня поразил вид старых евреев из черты еврейской оседлости, грязных, в пейсах и покрытых вшами. При этом в разговорах с ними бросалась в глаза их любовь к просвещению и музыке.

Крестьяне-украинцы, лечившиеся в больнице местечка, казались темными и забитыми. У них не было обычая мыться в бане, и потому они приходили в больницу грязные и покрытые вшами. Многие мужчины на амбулаторном приеме, жалуясь на боль в животе, просили врача „вправить им матку".

— Живот, каже, пан дохтур, у мине болит, каже, пан дохтур, матку мне надо вправить.

Когда доктор, особенно его старушка-мать, полька, любившая бывать в больнице, обходили больницу, бросался в глаза обычай, привитый польскими панами, целовать у панов руку.

— Добрый день, Опанас, — говорила она, подходя к какому-нибудь больному крестьянину.

— Добрый день, добрая пани, — отвечал он обыкновенно и целовал ей руку.

То же самое происходило, когда сам доктор проходил по палатам.

— Не могу отучить их от этого обычая, — говорил он мне.

Раболепство перед начальством и богатыми, привитое тем же панством, замечалось в еще большей степени среди крестьян Подольской и Волынской губерний, которых я встретил весной 1903 г. в больнице общины Красного креста в Киеве. Меня поразило, что в большом, широком коридоре больницы эти больные крестьяне при проходе доктора или сестры обязательно так быстро и стремительно вскакивали и вытягивались в струнку по-солдатски, как будто под их сиденьем находилась какая-то скрытая, подталкивающая их пружина.

Вековая привычка унижаться, раболепствовать перед начальством, приходить в настоящий ужас при виде последнего, делала свое дело.

— Лучше перекланяться начальнику, чем недокланяться, — говорили больные крестьяне мне и одному киевскому рабочему, с которым мы начали вести агитацию среди них.

В больнице общины красного креста процветало и лицемерие.

— Дайте мне прочитать вашу книгу, — просила меня однажды одна из сестер, увидев у меня сочинения Г. И. Успенского.

— Возьмите, — ответил я. — Только это не роман, а очень серьезная книга. Передача книги привела к совершенно неожиданным для меня последствиям. Через несколько дней ко мне подошла с очень сердитым видом старшая сестра.

— Какое вы имеете право давать нашим сестрам такие безнравственные книги? — заявила она мне с величайшим негодованием, возвращая мне том Успенского.

— Я все время слышал от людей, очень компетентных в литературе, что сочинения Г. И. Успенского как раз принадлежат к разряду наиболее нравственных книг. От вас от первой я слышу, что они безнравственны. Удивительно!..

— А это что? — и старшая сестра с торжеством показала на один рассказ, где автор рисует молодых супругов-бедняков, которых лишения и бедность приводят к мысли, что им необходимо отказаться от супружеских ласк, но у которых молодость и молодое влечение друг к другу побеждают их попытки к воздержанию от супружеской любви.

— Представьте себе, ведь теперь не найдешь у нас в общине ни одной сестры, которая не прочла бы этот рассказ. Это ужас!

— Я не понимаю, что в этой сцене безнравственного? Она только является одним из доказательств, что бедняки, пожалуй, более нравственны, чем богатые, — ответил я.

— Нет, — возражала сестра, — я не могу с вами никак согласиться. Я запрещаю вам давать нашим сестрам эти книги. Вы развратите нам всех наших сестер. Не забывайте: у нас община и почти что монастырь.

— Если вы считаете эти книги безнравственными, вы имеете полную возможность сказать вашим сестрам, чтобы они не брали их у меня.

— Лучше будет, если и вы сами не будете их читать.

— Ну, уж совета у вас, сестра, какие книги нужно или не нужно мне читать, я не спрошу.

— Вот как, больно вы себя умным считаете! Только почему такой умник, а у нас на положении бесплатного больного?

— Не беспокойтесь, долго не заживусь у вас: уйду...

— То-то мы рады будем.

Больные в больнице разделялись на три категории: на две группы платных и третью группу бесплатную, к которой принадлежали мы. Нас кормили объедками со стола „панычей", как говорили крестьяне. В один прекрасный день нам с вышеупомянутым рабочим все-таки удалось своей агитацией добиться таких успехов, что забитые волынские и подольские крестьяне не только отказались от объедков, но и дошли до такой смелости, что не встали при проходе по коридору старшей сестры.

Это непочтение к начальству поразило всех в общине. Факт, что больные не встали при проходе по коридору старшей сестры и врачей, показался чуть ли не бунтом. Последствия этой „забастовки", как называли ее сестры общины, не замедлили сказаться в первую голову на мне.

Придя вскоре из горячей ванны, покрытый потом, в свою палату, где мне нужно было еще, по предписанию врага Богумила, минут двадцать потеть под одеялом, я застал старшую сестру за открыванием окон. Палата наполнилась пронизывающим больных и заставлявшим их дрожать от холода сквозняком. Так как после ванны, во время потения, доктор предписывал строго-настрого закрывать даже форточки, не только окна, я обратился к сестре со следующей просьбой:

— Сестра, будьте добры, закройте окна. Видите, я только что пришел из горячей ванны. Я весь в поту и могу простудиться.

— Я проветриваю палату и потому не закрою окна, — ответила она.

— Но ведь я могу простудиться! Доктор предписал же закры-

вать даже форточки, когда больной приходит в палату после горячей ванны.

— Пожалуйста, не вмешивайтесь в мои дела, — закричала сестра, — я знаю, что делаю. Яйца курицу не учат!

— Вот как! — ответил я. — Значит, не больница для больных у вас, а, наоборот, больные существуют для больницы. Это все равно, как не суббота для человека, а человек для субботы. Я закрою окно, ибо это преступление с вашей стороны делать так, как вы делаете.

— Вот как заговорили! Закрывайте окно, но только чтобы ноги вашей больше здесь не было. Сегодня же, когда отдохнете после ванны, убирайтесь отсюда!

В тот же вечер я ушел из этой больницы, куда приходила меня проведать очень красивая девушка Анна Самойловна Левещук со своим женихом тов. Львом Яковлевичем Карповым. Он, приехав в Киев на партийную работу, был членом Киевского комитета нашей партии.

С узелком подмышкой, опираясь на палку, я шел по киевским улицам. Весенний прохладный ветерок ласкал лицо. Воздух был наполнен стуком пролеток по мостовой. Из-за ограды одного частного дома, мимо которого я проходил, на дворе которого был разведен целый сад, доносилась музыка. Решетка сада, как запретная черта, у которой я стоял, преувеличивала ценность тех благ и удовольствий, которые получали те, которые имели возможность гулять по этим дорожкам и аллеям, уходившим в глубь сада. Для всех стоявших перед решеткой, как и для меня, наверное, казалось, что возможность гулять за этими красивыми, массивными решетками, по этим дорожкам, усыпанным песком и гравием, сидеть под развесистыми деревьями на расставленных всюду по парку скамейках доставляет особенное счастье. Особенно заманчивыми казались звуки музыки, несшиеся из-за решетки, из глубины парка.

— Хорошо богатым, — произнес проходивший мимо крестьянин в лаптях, приехавший на заработки из Средней России.

— Сколько этих кацапов понаехало! — заметила при виде его проходившая женщина. — Куда ни повернешься, всюду кацап.

Я продолжал путь. Наконец я достиг Тарасовской улицы. Мне нужно было пройти мимо полицейского участка. Мое внимание привлекли страшные крики, которые неслись со двора, где находился участок.

— Ой-ой, не буду, не буду! — кто-то кричал и молил.

— Что это такое? — спросил я прохожего. — Кто это там кричит?

— А вы не знаете? — спросил он. — Оце кацапов бьют, кого же больше? Работают они на постройках, получают получку, перепьются вечером и валяются под забором, як свиньи. Оце кацапов, их, чертяк, лупят в полиции.

— Ой, и лупят же их! — продолжал он, слыша страшные крики, доносившиеся из-за стен полиции. — Чуете? Должно быть, здорово нашкодили... Будут теперь помнить, як горилку эту в казенке куплять, а затем нажраться, драться и под забором, як свинья, валяться.

Я продолжал путь на Тарасовскую улицу к И. К. Палашеку...

В то время, как я продолжал хворать, события развивались со стремительной быстротой. Особенно юг России был охвачен стихийным, массовым движением рабочих. Рабочее движение оказывало свое влияние и на крестьян. На подавление крестьянских волнений в Харьковской и Полтавской губерниях министр фон-Плеве получил благословение игумена Троице-сергиевской лавры.

Разросшееся стихийное революционное движение вылилось в начале 1903 года в великую южную стачку рабочих. Демонстрации, начавшиеся еще в 1902 году, в это время превращались, как это наблюдалось в Ростове, в грандиозное шествие по городу, в несколько десятков тысяч человек.

В то время, когда происходили все эти события, я вследствие болезни принужден был оставаться в стороне от движения. Встречая товарищей: Карпова, Невзорову, Крижижановского, я невольно ловил с их стороны брошенный на меня взгляд, полный сожаления ко мне, как к выброшенному тяжелой болезнью, пожалуй навсегда, из революционной борьбы. Я продолжал упорно лечиться.

Месяц спустя по возвращении из Крыма, куда я получил возможность поехать благодаря собранным тов. Пономаренко среди сочувствовавших революционному движению студентов ста рублям, после лечения в Сакской грязелечебнице, я вдруг во время одной прогулки вместе с тов. Пономаренко и с Палашеком почувствовал возможность для меня ходить уже без палки.

— Смотрите, — говорил тов. Палашек, — смотрите, Александр Сидорович выздоровел!

— Да, это верно. Идет себе, уже не опираясь на палку, как совершенно здоровый. Ну, если так пойдет дело на поправку, Александр Сидорович не удержится, чтобы не начать снова революционную деятельность.

— Когда вы почувствуете, что на самом деле поправились и настолько, чтобы начать революционную работу, — предупредил меня И. К. Палашек, — вы непременно известите меня: в таком случае вам придется уехать от меня. Будем соблюдать этот договор: покамест вы не занимаетесь революцией, живите у меня сколько хотите, но только при таких условиях.

Решив снова приняться за революционную работу, я уехал от И. К. Палашека, снял в конце Б. Васильковской улицы, на краю города, маленькую сырую пролетарскую комнатку. Через Карпова и Анну Самойловну Левещук я познакомился с тов. Львовым-Рога-

чевским. Этот последний, интеллигент-юрист, превосходный агитатор, выступал во время великой южной стачки, захватившей и Киев, перед киевскими рабочими-железнодорожниками. Когда они вышли на улицу, он произнес перед этим случайным тысячным собранием рабочих превосходную революционную речь. Вообще он производил впечатление хорошего товарища.

Ввиду того, что тов. Карпов меня рекомендовал как опытного революционера, работавшего раньше в Петербурге и бывшего даже в Сибири, меня „кооптировали" в Киевский комитет партии.

— Пожалуй, будет гораздо лучше, если, прежде чем войти в комитет, я поработаю в низах организации, познакомлюсь с передовыми рабочими и вообще с настроением широких масс рабочих, — говорил я.

— Да, вы правы, — согласился Рогачевский. — Скажите, говорят, вы знакомы лично с Владимиром Ильичом Ульяновым? Вы были даже с ним в ссылке? Правда ли, что он совершенно не терпит около себя никого из равных ему по уму и способностям товарищей? Правда ли, что он — такой человек, который из-за удержания личного влияния на организацию, на партию способен не остановиться даже перед расколом в партии? Что у вас в Сибири говорили о Юлии Осиповиче Цедербауме?

— Я в первый раз слышу мнение о Владимире Ильиче, как о человеке, преследующем лишь интересы личного честолюбия, — ответил я. — От товарищей, членов его кружка, я слышал лишь противоположные отзывы. Всегда все говорили в один голос, что В. И. интересы общего порядка, интересы революции, интересы рабочего класса всегда ставит как выше своих личных интересов, так и выше интересов других личностей. Теперь вы спрашиваете, может ли он терпеть около себя лиц, равных ему по уму и способностям? Как в кружках рабочих всегда выделялся один из них, создавший этот кружок, так, мне кажется, происходило и в кружке Владимира Ильича. Все члены его кружка, жившие в Сибири, отзывались о В. И. как о главаре этого кружка. Никто никогда не говорил, что и Юлий Осипович Цедербаум играл в нем такую же роль, как Владимир Ильич. А к чему вы все это спрашиваете? Разве что-нибудь произошло между ними?

— Да, приезжие из-за границы привезли как раз слухи самые тревожные... Главное их сообщение совершенно не вяжется с тем, что вы только что мне сообщили. Они во всем винят Владимира Ильича. Впрочем, эти слухи идут из не вполне достоверных источников. Может быть, все это и не подтвердится.

Расставшись с Львовым-Рогачевским, я больше не встречался с ним. Начавшаяся, очевидно, за ним усиленная слежка со стороны полиции заставила его, как и тов. Карпова, уехать из Киева. Он едва успел передать мне необходимые связи с рабочими. Его заменил приехавший из-за границы, вскоре ставший ярым мень-

шевиком, некто Бердичевский. Из его слов я понял, что он, как и приехавшая вскоре после него из Швейцарии девица-пропагандистка присланы были П. Б. Аксельродом, начавшим уже с того момента, как только наметился раскол, наводнять организации в России своими сторонниками. Тов. Бердичевский всегда был настроен до известной меры недоверчиво и даже враждебно к тов. Ленину и доброжелательно к П. Б. Аксельроду.

— Почему вы приехали именно в Киев? — спросил я Асю, как ее звали.

— Потому, товарищ Илья (моя кличка в Киеве), что в Швейцарии считают киевскую организацию самой образцовой, где можно поучиться работать.

— Странно, — ответил я. — Вероятно, судят по движению, которое имело место здесь в начале года и в особенности летом, в июле, когда всеобщая стачка охватила Киев, когда на Крещатике и в других местах города войска стреляли в толпу. Но теперь ведь не то... Вы знаете, что вся киевская организация состоит из полутора десятка уцелевших от арестов рабочих, что в массе рабочих царит подавленное, угнетенное настроение, что требуется новая огромная работа по собиранию сил и по поднятию настроения и воли к борьбе у широких масс рабочих.

На самом деле состояние киевской организации нашей партии в начале осени 1903 г. показывало, что революционное движение не всегда шло ровно. Его подъем сменялся неизменно упадком, следовавшим за разгромом: так, за всеобщей южной стачкой, поднявшей движение на очень высокий уровень, наступил упадок движения, своего рода серые будни.

Я начал работать в самый разгар последних. В то время как для меня и других товарищей, стоявших во главе организации, новый день на место долгой темной ночи, покрывавшей целыми веками равнины России, уже разгорался ярким красным рассветом, и надежда на великое будущее дело социализма вставала во весь свой рост, широкие рабочие массы, сумевшие впервые подняться до всеобщей стачки и проявившие колоссальное мужество, стойкость и героизм, терроризованные расстрелами, которыми сопровождалось во многих местах движение рабочих, арестами, новым нажимом фабрично-заводской администрации, переживали сильный упадок духа.

Все передовые рабочие, члены нашей организации, представляли собой молодых парней в возрасте от 17 до 22 лет. Я, которому в это время было 32 года, казался среди них стариком. От них я узнал, какая колоссальная работа была вложена членами нашей партии и через них нашей партией в проведение южной стачки, возникавшей и проходившей, как стихийное движение рабочих. Вообще эта стачка как бы говорила, что каждая революционная ситуация предполагает возможность такого стихийного

движения и что задача партии быть наготове, чтобы вызвать это движение, использовать и превратить в сознательное и, во всяком случае, влить в него элемент сознательности.

Стачечное движение на юге России, хотя и носило стихийный характер, не возникало и не проходило так легко, как это могло казаться. Обыкновенно очень часто задолго до возникновения забастовки на том или ином заводе или фабрике, проделывалась большая подготовительная работа организацией нашей партии, совмещавшей в себе и партийную, и профсоюзную функции. Активная кучка передовых рабочих, ничтожная по числу по сравнению с общей массой рабочих на заводе, часто играла решающую роль при возникновении забастовки.

Стачки нигде не возбуждались искусственно. Они проводились лишь там, где была объективная возможность забастовать. Только там, где были такие условия, их проводило активное ядро нашей партии, внося сознательное отношение в стихийный процесс, „не только объясняя мир, но и изменяя его". Стачки перекатывались из города в город, с фабрики на фабрику.

Когда стачка уже начиналась в городе или когда, под влиянием слухов о стачках и под влиянием листков, призывавших к ним, начинал замечаться на заводе среди рабочих подъем боевого настроения, активное ядро наших рабочих очень часто, чтобы вызвать стачку, принуждено было выработать особый стратегический план воздействия на пассивное большинство рабочих.

Прежде всего один или двое смелых рабочих шли в машинное отделение. На них лежала задача во что бы то ни стало выманить машиниста подальше от кочегарки. На последнего воздействовали соответственно его личным склонностям. Если он являлся любителем женщин, ему говорили:

— Слышь, Иванов, я сейчас у ворот был, тебя там спрашивает какая-то девица. И красивая же баба! Откуда ты такую подцепил? Очень просила, чтоб ты сейчас же шел. „Скажите, говорит, чтоб непременно сейчас же пришел сюда к воротам машинист Иванов". Беги скорее! Чего ты зеваешь?

— Кто бы это мог быть? Маруська, что ль, с которой я вчера танцовал? Я пошел бы, да с машиной-то как быть? — говорил машинист.

— — С машиной. Да проще простого. Я, так и быть, постою: для хорошего дружка и сережка из ушка. Беги скорее, а то еще уйдет твоя краля.

Как только машинист удалялся на более или менее приличное расстояние, наши товарищи тотчас давали тревожный гудок и останавливали машины.

Как только трансмиссии переставали вертеться и начинал гудеть заводской свисток, товарищи, оставшиеся у станков, перебегая от станка к станку, кричали:

— Бросай, товарищи, работу, идем все на двор, идем все вместе, всей массой!

Как только толпа собиралась на дворе, еще в полной нерешительности, не зная, что будет дальше и что придется предпринять, в середине толпы, окруженный передовыми рабочими, членами нашей партии, находился заранее проведенный на заводской двор агитатор. Он, став на корточки, невидимый таким образом для полиции и жандармов, метавшихся по двору кругом толпы, громким голосом произносил короткую, но сильную речь, призывая бросить завод, забастовать. Рабочим очень нравилось, что жандармы и полиция, слышавшие крамольную речь, выходили из себя от злости, не видя говорившего и будучи бессильными его арестовать.

— Куда, куда прешь? — кричали они на жандармов и шпиков, пытавшихся протискаться в середину толпы.

Возбужденная речью оратора, толпа выходила из завода, забастовка начиналась и, перекидываясь с завода на завод, становилась всеобщей.

Но вот волна спала. Вернувшимся к станкам рабочим, которые не находили больше на фабрике активных товарищей из своей среды, поднимавших их на борьбу, казалось, что они снова у разбитого корыта. Этот период упадка, пессимизма, усталости мне пришлось наблюдать в Киеве, когда схлынула забастовочная волна и когда жандармы разгромили организацию.

Немудрено, что те немногие, которые спаслись от ареста, тоже отчасти поддавались пессимизму.

— Наш рабочий, — говорили они, — похож на украинского вола. Как последний, он очень тяжел на подъем.

Работать приходилось при самых невероятных условиях. Массовки, устраиваемые на Печерске, удавались очень редко. Обыкновенно, пройдя ряд наших патрулей, пропускавших с величайшей осторожностью от одного к другому, у последнего патруля я слышал роковые слова:

— Нельзя дальше: провал. Показались казаки. Надо спасаться.

Очень часто в том леске или овраге, который мы облюбовали, успевали прежде нас собраться так называемые „братья", т. е. штундисты-сектанты, за которыми, как и за нами, охотились казаки.

Жандармы и полиция продолжали свирепствовать. Была арестована типография в Конотопе у тов. Лысенко, где я одно время скрывался.

Хотя я, выходя из дома, проходил для проверки, нет ли слежки, по так называемой „Собачьей тропе", которая вела по малопроходимому оврагу, мимо свалки, слежка за мной, тем не менее, началась.

— Уезжать вам надо, — говорили многие товарищи. — Вы еще не оправились от болезни. Вам надо, елико возможно, избегать ареста, который последует неизбежно за раз начавшейся слежкой.

Вскоре после того, как провалилась организация портных, среди которых оказался провокатор, я решил, что на самом деле пора уезжать.

— Куда вы хотите ехать? — спросили меня на явке ЦК.

— На север, — ответил я. — Север отстал от юга. Надо расшевелить север России.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

ТВЕРЬ.

История умалчивает, где принужден был ночевать революционер, приезжавший поздно ночью на станцию Тверь, отделенную от города пустырем, тянувшимся не менее, чем на четыре версты, с раскинутыми на нем огородами. Ехать на извозчике немедленно в город было невозможно, так как в таком случае в гостинице или на постоялом дворе с него потребовали бы паспорт. провести ночь на вокзале тоже было нельзя, ибо, с одной стороны, вокзал в Твери запирался тотчас, как только уходил скорый поезд на север, с другой стороны, у оставшихся на перроне редких пассажиров жандармы требовали „вид на жительство".

Пройдя благополучно через пустырь, я натолкнулся на пустынных улицах на ночных сторожей с трещотками в руках, также требовавших у таких, как я, подозрительных, шатавшихся, подобно мне, на безлюдных улицах, „документы".

Между тем каждому товарищу, направлявшемуся на подпольную работу, необходимо было проникнуть в город совершенно незаметно от агентов охранки и затеряться там в толпе людей, как теряется камешек, брошенный в мешок с зерном. Особенно ему было необходимо избегать прописки своего паспорта, а также опасности попасть в полицию для выяснения личности.

Чтобы миновать и то и другое, я предпочел вернуться на пустырь и провести ночь на огороде, между гряд с капустой. Правда, я рисковал столкнуться, завязать неприятное знакомство со стрюцкими [1], грабившими ночью одиноких прохожих на этом пустыре. Но, вероятно, потому, что всю ночь накрапывал мелкий осенний дождик, они не могли себе представить, чтобы в такую погоду, когда „хороший хозяин собаку не выгонит на улицу", кто-нибудь вздумал ночевать между гряд огородов или гулять по пустырю. Поэтому все время до самого рассвета прошло спокойно, и я не слышал ни „молодецких посвистов", ни сиротливых криков о помощи.

Проведя затем остаток времени до 10 час. утра в трактирах, где я пил чай, отогревался и просушивал на самом себе промок-

[1] Босяк.

шую за ночь одежду, я направился наконец на партийную явку, в губернскую земскую больницу, к доктору, кажется, насколько я помню, Вислоуху.

Унылый внешний вид тверских улиц, площадей, домов, некрасиво одетых обывателей, религиозность которых доходила до того, что они набожно снимали шапки и крестились перед каждой иконой и церковью, — все это заставляло предполагать, что мысль здесь спит.

Обменявшись условными паролями с доктором Вислоухом, я был направлен последним к секретарю Тверского комитета РСДРП, к тов. Кудели Прасковье Францовне („Тетеньке"). Кроме нее, в Тверской комитет входили: старожил Твери Иван Кугушев (из захудалых князей), тов. Иван Егоров („Фома"), очень выдающийся рабочий. Тов. Наташа (К. Н. Громова-Самойлова) стояла очень близко к работе комитета.

В середине августа 1903 г. тверская организация только что пережила, вследствие предательства трех рабочих-провокаторов: Жукова, Чуркина и Москвина, страшный разгром со стороны охранки, арестовавшей почти всю организацию.

Тов. Фоме пришлось при невероятно трудных условиях собирать и налаживать организацию. Так как он, очевидно, справлялся со своей задачей прекрасно, меня направили в г. Вышний-Волочок, во второй после Твери промышленный центр Тверской губернии. На мою просьбу дать мне „очки", т. е. подложный паспорт, мне было отказано за неимением в Тверском комитете паспортных бланков.

„Тетенька", посылая меня в В.-Волочок, была убеждена, что там можно прожить у кого-либо из товарищей без прописки. Кроме того, по ее словам, там нужны были в это время работники вследствие происшедших там арестов.

Когда я прощался, она спрашивала, что мне известно о расколе, происшедшем на II съезде партии, — имела ли место там простая драка между перессорившимися генералами, или там кроется что-нибудь более серьезное. При этом она выразила уверенность, что, по ее мнению, тов. Ленин, наверно, был прав в этой истории.

Я ответил, что ничего, кроме глухих слухов, не знаю, но что я тоже глубоко убежден, что Владимир Ильич прав, и просил немедленно известить меня, как только получатся в Твери более определенные сведения из-за границы.

ВЫШНИЙ-ВОЛОЧОК.

Стояла уже осень, конец сентября 1903 г. Деревья были уже без зеленой одежды. Целые дни лил непрерывный мелкий дождь, когда я прибыл в В.-Волочок.

Город с каналами, шлюзами, садами и бульварами, с реками

Тверцой, Мстой и Цной и Тверецким каналом, выстроенным в 1703—1708 гг. Петром I, показался мне очень красивым.

В этом городе, выстроенном в крайне нездоровой местности, на бывшем болоте, и окруженном болотами, создались фабрики: Рябушинского — в селе Заворове (2100 раб.), Прохорова — две фабрики: „Тоболка" (3000 раб.) и „Волочок" (около 1000 раб.). Кроме того, здесь были стекольные, кожевенные, лесопильные заводы Болотина, Шмидта, Проскурякова и т. п.

Невыносимо тяжелое положение вышневолоцких рабочих вызывало у тех из них, которые еще не были знакомы с революционным учением нашей партии, но которые, в свою очередь, не в состоянии были мириться с произволом и самодурством отдельных представителей высшей и низшей фабрично-заводской администрации, своего рода сильные приливы отчаяния, выливавшиеся даже в порыве мести над глумившимися над рабочими теми или иными унтер-офицерами и офицерами капитала. Так, в 1898 г. рабочий Стружинский, выведенный из себя гнусными поступками одного ночного мастера по отношению к женщинам и детям, работавшим на фабрике, убил последнего.

Рабочие, одобрившие его поступок, помогли ему укрыться от полиции.

Как и всюду почти в России, социал-демократические идеи были занесены сюда из Петербурга. Здесь работали народные учителя: Мельницкий, Мельницкая и Дружинин. Все трое в 1897 г. были высланы в Вятскую губ. Опустившись в ссылке благодаря тяжелым условиям, тов. Дружинин около двух лет босячил, переходя летом с юга на север и зимой — с севера на юг.

Вернувшись в 1902 г. в В.-Волочок, бросив пить, он занялся с большим успехом революционной работой вместе с Мельницким в кружках вышневолоцких рабочих. Осенью 1902 г. Тверской комитет направил сюда же на работу тов. Ивана Никитича Смирнова (бывший наркомпочтель). Сначала он пытался поступить ткачом на фабрику Рябушинского. Так как это оказалось невозможным то, он, будучи интеллигентом, работал в качестве рабочего на кожевенном заводе Проскурякова. Создав кружок из рабочих фабрики Рябушинского в 10—12 чел., он в феврале 1903 г. по доносу бывшего мастера Сладкова был арестован и просидел в вышневолоцкой тюрьме до осени 1904 г.

Тов. Голубев Иван Михайлович, работавший в кружке тов. Дружинина, после забастовки, вспыхнувшей на текстильных фабриках в мае 1903 г. и длившейся 3 недели, был тоже арестован.

Тов. Дружинин поселил меня у себя. Отец его был местным извозчиком, ездившим ежедневно на вокзал за пассажирами. Он, кроме лошадей, владел еще довольно большим одноэтажным деревянным домом в несколько комнат.

Спали мы с Дружининым прямо на полу, подстелив под себя

тонкий войлок. Меня поражало в доме около печи большое количество неизбежных в России в то время тараканов-„прусаков". Последние заполняли не только все щели в стене у печки, где было потеплее и откуда они высматривали, шевеля усиками, но и всю стену около большой русской печи, образуя большое, не менее полутора аршина в длину и ширину, шевелящееся темно-желтое пятно.

Семья была мещанская. По воскресеньям мать пекла традиционнный пирог с капустой. Когда две ее дочери, довольно красивые и любившие пофрантить девицы, возвращались из церкви, она отрезала и мне большой кусок этого лакомства.

Дружинину удалось распропагандировать лишь своего брата, слесаря, работавшего в ж.-д. депо. Что касается сестер, то тут он не успел, и они явно сторонились как брата, так и его опасного, поселившегося в их доме товарища.

Если г. Тверь производил впечатление захолустного города, то тем более Вышний-Волочок, уездный город этой губернии. Сюда не только не докатились волны разбушевавшегося моря на II съезде партии, но еще не закончен был, как казалось, вполне период борьбы с экономизмом. Вышневолоцкая организация, как и тверская, официально называла себя „искровской". На деле здесь работа велась по брошюре Некрасова (левого либерала Рубакина) под заглавием: „Ничего с нами не поделаешь". Написанная талантливо, она нравилась рабочим благодаря увлекательности и легкости изложения. Она рисовала ярость и бессилие хозяина фабрики Живодерникова, жандармского полковника Змеевидова и жандармских унтеров Нососуева и Лампасова в борьбе с рабочими, успевающими, несмотря ни на что, под носом у жандармов распространять листки и вызывать забастовки на фабрике. Но эта брошюра ограничивалась лишь одной экономической борьбой рабочих и замалчивала политические задачи рабочего класса, как свержение самодержавия, ничего не говорила о передовой теории рабочего класса, о революционном марксизме, под знаменем которого должна вестись классовая борьба рабочих, умалчивала о конечной цели рабочего класса — о социалистическом строе. Забравшись куда-нибудь в глубь леса, тт. Дружинин и Мельницкие читали эту брошюрку в кружках рабочих с фонарем в руках.

Пришлось повести борьбу как против брошюрки Рубакина, так и против фонаря, дававшего возможность жандармам накрыть кружок или массовку в лесу.

Так как тов. Дружинин очень отстаивал эту брошюрку, расстаться с которой так вдруг он считал неудобным, мы пришли к соглашению о необходимости сохранить ее лишь для первоначальных кружков и перейти к работе по разъяснению рабочим в кружках теории прибавочной стоимости К. Маркса, материалистического понимания истории и самой революционной задачи ра-

бочего класса в то время — необходимости свержения самодержавия. Я также настоял, чтобы выдвигавшимся более успевавшим на революционном поприще рабочим дали наконец возможность читать „Что делать?“ тов. Ленина и номера „Искры“, попадавшие в руки лишь очень немногих рабочих.

Так как в это время, особенно на юге, выдвигалась на первый план пропаганда посредством лекций и произнесения речей, то мы перешли и в В.-Волочке к этому способу работы.

Работа в В.-Волочке протекала при очень трудных условиях. Не было денег на выпуск листовок, замечалось почти полное отсутствие квартир для собраний. Пришлось вести подготовительную работу по налаживанию организации преимущественно путем индивидуальной пропаганды. В этом маленьком городке чрезвычайно трудно было собираться незаметно от охранки. После трехнедельной забастовки в В.-Волочке в мае 1903 г., которой руководили рабочие социал-демократы: А. Медев, М. И. Голубев, Пакшин, Сладков, П. Смирнов, В. Антонов и С. Блинов, охранка не спускала глаз с Мельницкого и его сестры Ольги, с Дружинина и части оставшихся в Волочке не арестованных и не высланных рабочих социал-демократов. Каждая присланная из Твери и распространенная прокламация приписывалась им. Так как у некоторых из вышепоименованных товарищей или их родителей, как у Дружинина, были свои домики, им трудно было уйти из поля зрения полиции.

Горбатый, маленького роста ткач, у которого также имелся свой маленький деревянный домишка и которого уже не принимали нигде на работу, как социал-демократа, рассказывал мне, что как только до ушей исправника доходил слух о собраниях рабочих в его доме, он призывал его к себе и кричал:

— Ты что там, горбатый чорт, опять собрания устраиваешь, опять проповедуешь. Погоди, вот лопнет мое терпение, загоню тебя, горбатую сволочь, куда Макар телят не гонял. Будешь тогда помнить, как проповедывать!..

— Да никаких собраний у меня не было, господин исправник, и ничего я не проповедую. Просто у меня вечорка была с гармошкой. Барышни, значит, танцовали.

— Я тебе покажу вечорки! Знаем мы вечорки эти... Сами там Маркса, поди, этого читают. Да вашего ли это рыла Маркса читать? Ступай, да смотри, попадешь ты к Макару в гости.

Этот разговор доказывал, что исправник и охранка очень усердно охраняли интересы Рябушинских и Прохоровых.

Поэтому собрания устраивались редко и лишь с целью подготовки к дальнейшим выступлениям вышневолоцких рабочих. В Твери, где земская управа была либеральная, работа облегчалась вследствие известной помощи со стороны земских служащих квартирами для собраний комитета и деньгами на издание про-

кламаций и т. п. В В.-Волочке же, где уездная земская управа была консервативная, работа в этом отношении затруднялась.

Так как рабочие жили преимущественно по деревням, куда уезжали каждую субботу, все говорило за то, что необходимо перенести туда же центр тяжести работы.

При таких условиях я все более приходил к выводу, что нет необходимости революционеру-профессионалу, каким был я, селиться в таком маленьком городке, как В.-Волочок, и что, пожалуй, лучше переехать в Тверь и оттуда время от времени приезжать для ведения работы, которую местные товарищи начали переносить в деревню. Я написал свое мнение в Тверской комитет.

Два месяца прошло незаметно. Земля успела покрыться снегом. Чтобы не возбуждать недовольства родителей и сестер Дружинина, я уже давно переехал к одной вдове, старообрядке, державшейся довольно странного правила по отношению к полиции.

— Не люблю я в енту самую полицию ходить, не пойду прописывать тебя: хочешь у меня жить, живи без прописки, или сам иди, пропишись, — говорила она.

Товарищи знали про эту ее особенность. На мою беду про эту странность, повидимому, проведал и жандармский унтер-офицер в отставке, живший неподалеку. Так как в маленьком городишке каждый новый человек на примете, то он скоро меня заметил и, обратившись к соседке моей хозяйки, спросил:

— Что это за человек у Косоглазихи поселился? Наверно, опять без прописки живет?

Соседка, знакомая семье Мельницких, рассказала им обо всем этом. Товарищи, встревожившись за мою судьбу, предложили мне переехать на другую квартиру.

В В.-Волочке, кроме Мельницкого с сестрой, я встретил еще интеллигента Георгия Павловича Бутягина. Последний переживал колебания между марксизмом и эсеровщиной и предпочитал работать среди крестьян. Жандармы особенно злились на него, ибо он посвятил себя революционной деятельности, несмотря на то, что был сыном полицейского чиновника.

Здесь же в В.-Волочке, я случайно встретился с Григорием Тулуповым [1]. Узнав от Мельницких обо мне, он нарочно приехал из села Котлован в В.-Волочок, чтобы повидаться со мной. Он уже был без ноги, которая была вследствие костного туберкулеза ампутирована еще в Петропавловской крепости.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТВЕРЬ.

Получив письмо из Тверского комитета РСДРП, вызывавшее меня в Тверь, я отправился в этот город.

---

[1] Григорий Ефимович Тулупов умер в начале 1926 г. в Тверской губ.

Я вернулся в Тверь глубокой зимой, в конце ноября. Поля, леса были покрыты белым снежным покровом.

Меня тотчас ввели (кооптировали) в члены Тверского комитета РСДРП. Тов. Фома, скрывшийся от охранки, сдал мне всю работу „Тверского организационного рабочего комитета" и торопился уехать. Охранка напрягала все силы, чтобы арестовать его и привлечь по делу убийства провокатора, рабочего Волнухина.

Взяв на себя постановку партийной работы среди рабочих, я столкнулся с необходимостью найти себе комнатку. Бюджет революционера, жившего на средства партии, не позволял такой роскоши, как квартира. Даже хорошую комнату нельзя было себе позволить. Нужно было ограничиваться чердачной комнаткой — „вышкой".

До переезда на „вышку" я временно жил на квартире у семинаристов. У них хранилась комитетская печать, и к ним на квартиру сносили отпечатанные листки. Один из них был, кажется, третий, младший брат Митягина [1]. Другого, маленького роста, семинариста звали, если не ошибаюсь, Рождественский. Оба они находились под сильным влиянием т. Фомы. Однажды вечером я застал их за штемпелеванием вновь отпечатанных прокламаций. На каждую прокламацию они ставили печать Тверского комитета РСДРП.

Во время работы оба семинариста рассказывали много из своей жизни в семинарии и о том шпионстве, которое организовали за семинаристами сам отец ректор и инспектор семинарии. Мелочность обоих духовных отцов доходила, по их словам, до того, что они не стеснялись проверять семинаристов по вешалкам. Делали это они тогда, когда надо было проверить, пришли ли ученики семинарии к церковной службе. В таких случаях отец ректор, архимандрит, осматривал фуражки семинаристов.

— Да как же он может узнать по фуражкам? Ведь они же все одинаковые.

— В том-то и дело, что в каждой фуражке на внутренней стороне написана фамилия каждого. И по фуражкам действительно можно проверить, все ли ученики духовной семинарии пришли на уроки или в церковь.

Когда, наконец, мы окончили штемпелевание прокламаций, было уже поздно, и мы залегли спать.

Проснулся я рано утром от характерного звука, происходящего от удара печатью по чему-то мягкому. Ухо мое слышало этот звук вчера весь вечер. Удары печатью доносились из соседней комнаты, где спали хозяева квартиры — семинаристы.

— Неужели, — задавал я себе вопрос, — успели за ночь еще

---

[1] *А. Александров,* Очерки рабочего движения в Твери.

напечатать и принести для штемпелевания прокламаций? Не может быть, — говорил я себе. — В таком случае я знал бы про эти прокламации. Что же значат эти звуки?

Рассуждая так, я встал с кровати и, подойдя к двери, отделявшей мою комнату от комнаты семинаристов, вдруг отворил ее.

Глазам моим представилась следующая картина. Оба семинариста, еще в одном белье, сидя на кровати у стола, забавлялись тем, что ставили печать комитета то на своем белье, то на внутренней подкладке своих фуражек.

— Это что такое? — спросил я строго. — Вам комитет поручил хранить свою печать. Что же вы делаете? Достаточно прачке обратить внимание на печать на вашем белье и вашему „отцу ректору" проконтролировать ваши фуражки, как первая и второй прочтут: „Тверской комитет РСДРП". Что же произойдет тогда? Ведь сейчас же ректор духовной семинарии, ваш архимандрит, донесет на вас Уранову [1]. А ведь если у вас найдут печать комитета, то значит нетрудно будет и до самого комитета добраться.

Семинаристы казались очень смущенными.

— Мы шалили, — ответил наконец младший Митягин. — Мы не отдали себе отчета, что мы делаем. Но вы очень строги. Тов. Фома не был таким.

— Вряд ли товарищ Фома, несмотря на всю его доброту, мог вам позволить такое легкомысленное отношение к делу. Я принужден буду взять от вас с этого дня печать комитета и передать ее тому товарищу, который отнесется с большей серьезностью к делу.

Семинаристы остались смущенными и отчасти недовольными, а я решил во что бы то ни стало переехать на другую квартиру.

Квартира для революционера имеет колоссальное значение. Одно дело, если хозяйка окажется сочувствующей революционному движению, или если она, по крайней мере, станет смотреть сквозь пальцы на своего квартиранта и не пойдет сейчас же доносить на него жандармам. Другое дело, когда хозяйка квартиры, где революционер снимает комнату, оказывается на службе у охранки...

Так как свободных комнат в Твери вообще было мало, приходилось не особенно разбирать, кто хозяйка, и селиться почти в первой попавшейся комнате.

Вообще же, когда я в поисках комнаты заходил в тот или в другой дом, я заметил, что хозяйки отказывали мне, как лицу „без определенных занятий".

— Нет, уж, — говорили они, — не подходит. Не могу вас пустить к себе.

— Но почему?

---

[1] Жандармский полковник.

— Да потому, что не хочу возиться с полицией. Если бы вы были торговец или чиновник, — другое дело. Поселятся вот такие, как вы, без занятий, смотришь, обыск, арест, — одна лишь неприятность. После хлопот с полицией не оберешься.

Такие разговоры имели место в домах, где еще так недавно жили и подвергались аресту товарищи. Обыкновенно безденежье заставляло революционеров селиться в самых дешевых комнатах и даже не брезгать чердаками. Мне тоже пришлось последовать общему примеру. Я поселился в одной из вышек. Она показалась мне очень подходящей. Изолированность ее от хозяйки, отдельный вход, — все это делало ее как будто очень удобной для людей, скрывающих от непосвященных свои истинные занятия и выдающих себя за кого угодно, но только не за того, кем были в действительности. Плата за вышку оказалась тоже по карману.

Первое время все шло хорошо. Я ничего подозрительного не замечал.

Однажды, увидев записку на окне одного дома на этой же улице, где я жил, подошел к этому дому и спросил у одной женщины:

— Что здесь сдается вышка?

— Да, — ответила она, — сдается. Я как раз хозяйка, а вы где тут живете? Я приметила, что вы все ходите по нашей улице.

Я назвал ей дом, где я жил.

— А, это у свахи, — воскликнула она. — Нашли у кого поселиться!...

— А чем там худо? — переспросил я.

— Да там только воры да социалисты и живут. Нет, я вас не пущу; кто вас знает, может вы тоже что-нибудь подобное. Потом хлопот с этой полицией не оберешься. Нет, не пущу!

Ответ незнакомой мне женщины по поводу жильцов на вышках заставил меня насторожиться. Выходило таким образом, что своей привычкой селиться в чердачных комнатах мы, революционеры, выдавали себя охранникам и облегчали их работу. Но так как дешевых на наем хороших дорогой комнаты все равно ни у меня, ни у организации не было, пришлось мириться с этим злом.

Приехав в новый для меня город, как Тверь, чтобы ориентироваться в нем и чтобы как можно лучше поставить партийную работу, я первым делом знакомился с положением рабочих в этом городе.

Положение рабочих в Твери было не менее тяжелое, чем в В.-Волочке. О нем можно судить, например, по прокламации Тверского комитета РСДРП, бюллетень № 3, к рабочим фабрики Берга от 20 декабря 1902 г.

Рабочий день, — говорит эта прокламация, — равен 12 часам. Для жилья рабочий получает „каморку" длиной в 8 аршин и шириной в 5 аршин. В эту каморку набивают рабочих по 7 и 8 человек.

Воздух в ней спертый, зловонный, пол каменный, сырой. Живущие простуживаются, дети мрут. Мастера и „хожалые“ [1] бьют женщин и детей. Хожалый Василий бьет их даже плетью. Директор фабрики Кук, мастера: Бродлей, Кромтон, Дубровский, хожалый Григорий не дают проходу ни одной красивой женщине и девушке. Они смотрят на работниц фабрики как на свой гарем, и отношение их к ним самое возмутительное.

Приблизительно такое же положение рабочих замечалось и на других фабриках г. Твери: Морозова, Залогина и других. Низкая заработная плата, длинный рабочий день, издевательство над личностью рабочего, жестокое обращение с детьми, беззащитность женщин от посягательств на них со стороны представителей фабричной администрации,—все это говорило о страшном гнете, давившем рабочего и превращавшем его в раба капитала.

Насколько было ужасно положение рабочих в Твери, говорит поступок Логинова, ткача фабрики Берга. Выведенный из себя постоянными притеснениями, угрозами и штрафами директора фабрики Кука, этот ткач, взяв с собой на фабрику 3 марта 1903 г. револьвер, выстрелил из него в директора Кука, когда последний проходил между станков. Ранив последнего в плечо, он сам добровольно явился в полицейский участок и заявил о своем поступке. Даже царский суд оправдал Логинова.

Тверской комитет выпустил по этому поводу прокламацию, где указывал, что не разрозненными выступлениями против капитала можно заставить последний пойти на уступки рабочим, а массовой, организованной борьбой под руководством РСДРП.

Проводниками революционных настроений, социалистического сознания в среду тверских рабочих явились преимущественно пришлые, ссыльные интеллигенты и рабочие. Тверская губерния и сам город Тверь продолжали еще быть местами для ссылки. Невежество рабочих казалось таким ужасающим и покорность их такой очевидной, что ничтожная кучка ссыльных, видимо, не представляла для самодержавного правительства никакой опасности.

„В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России,
Там вековая тишина...“—

говорил Некрасов.

Немудрено, что и представители самодержавного правительства не питали больших сомнений, что город Тверь и вся Тверская губ. представляют собой именно ту глубокую Россию, погруженную в глубокий „сон“, о котором говорил Тургенев, и ту „вековую тишину“, на которую указывал Некрасов.

Под влиянием ссыльных, попавших сюда как из Петербурга,

[1] Представитель фабрично-заводской администрации в жилых фабричных домах.

так и из Москвы, революционная теория, рисовавшая широкие возможности революционной борьбы даже в отсталой России, нашла себе последователей не только среди местных интеллигентов и рабочих, но и в среде, которая не только казалась недоступной для революционной пропаганды, но из которой в странах Западной Европы и Америки правительства и господствующие классы воспитывают самых ярых противников рабочего класса и социализма. Этой средой оказались в Твери семинаристы духовной семинарии. Еще полковник Зубатов указывал правительству, что в Твери в 1889 г. существовал кружок семинаристов с Е. А. Рогозиной во главе. Этот кружок вел подпольную работу среди рабочих Морозовской фабрики. Как на более активных членов этого кружка, указывалось на братьев Митягиных. Кроме кружка семинаристов марксистского направления, существовали еще кружки гимназистов, реалистов и гимназисток.

Из выдающихся рабочих-ссыльных необходимо указать на т. Прошина, автора одной из речей на маевке в Питере в 1891 г., высланного в Тверь в 1896 г., на Бориса Зиновьева и Петра Карамышева [1] (последний, впрочем, представлял собой полуинтеллигента, работавшего на заводах), рабочего Фунтикова и других.

Когда я в 1903 г. приехал в Тверь, я застал там много ссыльных. Большинство из них не принимало участия в революционной работе. Охранка не спускала с них глаз, как это я испытал на себе в Батуме. Исключение составляла т. Кудели Прасковья Францовна. Хотя она была тоже ссыльная, она ухитрялась надувать охранку. Она возглавляла тверскую организацию с августа 1903 г. по осень 1904 г. и вела очень активную работу.

Я упомянул об охранке. Последняя работала действительно во-всю. Ее роль начиналась с вокзала ж. д., на который прибывал революционер в Тверь. Не ограничиваясь внешним наблюдением, охранка косила ряды революционеров посредством провокации. Так известно, что в кружок т. Прошина уже в 1898 г. вошли провокаторы-рабочие Иван Лазарев и Иван Толстиков [2].

В деле арестованного Бориса Зиновьева сыграл печальную роль вышеупомянутый Петр Карамышев. Он, как об этом говорят тт. Александров и Мартов в своих воспоминаниях, видимо, сделался агентом Зубатова [3].

Огромный провал тверской организации в августе 1903 г. был делом втершихся в доверие провокаторов-рабочих Москвина, Жукова и Чуркина, поставленных на эту гнусную работу жандармским полковником Урановым. Тов. Фома, на которого легла вся тяжесть работы по восстановлению разгромленной провокаторами

[1] Карамышев сделался агентом Зубатова. (*Александров*, Очерки рабочего движения в Твери, стр. 28. *Мартов*, Записки социал-демократа, стр. 318).

[2] *Александров*, Очерки рабочего движения в Твери, стр. 47.

[3] *Александров*, Очерки рабочего движения в Твери, стр. 28.

организации, через три месяца работы, в ноябре 1903 г., к ужа своему открыл в числе членов организации еще двух провокаторов рабочих Швецова и Волнухина. Насколько представлял собой злостного провокатора Швецов, несмотря на свой молодой возраст (17 лет), доказывают его слова о целях марксистов, как о „несбыточном бреде".

Тов. Фома (Иван Егоров), как все почти очень хорошие агитаторы, не обращал должного внимания на организационное укрепление партийных рядов. Считая главным делом постановку агитации и пропаганды, он не замечал также необходимости обратить большее внимание на укрепление конспиративных навыков. Кроме того, он был очень доверчив. Этим можно объяснить, что провокаторам удалось обмануть его. Так как обнаруженные провокаторы, очевидно, знали много больше, чем это допустимо, было решено их уничтожить, чтобы спасти организацию. К сожалению, Швецов, заподозривший неладное по отношению к себе, успел избежать казни и скрыться. Один Волнухин, предательская роль которого, повидимому, была не вполне доказана, был убит на пустынной тропинке между огородами.

Так как охранка в Твери после этого поставила все на ноги и произвела новые аресты, оставаться т. Фоме в Твери никак нельзя было. Он и т. Громова принуждены были скрываться и уехать. Тов. К. Н. Громова-Самойлова, „Наташа", повидимому, не имела никакого отношения к делу казни провокатора.

Я еще застал в Твери как т. Фому, так и т. Наташу. Однажды, когда я пришел к т. „Тетеньке", она тоже вошла в ее комнату и с большим любопытством, как мне показалось, взглянула на нового передового рабочего, представителя того класса, на служение которому она посвятила свою жизнь. У меня осталось в памяти ее лицо, простое, симпатичное лицо русской интеллигентной девушки.

Кроме обнаруженных в 1903 г. провокаторов-рабочих Москвина, Чуркина, Жукова, были еще провокаторы-интеллигенты, „работавшие" среди земских служащих: Н. Казаков, чиновник земской управы, и его сын Казаков 2-й и М. Н. Петрис, служащий губернской земской управы.

После отъезда т. Фомы я обратил внимание на ту сторону партийной работы, которую упускал т. Фома: на укрепление организации. Деление на районы в городе еще проведено не было. Наряду с Тверским комитетом, руководившим всей работой, существовал „Рабочий организационный комитет". Получался какой-то параллелизм. Член комитета т. Кугушев предлагал еще до моего приезда его упразднить. Фактически этот „Рабочий организационный комитет" представлял собой всего-навсего один фабрично-заводский район в Твери.

Вступив в члены Тверского комитета и взяв на себя роль ответственного организатора заводского района, я предложил Тверскому

комитету на место одного заводского района образовать несколько. Насколько я помню, были созданы следующие районы: Затьматский, Заволжский и Городской. Создание этих районов дало возможность проявлять себя активно на организационной и другой работе многим товарищам, передовым рабочим, до этого остававшимся пассивными. Вообще моей целью в данном случае являлось желание пробудить к активной деятельности всех членов организации рабочих [1]. На каждом рабочем лежала обязанность вести непрерывную индивидуальную пропаганду среди рабочих и крестьян. Техника печатания и распространения листков была тоже улучшена. Многие рабочие нашли применение своей энергии в этой отрасли работы, имевшей громадное значение. Я поощрял также каждого рабочего—члена района выступать на собраниях и приучал их по очереди вести собрания. Каждую субботу в Затверечьи (в помещении, повидимому, уездного земства), в присутствии интеллигента с длинной черной бородой, по фамилии, кажется, Забелина, у которого хранился ключ от квартиры, происходили собрания представителей вновь организованных районов. Здесь обсуждались все предложения Тверского комитета и затем проводились уже в жизнь через районы. Обращено было внимание на постановку агитации и пропаганды. Не знаю, правы ли мы были, поведя жестокую борьбу против традиционного фонаря, с которым тверские интеллигенты отправлялись на пропаганду в окрестные леса. Правы оказались лишь потому, что этот обычай был неконспиративный. Что касается чтения и бесед с книжкой в руках, против чего мы высказывались, настаивая на лекционном способе ведения пропаганды, тут, надо сознаться, мы были не вполне правы. Чтения и беседы по книжечке имели огромное значение и облегчали ведение пропаганды. Но нашей заслугой все-таки является, что мы заставили забросить брошюрку Рубакина (Некрасова), по которой некоторые интеллигенты и в Твери, как т. Дружинин в В.-Волочке, занимались с рабочими. Мною было обращено большое внимание на укрепление конспиративных навыков среди рабочих, что было безусловно необходимо в то время, когда охранка зорко за ними следила.

В Твери работать было легче, чем в В.-Волочке, потому уже, что здесь имелись, хоть и небольшие, денежные средства на издание листков. Здесь можно было найти квартиру для собрания у кого-либо из местных либералов. В Твери находилось больше, чем в В.-Волочке, интеллигенции, которая шла к рабочим в качестве пропагандистов. Но и здесь создались чрезвычайно трудные условия вследствие деятельности охранки, особенно после убийства провокатора Волнухина. Как и в В.-Волочке, в Твери требовалась очень большая подготовительная работа индивидуального характера.

[1] Один из самых активных рабочих, при мне в Твери самоотверженно и много поработавший, был тов. Катомкин. Фамилии других товарищей мною забыты. *А. Ш.*

Почти с каждым рабочим приходилось тратить много вечеров на беседы на тему, почему нам необходимо создать революционную рабочую партию, идущую во главе, как говорилось в „Искре", „всего народа". Такую же подготовительную работу вели все время передовые рабочие нашей партии. Она предшествовала собранию каждого кружка, каждой массовки. Кружки и массовки собирались или в лесу, далеко за Тверью, или в середине штабелей дров. Непосвященный не подозревал, если и проходил мимо, что на вершине этих штабелей, на дровах или на опушке леса лежат и стоят за деревьями наши часовые, готовые всегда дать сигнал о надвигающейся опасности со стороны казаков и полиции, и что в середине этих штабелей в пространстве, освобожденном от дров, как в большой комнате без крыши, происходит собрание тверских рабочих. Здесь рабочих знакомили с теорией революционного марксизма, разъясняли необходимость создания партии, ведущей во время революции рабочий класс во главе всего народа, и предостерегали рабочих от мелкобуржуазных уклонов от марксизма. Часто у этих холодных с виду, но стойких и упорных рабочих севера загорались глаза жаждой борьбы и мщения. У них сжимались кулаки, и они давали себе вместе с оратором клятву довести дело свержения самодержавия и борьбы с капитализмом до конца. Как только полиция показывалась, собравшиеся разбегались по узким коридорам, которые образовывали во все стороны одна около другой сложенные поленницы.

Кроме работы ответственного организатора всех районов города, мне пришлось вести работу пропагандиста и агитатора.

Результаты нашей работы не замедлили сказаться. Число кружков возросло, насколько мне не изменяет память, до двадцати в городе и в деревнях. Число членов организации равнялось уже не менее как 500 человек. Когда началась русско-японская война в конце января, Тверской комитет повел энергичную борьбу против последней. Выпускались и распространялись на фабриках листки, проводились кружки и массовки, велась работа по деревням, усилена была устная индивидуальная агитация. В результате этой работы и агитации начались волнения и забастовки среди рабочих в Твери в начале 1904 г. Так, 19 февраля начался „бунт" на Морозовской фабрике, стачка, во время которой были избиты пристав Заруцкий и другие полицейские. Через два дня, 21 февраля, началась забастовка и на механическом Верхне-волжском заводе за Волгой. Обе эти стачки нельзя считать удачными, но они говорили о накопившемся недовольстве среди рабочих.

Вскоре после моего возвращения в Тверь Тверскому комитету пришлось разрешить трудный вопрос, — к какому течению в партии, к большевикам или меньшевикам, он должен примкнуть.

Еще в августе 1903 г. Тверской комитет обратился в редакцию „Искры" с просьбой написать для тверской органи-

зации прокламацию для новобранцев и солдат. Ответа долго не приходило. Работы на съезде, начавшийся раскол в партии — не дали возможности редакции „Искры“ удовлетворить просьбу Тверского комитета. Когда же „Искра“ вместе с экспедицией после ухода т. Ленина из состава редакции попала в руки меньшевиков, последние, воспользовавшись адресами комитетов, прислали вместе с проектом прокламации, написанным Мартовым, и длиннейшее письмо последнего. С этого момента началась полоса писем Мартова, за которой последовало наводнение социал-демократических организаций в России меньшевиками — студентами и студентками из Швейцарии и других мест заграницы. Прокламация к солдатам и новобранцам нам понравилась. Написана она была, насколько я помню, хорошо. Письмо Мартова являлось первым сведением о съезде. Таким образом Тверской комитет первую весть о расколе в партии получил в меньшевистском освещении. Оторванные от В. И., мы не знали, что произошло на этом съезде. Слухи о расколе ходили самые неопределенные. Большая часть товарищей негодовала на то, что генералы, разодравшись между собой, внесли страшную дезорганизацию в партию.

Письмо Мартова составлено было с величайшим искусством. Первый пункт устава в редакции т. Ленина он высмеивал, говорил, что дело для марксиста не в уставе, не в букве последнего, а всегда в сути той работы, которую ведет организация. Борьбу за первый пункт устава в редакции т. Ленина он поэтому называл проявлением формализма и бюрократизма со стороны самого т. Ленина и его сторонников. Затем он обрушивался на т. Ленина за его попытку вытеснить „старейших и испытаннейших“ членов группы „Освобождение труда“, как Аксельрод и Засулич, из редакции центрального органа — „Искры“ и за попытку установить в партии свою диктатуру — „осадное положение“. Не мало слов было затрачено в этом письме по поводу якобы стремления т. Ленина управлять посредством своего „кулака“. Тов. Ленина обвинили, что он с этой целью объявил всех старых влиятельных искровцев „оппортунистами“, изгнал редакцию „Искры“ и в ЦК партии провел „незнакомых людей“, не бывших на II съезде и неизвестных его делегатам. Ленина обвинили в том, что он, поставив центром тяжести „не направление и содержание работы“, а „организационный вопрос“, — тем самым воспитывает не марксистов, но начитанных на „Что делать“ „хранителей комитетской печати“, „оторванных от рабочих масс“ „авантюристов“, „заговорщиков“, „якобинцев“, „демагогов“ и что, оберегая партию от так называемого „оппортунизма“ путем „осадного положения“, он тем самым обрекает партию на создание в последней „чудовищного формализма“ и „бюрократизма“.

Тов. „Тетенька“, получив это письмо, прочла его сначала лишь мне одному. Предстояло решить трудную задачу, за кем пойти —

Мартовым или за т. Лениным. Нельзя забывать, что меньшевики очень навредили большевикам этими письмами Мартова. Многие комитеты, особенно на юге, по получении их связали уже свою судьбу надолго с меньшевиками.

Главная заслуга, что Тверской комитет сразу же стал на сторону большевиков, принадлежит безусловно т. П. Ф. Кудели.

— Я думаю, что мы должны отнестись с большой долей недоверия к тому, что говорит про т. Ленина т. Мартов, — говорила она мне. — Затем я уверена, что во всей этой истории прав именно т. Ленин.

— Я тоже храню в себе глубокое убеждение, что правда в этой истории не на стороне т. Мартова, — ответил я.

— Я предлагаю, — говорила „Тетенька", — провести решение в Тверском комитете и в районных собраниях, что мы становимся на сторону большинства партии до получения более подробного материала с обеих сторон о происшедшем на съезде. Я постараюсь убедить в этом членов комитета, а вы должны провести это решение на собрании представителей районов и вообще среди рабочих.

Такое решение удалось провести, но не без борьбы. Многих смутил факт перехода т. Плеханова на сторону меньшевиков, о котором мы узнали из письма от Н. К. Крупской и из дальнейших писем Мартова.

Хотя, таким образом, Тверской комитет и примкнул к большевикам, но твердой уверенности, что последние были правы во всем, еще не было у значительной части товарищей, проявлявших склонность к примиренчеству. Только по мере того как начинали разбираться в оппортунистической позиции меньшевиков, все крепче и устойчивее становились товарищи на сторону большевиков.

В процессе страшной борьбы, возгоревшейся за влияние на рабочих между двумя течениями в партии, когда обе стороны подверглись беспощадной критике, наша партия яснее увидела те ошибки и те недостатки, какие у нас были. Если бы не было этого раскола, борьбы между меньшевиками и большевиками, когда каждая сторона напрягала все свои усилия, чтобы победить противника, наша партия рисковала бы так же разложиться, как это случилось с западно-европейскими социалистическими партиями. Если наша партия училась на международном опыте, она также училась на своих ошибках, которые были выявлены во время этой борьбы.

Так как мне было известно от т. Сильвина и других, что именно т. Ленин возглавлял свой кружок в Питере в 90-е годы, а не Мартов, что это он, т. Ленин, являлся инициатором упорной борьбы с „разбродом и шатанием" в виде экономизма и рабочедельчества, я относился очень критически к каждому слову Мартова. Особенно мне не понравилась его манера заволакивать почти каждый серьезный партийный вопрос каким-то туманом, делать его как бы запутанным.

ПОЕЗДКА НА ПРОПАГАНДУ ПО ДЕРЕВНЯМ.

Красивы места в верховьях Волги. В этом я убеждался каждый раз, когда отправлялся в субботу после обеда на пропаганду в одну из деревень за Тверью. Стоял конец января. Мы ехали на дровнях с товарищем ткачем, за которым к часу дня каждую субботу к фабрике Морозова приезжал его отец. Извилистое течение Волги, по льду которой была проложена санями дорога, оба берега которой заросли хвойным лесом, открывало один вид красивее другого. Но быстро гаснет зимний день. Солнце не золотит, как это бывает летними вечерами, желто-красные стволы сосен. Выглянув на миг, оно давно уже опустилось за лес. Давно погасла и заря. Потухла красноватая полоса на западной части неба. Вечерние тени, все сгущаясь, поглотили и ее. Темная ночь, как лес, в который мы свернули, охватила нас. Звезды, искрясь, как огромные бриллианты, смотрят на нас сверху сквозь ветви сосен и елей. Тихо кругом. Слышно в морозном воздухе, как визжат полозья саней, как фыркает лошадь, как изредка падает сосновая шишка на дорогу или прыгает с ветки на ветку вспугнутая нами белка.

Тишина леса, стоявшего кругом, как огромное войско, ночная тьма, звездное небо, — все вызывало задумчивость. Молча ехал старик — отец товарища. „Как быстро прошла моя молодость, — вдруг вслух подумал он. — Еще недавно, кажись, бегал я здесь, по этому лесу, мальченкой. Теперь уже седина пробивается в бороде и волосах. Проходит жизнь!“ Задумчив ехал его сын. Молчал и я.

— Скоро будет деревня, — заметил товарищ ткач, нарушив мои мысли.

Действительно, за одним из поворотов дороги вдруг замелькали приветливо огоньки. Мы въезжали на небольшую поляну, на которой была выстроена эта деревушка. Дорога вела по широкой улице между двух рядов деревянных великорусских изб. Около одной из них при свете, падавшем на улицу из окна избы, виднелась толпа парней и девиц. Один наигрывал на гармонике „камаринскую“, другой напевал на этот мотив сочиненную одним из ткачей новую песню, называвшуюся: „Дуда“.

— Наши, морозовские, — сказал мне товарищ. — Мы, вишь, запоздали, а они успели вернуться.

Я вслушивался в слова песни:

„Собирайся-ка, ребята, поскорей,
Грянем песню мы рабочую дружней.
Полно нам под дудку царскую плясать,
Не пора ль нам на своей дуде играть?
Сколько времени на нашу на беду
Господа да кулаки дудят в дуду,
А начальство бьет по морде мужика.
„Ты пляши резвей, мерзавец, трепака!“.
Семенит он, до истомы семенит,
Из кармана грош последний, знай, летит...

Чиновье да кулаки берут гроши:
Очень де крестьянски деньги хороши.
Тут и поп, гляди, акафисты поет,
А руками те же денежки гребет.
Ах ты, подлый долгогривый сатана,
Ведь и так, поди, полна мошна.
До каких пор нам, братцы, все давать,
Нет, давайте на своей дуде играть.
Пусть теперь попляшет это воронье,
Растрясет маненько черево свое...“

Все это было так необычно, что заслушался не только я; слушали внимательно и товарищ ткач и его отец. Лошадь, обрадовавшись остановке, стала.

— Но, но, но! — закричал, наконец, старик и дернул вожжами. Он торопился домой. Мы порядочно запоздали и продрогли дорогой. Мороз к вечеру крепчал.

— Стой, не торопись, — произнес вдруг один из парней. — Послушай еще. — И, остановив лошадь, он совершенно неожиданно продекламировал стихотворение Некрасова:

„Выдь на Волгу. Чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется,
То бурлаки идут бичевой.
Волга, Волга, весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля!“.

При свете лампы, падавшем из окна избы, около которой они стояли, видно было, как на лице и в глазах парня, декламировавшего стихотворение, горело воодушевление. Он с чувством произнес эти прекрасные слова Некрасова. Те же прекрасные чувства воодушевления и любви к угнетенному народу отражались и на лице девушки, стоявшей рядом с ним и опиравшейся на его плечо.

Эти же чувства передались и мне. На мои глаза навернулись слезы. Еще ненавистней стали казаться гнет и тирания, против которых мы боролись.

Как только парень окончил декламировать, толпа расступилась. „Но, но!“ снова закричал на лошадь отец товарища и снова задергал вожжами. Лес снова охватил нас. Он стоял стеной по обе стороны дороги. Все произошло так неожиданно, что казалось похожим на какой-то сон наяву. Я не сразу пришел в себя.

— Что это такое, как все это объяснить? — спросил я товарища ткача.

— Как вам сказать, — ответил он. — Вы лучше поймете меня, если я скажу, что год всего назад эти самые парни, которых вы теперь видели совершенно трезвыми, по воскресным дням и вечерам напивались пьяными, озорничали, сквернословили и горланили частушки, вроде вот таких, послушайте:

Шел я речкой, камышом,
Милка в речке нагишом...
Шел я с милкою в лесу,
Милку дернул за косу...
С милкой я иду по полю,
Я целую милку вволю.
Встречу милку на крылечке
Подарю я ей колечко.
Заведу милку в колосья,
Милку дерну за волосья.
Я свою хорошую
Жигану калошею...

— Теперь же, — продолжал он, — они не пьют, не матюгаются или реже это делают и увлекаются даже стихотворениями Некрасова. Переменились ребята. Не узнать. Чтобы ответить яснее на ваш вопрос, скажу, что эта перемена замечается у них с той поры, как появились социал-демократы. Теперь чем они живут? Тем, чем вы только что видели. Этот высокий парень знает меня, но немного. Мы встречаемся на фабрике. Но вас-то он ни в коем случае не знает. Между тем он решил выложить перед нами свою душу.

Он замолчал. Мы продолжали ехать лесом. Ветки елей цеплялись за нас, когда мы проезжали слишком близко от деревьев. Снег, падая с деревьев, осыпал нас. Отец ткача дергал вожжами и кричал: „но!". Я думал о том, что наша партия может считать себя единственной культурной силой, влияющей в России на все стороны жизни рабочего класса. Влияние нашей партии, не ограничиваясь рабочими, начинает отражаться и на крестьянах.

— Очень хорошо сделал Тверской комитет, что перенес опять, как и раньше, работу по деревням. Здесь, как вы убедились, у нас завоевана пока что свобода слова. Полиции нет. Можно делать то, что совершенно невозможно в Твери, тем более, что большинство рабочих уезжает на воскресенье в деревню, — говорил товарищ ткач.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОТИВ ВОЙНЫ.

Настал 1904-й год. В конце января началась русско-японская война. Несмотря на неудачи и на море и на суше, которыми сопровождалось начало этой войны, правительство и шедшая за ним обывательская публика отнеслись к японцам с нескрываемым презрением. Потопление русских военных кораблей объясняли не плохим состоянием царского флота, а необыкновенным коварством „япошек", которые за это скоро будут наказаны. Первые неудачи на суше сразу же стали объяснять тактикой заманивания со стороны царских генералов.

Наша партия выступила против этой войны. Тверской комитет партии вел лихорадочную работу. Воспользовавшись вол-

нениями среди рабочих на фабрике Морозова 19 февраля и на Верхне-волжском вагоностроительном заводе 21 февраля, Тверской комитет решил призвать рабочих к демонстрации против войны и против правительства.

Горючего материала было уже достаточно. „Бунт" на Морозовской фабрике произошел 19 февраля из-за вареного картофеля, за едой которого помощник директора ситцевой фабрики поймал двух рабочих набивного отделения. Этот помощник директора, рассвирепев, выбросил картофель из котелка на пол и растоптал его ногами. Так как проработать без еды в течение 6 часов невозможно, то рабочие возмутились. Хотя сознательные рабочие делали, как всегда в таких случаях, все, чтобы удержать рабочих от разгрома фабрики и от всего, что даст возможность применить репрессии, рабочие не могли удержаться от попыток бросать палки и камни в полицию. При этом был избит пристав Заруцкий, начавший кричать на рабочих. Подростки выбили стекла в механическом отделении и во всех нижних этажах фабрики. Вечером, в 8 ч., все 15 000 рабочих фабрики Морозова бросили работу. Через полчаса прибыла кавалерия, но рабочие уже разошлись. Фабрика, обыкновенно работавшая круглые сутки, стояла.

Когда районы высказались за демонстрацию, мы обсуждали, как провести ее на обычном собрании представителей от районов в Затверечьи у т. Забелина в субботу вечером 21 февраля.

Дело представлялось новым, необычным. В комитете не было полного единства по этому вопросу. Старый тверичанин т. Кугушев был против демонстрации. За демонстрацию высказались „Тетенька" и я. На собрании представителей от районов также стали высказываться сомнения. Город захолустный, демонстраций еще никогда не устраивалось. Будут мешать военное время, патриотический угар, который замечался особенно среди обывательской, мещанской публики. Правда, настроение в связи с забастовками повышенное, но, к сожалению, как случалось каждую субботу, большинство революционно настроенных рабочих уехало на воскресенье в деревню. Правда, районы приняли меры, чтобы удержать товарищей от соблазнительной поездки к себе в деревню, но все-таки можно было рассчитывать лишь на 150 и самое большее — 200 человек.

— Как заставить примкнуть к демонстрантам массу мещан и приехавших на базар крестьян? — ставили вопрос товарищи.

Являясь сторонником смелых, решительных действий, я выступил в защиту демонстрации. Я указывал, как на пример, на юг, где эти демонстрации проводились часто самой ничтожной кучкой смельчаков-рабочих, которым удавалось привлекать к себе большую толпу. Это не важно, что они собирали мало участников, что через пять минут уже налетала на них полиция, казаки. Демонстрация производила свое, будящее рабочих, действие. Я указал на удачный пример ростовской демонстрации в 1902 г., когда то-

варищи использовали скопища народа на Темернике под Ростовом, где собирались рабочие на кулачные бои.

„Если в Ростове, на юге нашим товарищам удавалось увлечь в противоправительственную демонстрацию даже таких отсталых рабочих, которые увлекаются кулачным боем и приходят для того, чтобы принять участие в ломании друг другу ребер и в нанесении ударов „под микитку", то почему подобная демонстрация не удастся здесь, на севере? — говорил я. — Нам надо использовать настроение рабочих в связи с забастовкой на фабрике Морозова. Забастовка вышла стихийной. Началась она не по инициативе комитета. Нет надежды, что она продержится долго. Ткачи говорят, что время в конце февраля для забастовки самое неудобное: „нет хлеба для себя и кормов для скота". Все они связаны с землей. Поэтому все говорит, что они в понедельник же, послезавтра выйдут на работу. Это настроение, эту вспышку очень хорошо можно использовать для демонстрации, тем более, что как раз сегодня, в субботу (21 февраля), забастовал столярный цех Верхне-волжского завода. Можно надеяться, что в понедельник весь завод станет, примкнет к забастовке.

— Я придумал, как увлечь массу в демонстрацию, — вдруг заявил т. Никодим (Шестаков) на собрании представителей от районов за Тверцой. — Здесь говорят, что нам придется считаться с патриотическим настроением мещанской базарной толпы. Согласен. Но поскольку эта толпа толкует о войне, постольку же она уверена, что в город привезли японских пленных. Так вот я предлагаю использовать эту сторону. Как только основное ядро демонстрантов соберется, как только будет выброшен красный флаг, пусть раздастся одновременно крик: „Японцы! Японцы! Японцев везут!". Поверьте, что толпа бросится вслед за нами, и демонстрация удастся.

Предложение использовать японцев, скорее слух о прибытии их в Тверь, было принято, и т. Никодим был назначен организатором демонстрации.

В эту ночь, с 21-го на 22-е февраля, я спал плохо. Демонстрация была назначена на 10 час. Мне не сиделось дома, и в 9 час. я вышел на улицу. Мне было приятно подставлять лицо свежему ветру, вдыхать морозный воздух. На одной из улиц я увидел, как десятка два солдат выстроились перед вынесенным полковым знаменем. У меня остались в памяти резкие слова команды, вытянутые в струнку фигуры солдат с глазами, обращенными в сторону начальства. Но более всего меня поразил вид одного простолюдина, который, вероятно, в порыве религиозно-патриотического восторга, стал на колени на снег и крестился на знамя, как на икону.

„Вот какую толпу придется нам втягивать в демонстрацию" — думал я. Но ничего не поделаешь. Наша попытка провести демонстрацию в этом патриархальном и отсталом городе будет

подобна попытке смелого меньшинства, часто ничтожного в числе, наших товарищей на юге, пробудить от спячки к политической жизни и борьбе широкие рабочие массы, чаще всего равнодушные к своей судьбе. Если каждая неудавшаяся стачка рабочих, по словам Каутского [1], есть победа рабочих, то и каждая неудачная демонстрация может быть такой же победой. Она даст исход накопившимся молодым силам, кипучей энергии молодых рабочих. Она опасна, необычна, но она заставит говорить о себе, пробудит у многих спящую мысль, заставит задуматься о своей судьбе, будет звать к борьбе. В монотонную, серую жизнь рядовых членов партии, этих постоянных вербовщиков социализма, как людей, инстинктивно ищущих опасности, она внесет оживление.

Я ходил взад и вперед по Миллионной ул., где мне одному из всех членов комитета разрешено было комитетом наблюдать со стороны, как пройдет демонстрация. Было уже 10 час. Но по-прежнему ничего необычного не замечалось на улицах. Даже, как мне показалось, было мало прохожих.

„Вероятно, что-нибудь задержало товарищей", — пришла мне в голову мысль. Как печально складывается жизнь. Революционер-марксист должен много читать, постоянно учиться. Это так трудно, когда завален текущей партийной работой и в особенности когда ежеминутно приходится ждать обыска, ареста. У меня было много свободного времени, когда я был болен. Но тогда, я, казалось, дошел до последней черты, перейдя которую бросаются в воду или пускают себе пулю в лоб. Тогда было не до чтения.

„Но что же это такое? — сказал я себе, посмотрев на часы. — Одиннадцать часов, и незаметно никаких признаков демонстрации". Взглянув на прохожих, одетых большей частью в длинополые армяки и полушубки, я не прочел на их лицах ничего, кроме обычного равнодушия и покорности своей судьбе.

„Наверное, какая-нибудь неудача, — решил я. — Надо пойти на базарную площадь посмотреть, что произошло". Я направился туда, уверенный, что демонстрация по той или другой причине отложена.

Лишь только я очутился на базарной площади, как вдруг я увидел взвившееся вверх красное знамя и кучку товарищей, сгруппировавшихся около него. Тотчас я услышал звуки песни:

„Вставай, подымайся, рабочий народ!
Вставай на врага, брат голодный!"

Одновременно раздались крики: „Японцев везут! Японцев везут!". Толпа инстинктивно бросилась за красным знаменем к Миллионной улице. На базарной площади одновременно началась суматоха. Торговцы спешно запирали свои лавки, ларьки. Некоторые

[1] Каутский в 1904 г. был еще на стороне революционного марксизма.

крестьяне на лошадях, в розвальнях бросились вскачь из города. Мимо меня между тем пробегали наши организованные рабочие.

— Долой самодержавие! — кричал один из них. — Долой войну! Да здравствует социалистический строй!

Я невольно бросился за товарищами. Но вскоре, минут через пять, толпа шарахнулась назад к базарной площади. Как выяснилось потом, со стороны Миллионной ул. совершенно случайно показался отряд солдат.

На базарной площади, между тем, как куры во время грозы, продолжали метаться торговки. На земле валялись рассыпанные в суматохе подсолнухи, орехи, яблоки. Часть крестьян продолжала торопливо увязывать возы. Некоторые собирали разбросанные по снегу прокламации.

— Что это, бунт? — спрашивал один прохожий. — Чего они хотят?

— Помазанника, кричали они, долой! Но как можно без царя? Никогда этого не было, — отвечали другие.

АРЕСТ.

Видя, что демонстрация кончена, что товарищи разбегаются, красное знамя не развевается больше над головами, а на площади показались солдаты и полиция, я повернул было с Тьмакского моста в узкий переулок. Но тотчас я почувствовал, как на мое плечо опустилась чья-то рука, и я услышал возглас:

— Стойте! Вы арестованы!

Оглянувшись, я увидел некоего в штатском платье, крепко державшего меня за руку. К нему подбегали на помощь несколько городовых. Было около двенадцати часов, когда меня привезли на первом попавшемся извозчике в главное полицейское управление. Там уже стояла кучка в 14 чел. товарищей и попавшихся совершенно случайно. Трое шпиков разбирали подобранные на Толкучем рынке прокламации: „Для чего должен умирать русский солдат“, „К русскому пролетариату“, „Чего требуют рабочие Морозовской фабрики“, „К товарищам“. Раскладывая их на столе, они не только показывали вид перед вошедшим полицмейстером, что они не заглядывают в содержание прокламаций, но видно было, что сами с большим страхом прикасались к прокламациям, как к чему-то, что может их обжечь или заразить. На лицах некоторых из них изображался неподдельный ужас, как будто от одного прикосновения к этим „преступным“ изданиям социал-демократов-большевиков это „преступное содержание“ листков привьет к ним пристрастие к революции. Мне послышалось, что один из них, беря в руки прокламацию, в испуге бормотал молитву: „свят, свят господь-бог саваоф“, ибо в прокламациях заключалось „дерзостное порицание верховной власти и призыв к свержению самодержавия“.

— Скажи, — обратился один из присутствовавших околотков к одному из шпиков, указывая на меня, — вот этот человек держал красный флаг, разбрасывал преступные листки и кричал: „долой самодержавие!“?

— Так точно, ваше благородие, он самый нес красный флаг, кидал в народ энти листки и произносил предерзостные слова против его величества, помазанника божия, и кричал: „долой самодержавие!“.

— Это наглая ложь! — крикнул я. — Затем не забывайте, что показания шпиона недействительны.

— Там разберут, — заметил хладнокровно полицмейстер. — Теперь отправьте арестованных в арестное помещение.

Арестованы были: Николаева Мария Федоровна, Орлова Е. А., Кузьмина Е. Н., Голубев И. М., Тихонов Т. Т., Круглов В. П., Смирнов В. П., Головин В. П., Соколов П. И., Кустов А. И., Дамаскин, Беневоленский К. А., Мальков Н. П., Рубцов И. Н., Бусаров Г. В., Павлов А. П., Минаев А. А., Григорьев М. Г. и др.

Находясь в арестном помещении при полиции, я, при помощи пропагандистки Николаевой, когда старший городовой, охранявший нас, уходил из помещения полиции в город и оставлял нас на попечение своей дочери, лелеял мечту о побеге.

Тов. Николаева, проходя мимо моей камеры, направляясь в уборную, отворяла задвижку, на которую была заперта моя камера. Но каждый раз дочь городового тотчас задвигала снова задвижку.

— Что, бежать хочешь? — говорил мне вернувшийся городовой. — Напрасно. У меня дочь вашего брата лучше меня стережет. А я вот пожаловался на вас господину полицместеру. Переведите, говорю, ваше высокоблагородие, энтих релиционеров в тюрьму. Вот уже вспомните, как плохо было вам здесь сидеть.

ТВЕРСКАЯ ТЮРЬМА.

В Тверской тюрьме кормили только черным хлебом и серыми щами. Кашу в очень ограниченном количестве давали лишь по праздникам. Письменные принадлежности не разрешали держать. Письма заключенные писали раз в неделю в тюремной конторе. Тетрадь, карандаш для научных занятий разрешали иметь с большим трудом. Каждый вечер надзиратель все это отбирал на поверке. Два раза в сутки надзиратель обходил камеры и простукивал деревянным молотком решетки тюрьмы, подозревая, что они подпилены арестантами. Все в этой тюрьме говорило о жестокости. Но воплощенным олицетворением ее являлся сам начальник тюрьмы Зверев. В его лице, в глазах, в манере говорить отражались эта грубость и беспощадность.

Утром и вечером надзиратель, отворяя дверь, кричал:

— Смирно! На поверку!

Когда камеры тюрьмы обходил сам начальник тюрьмы Зверев, надзиратели к „смирно!“ прибавляли: „господин начальник тюрьмы идет!“.

Сам Зверев напоминал как бы воскресшего из мертвых Малюту Скуратова. К каторжному режиму он ввел еще грубое обращение с арестантом.

В пятницу надзиратель обыкновенно, отворив дверь моей камеры, заявлял:

— Пожалуйте в контору письма писать.

Так как трудно было отказаться от потребности и необходимости вести переписку, то после некоторых колебаний я все-таки шел в контору. Мне указывали стол, за которым обыкновенно арестанты писали письма.

Стол этот находился в глубине конторы. На нем уже лежали лист почтовой бумаги, конверт, ручка и стояла чернильница. Лишь только я брался за перо, отворялась дверь тюремной конторы, и грузная фигура Зверева показывалась на пороге.

Усевшись за стол, поговорив с подчиненными, он отдавал приказ:

— Позвать сюда Шкаликова!

Минуты через две на пороге появлялся арестант с трясущимися руками, сине-багровым носом, мутными глазами и испитым, поблекшим лицом, словом, по всем признакам, самый пропойный пьяница и босяк, потерявший после долгого пьянства образ и достоинство человека.

— А, господин Шкаликов! — восклицал обыкновенно очень любезно Зверев. — Садитесь, пожалуйста! Вы желали написать письмо? Пожалуйста! Сию минуту вам принесут бумаги, чернил и все, что нужно. Садитесь! Садитесь!

Обернувшись затем ко мне, Зверев с насмешливым видом говорил:

— Слышал ты, Шаповалов? Вот господин Шкаликов — дворянин, и я, поступая по закону, говорю ему „вы“. Ты Шаповалов, не что иное, как только крестьянин (мужик, значит, иначе говоря). Опять-таки по закону я говорю тебе не „вы“, — на это я не имею права, — а говорю тебе „ты“. Понял ты это? Или тебе еще раз все это объснить? Исполняя закон государев, я исполняю закон господа бога. Нарушить закон государев значит нарушить закон божий. Вот почему я, верный слуга государя и раб господень, говорю дворянину господину Шкаликову „вы“ и тебе, как крестьянину, „ты“. Я исполняю закон!

Обыкновенно разговор такого рода кончался тем, что меня отправляли на трое суток в темный карцер. Избегал я карцера только в том случае, если я молча, не подавая реплик, выслушивал провокационную, полную оскорблений по моему адресу речь Зве-

рева. Чтобы избежать оскорблений и неизбежного за ними карцера, пришлось в конце концов отказаться от писания писем.

Зверев, любивший почет, был очень набожен. Он любил ходить в тюремную церковь, простаивать службы, слушать церковное пение.

Однажды, когда я был вызван на допрос, привезли беглого каторжника Морозова.

— Поймали-таки, — радостно говорил допрашивавший меня жандармский полковник Берг.

— Что же с ним будут делать? — спросил я.

— Д-р-р-рать! — произнес полковник с видимым удовольствием. — Да, — продолжал он, — д-р-р-р-ать! Этот народ не то, что вы, политические. Д-р-р-р-ать!..

Всем в тюрьме было известно, что после убийства с грабежом Морозов успел где-то в Тверской губ. зарыть в землю большую сумму денег, которую никто не мог отыскать.

Зверев поручил старшему надзирателю, высокому худощавому человеку, узнать во что бы то ни стало, куда Морозов спрятал деньги.

Старший, заковав каторжника в ножные и ручные кандалы, завернув ему предварительно руки за спину, спрашивал:

— Говори, куда спрятал деньги?

Так как Морозов отвечал отрицательно, он начинал его сечь плетью по оголенной спине.

Несмотря на ежедневные истязания, каторжанин так и не сказал, куда он дел деньги, в конце концов его оставили в покое. Прошло два-три месяца. Каторжанин, казалось забыл про истязания, и когда старший приходил к нему в камеру, он даже шутил с ним. Однажды он попросил старшего купить ему кускового сахару. Завязав сахар в конец платка и сделав из него таким образом род кистеня, он стал терпеливо ждать благоприятного случая. Таковой скоро представился. В первый же вечер, когда старший пришел на поверку, Морозов неожиданно, размахнувшись своим кистенем, с силой ударил им прямо по голове старшего. Удар был так силен, что старший, не пикнув, свалился мертвый, как сноп. В ужасе едва успел выскочить из его камеры помощник Виноградов. Второй удар Морозов целил в него.

Я сидел в одной камере вместе с тов. Голубевым. В мае он захворал, и мы потребовали врача.

— Сегодня понедельник, — объяснил нам надзиратель, — врач бывает в тюрьме только по пятницам. Придется вам подождать.

— Как! — вскричал я, — но за это время можно сто раз умереть! Скажите начальнику, что мы требуем, чтобы сегодня же прислали врача.

— Не стоит скандал устраивать: не любит этого ево благородие господин начальник. Все равно ничево не будет. Были уже у

нас случаи. „Отказать"! - говорит обнаковенно ево благородие.— Невелики бары... Не сдохнут. Подождут! А если и сдохнут, беда невелика". Вот поэтому не любит ево благородие питенрбургских. Все питерские, попав сюда, скандалют. И то нехорошо и другое нехорошо. Пишет обнаковенно ево благородие: „Прошу убрать от меня питенрбургских". Вот и вы тоже, вижу я, затеваете скандал. Наверно и вы питенрбургские.

Говоря так, надзиратель невольно, сам того не сознавая, давал доказательства превосходства Петербурга, как культурного центра и рассадника более высоких потребностей, над другими городами России.

Общие условия в тверской тюрьме и пища были настолько скверные, что с ними мирились лишь местные тверские арестанты. Так как питерские обыкновенно представляли собой людей с более высокими потребностями, то даже уголовные арестанты из них не могли мириться с ужасно тяжелым режимом тверской тюрьмы.

Так как мы, по выражению надзирателя тюрьмы, продолжали скандалить, т. е. требовать врача в не положенный для этого день, начальник тюрьмы в конце концов вызвал доктора.

— Что вам нужно?—закричал, ворвавшись к нам в камеру, тюремный врач.—Что за спешка такая? Не можете подождать до пятницы?

— Вот товарищ заболел. Будьте добры осмотреть его.

— Заболел, заболел! Да хоть бы вы все передохли здесь!— закричал врач.

В его глазах блеснула дикая ненависть к нам. Он представлял собой великорусса-старика с седой козлиной бородой. Он кричал, махал руками и брызгал слюной.

— Если бы вы все сдохли,— государь император, Россия, государство только выиграли бы!

— Простите, доктор, мы рассчитывали в вас, как во враче, встретить прежде всего человека,—сказал я ему.—Лично я теперь очень сожалею, что мы обратились к вам. Обращение, какое мы встречаем с вашей стороны, недостойно врача, недостойно человека. Мы будем жаловаться на вас.

— Жаловаться? Сколько угодно! Кому вы будете жаловаться? Никакого толку с ваших жалоб не будет. Правительству выгоднее, если вы передохнете в тюрьме. Лечить еще вас? Чорт бы вас побрал всех!

При этих словах он плюнул и ушел из нашей камеры.

Мы объявили с тов. Голубевым голодовку.

— Напрасно вы скандалите. Вот всегда так, когда сидят здесь питенрбургские. Надо бы иначе вам поступать. Начальник наш почет любит. Вы бы ему, когда он приходит, „здравия желаю, ваше благородие!" говорили. Он очень любит, если его политические так величают. Тогда он перестает „ты" говорить. Вот также хлеб у н

остается. Почему вы не хотите отдавать его свиньям начальника и в нужник выбрасываете?

— Не дождется он от нас, чтобы мы его „его благородием" величали и что бы наш хлеб для его свиней вам отдавали. Лучше мы его в клозет выбросим, — ответил тов. Голубев.

— Что, голодаете? Скандал затеяли? — говорил пришедший в нашу камеру Зверев. — Тебе ли голодать? — обратился он вдруг с провокационными словами к Голубеву. — Мужик, рабочий, тоже голодать!

Мы продолжали голодовку.

ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ ТЮРЬМА.

На следующий день меня перевели в вышневолоцкую тюрьму. Два жандарма везли меня сначала на извозчике, затем в вагоне 3-го класса, заняв для этого отдельное купе. Я опьянел от свежего весеннего воздуха, от вида распустившихся зеленых деревьев, от уличного шума, от толпы, свободно двигавшейся по улицам. Я смотрел сверху, с моста, когда мы его проезжали, на пароходы и баржи, плывшие по Волге. В то же время казалось странным видеть на улицах множество людей, свободно располагавших собой, которых не сопровождали, как меня, жандармы.

В купе вагона жандармский офицер, когда поезд тронулся, вдруг заговорил со мной. Я был поражен пессимизмом, которым были проникнуты его слова.

— Будет ли толк с того, чего вы добиваетесь? — говорил он. — Вы возбуждаете недовольство у рабочих, в народе. Но человек никогда не бывает доволен. Дайте рабочему сегодня заработать два рубля — он завтра захочет три. Дайте ему три рубля — он потребует пять. Также дайте крестьянину пять десятин земли — поверьте, ему будет опять-таки мало, и он будет требовать или выражать желание, чтобы ему дали восемь или десять десятин земли, и так до бесконечности. Следовательно, свалив самодержавие, сбросив капиталистов, вы на другой же день вашей победы столкнетесь с ненасытной человеческой жадностью, с общим недовольством, которое вы же сами раздуваете изо всех сил, которое вы не сможете удовлетворить и которое вас самих пожрет. Исходя из этого, можно сейчас же сделать более или менее безошибочный вывод, что ваше дело, за которое вы сидите в тюрьме, за которое вы страдаете, не имеет будущего. Оно построено на песке. На другой же день, как вы возьмете власть, вы погибнете, не имея сил и возможности сделать человечество счастливее, чем оно есть теперь...

— Вы уже сами не верите в долговечность теперешнего строя, — ответил я. — Вы даже допускаете, что социал-демократы могут в скором, в недалеком будущем победить и установить свой порядок. Вы только утешаете себя надеждой, что недовольство, которое

они возбуждают в угнетенных слоях народа, послужит причиною их собственной гибели. Вы жестоко ошибаетесь. Недовольство, святое недовольство в будущем послужит не причиной гибели человечества, а наоборот, оно явится якорем спасения человечества. Оно послужит стимулом к прогрессу, не даст человечеству застыть, заснуть, окаменеть. Оно будет заставлять его итти все вперед и вперед, к новым победам, к новым завоеваниям по пути „из царства необходимости в царство свободы".

В завязавшемся споре мы не заметили, как проехали расстояние между Тверью и Вышним-Волочком, который, как знает читатель, был мне уже знаком.

В Вышнем-Волочке, куда меня привезли жандармы, я очутился в местной тюрьме перед маленьким сморщенным человечком, начальником тюрьмы. Он был поляк и держался совсем другой тактики, чем грубый Зверев. Он казался мягким, вежливым, но очень хитрым; даже пища была в его тюрьме менее грубой. В Вышнем-Волочке был ужасный болотный климат, от которого население города вымирало. Рост города шел за счет пришлого элемента.

Только здесь на допросе у жандармского полковника Берга и товарища прокурора я выяснил, что меня выдал некий „потомственный почетный гражданин" Александр Константинович Чехов [1] из г. Обояни, Курской губ., где он служил в воинском присутствии. Он донес, что я ему послал по почте прокламацию „К солдатам и новобранцам". Эксперты, учителя средне-учебных заведений Твери, на основании доноса этого Чехова, лезли из кожи, чтобы доказать, что адрес на конверте, в котором Чехов получил прокламацию, написан был моей рукой. На основании этого жандармы предъявили мне обвинение в распространении прокламаций среди солдат во время военных действий, в участии в антивоенной демонстрации и в принадлежности к тверской организации нашей партии.

В вышневолоцкой тюрьме сидел в это время Иван Никитич Смирнов. Мы вели с ним очень оживленную переписку через уборную, где на внутренней стороне доски, на которую садились, мы приклеивали закатанные в мякиш хлеба записки. По словам И. Н. Смирнова, я писал ему таким образом целые трактаты по вопросам экономическим, политическим и философским. Особенно И. Н. Смирнов интересовался причинами, приведшими к расколу в партии, и обстоятельствами, заставившими Тверской комитет партии примкнуть к большевикам. Тов. И. Н. Смирнов попал в тюрьму в тот момент, когда ничего еще не было известно о происшедшем

[1] С Чеховым Александром Константиновичем из г. Обояни, Курской губ., я познакомился летом 1903 г. во время лечения в Саках, в Крыму. Я ему действительно послал по почте прокламацию „К солдатам", изд. Тверского комитета. По получении ее он тотчас донес жандармам, что, по его мнению, послать ему прокламацию мог только я.

расколе, и, таким образом, он почерпнул первые сведения по этому кардинальному тогда для нас вопросу от меня.

В вышневолоцкой тюрьме мы сидели только на тюремной пище и без свиданий. Единственной газетой, которую мы имели возможность читать, был „Сельский Вестник". В этой газете каждое поражение царских войск на Дальнем Востоке превращалось газетными писаками очень ловко в блестящую победу. Все статьи этой газеты, таким образом, представляли самое бессовестное вранье. Слухи о неудачах на Дальнем Востоке, тем не менее, просачивались в тюрьму.

Раза два в месяц я пробуждался ночью от невыносимого смрада, наполнявшего мою камеру и всю тюрьму. Это окрестные крестьяне приезжали чистить „золото".

Между тем прошло короткое северное лето. Я готовился итти в каторжные работы. Я чувствовал себя совершенно больным. Однажды в бане я вдруг на коленях обеих ног увидел большие черные пятна.

„Туберкулез, — решил я. — Настал мой конец. Это — костный туберкулез. Значит, мне ампутируют обе ноги, и я превращусь в полного калеку". Я потребовал тюремного врача.

— Это не туберкулез, к вашему счастью, — объяснил мне последний. — У вас тюремная болезнь — „скорбут", иначе цынга. Посмотрите, у вас кровянятся десны и шатаются все зубы. Вам я предпишу молоко и увеличение прогулки.

К сожалению, отсутствие у меня денег не позволило мне улучшить питание на свой счет.

Между тем военные неудачи, вызванный ими рост революционного массового рабочего движения и оппозиционных настроений заставили пойти на уступки правительство. После казни Сазоновым министра фон-Плеве началась эпоха так называемой „правительственной весны".

Еще недавно жандармский полковник Берг уверял меня, что мне грозит долгосрочная каторга. Отчасти под влиянием его угроз на этот счет я подарил моему двоюродному брату, бедному крестьянину Полтавской губернии, села Чернеча Слобода, клочок земли не больше одной десятины, оставшийся от отца. Расставшись таким образом с последней собственностью, от которой я, впрочем, не получал никаких доходов и которая только числилась за мной, я почувствовал себя пролетарием чистой воды. Я готовился к долгим годам каторжных работ. Настроение у меня было бодрое. О нем можно судить по письму, которое я послал в это время моей матери, где между прочим говорилось:

„Милая мама, я арестован на улице в Твери и сижу в тюрьме. А как хороша жизнь, милая мама, особенно весной. Где бы я ни жил, в Сибири, на берегу Черного моря, в Украине, на севере, — везде я оживал весною. Условия заключения здесь не

совсем благоприятны: библиотеки нет, письменных принадлежностей не дают, сидеть тоскливо. Впрочем, я как всегда, духом не падаю.

Ваш Саша".

НА СВОБОДЕ.

Совершенно неожиданно для меня полковник Берг вдруг заявил, что, если я внесу залог в двести рублей, я могу быть освобожден до суда. Так как я категорически заявил, что такой суммы денег у меня нет возможности достать, залог понизили до 50 рублей.

Я написал письмо моей матери. Прошло около месяца, когда, наконец, через революционный Красный Крест она получила письмо и прислала мне требуемые 50 руб.

— В какой город под надзор полиции желаете ехать? — спросил меня Берг.

— В Киев, — ответил я, вспомнив, что я серьезно болен, что на юге я скорее поправлюсь и что в Киеве живет И. К. Палашек [1], который приглашал меня к себе, если понадобится отдохнуть.

20 октября 1904 г. после восьмимесячного сидения двери тюрьмы открылись для меня.

В тюремной конторе меня ждал городовой, отнесшийся ко мне, как мне показалось, с большим уважением. Нараставшее революционное движение, видимо, оказывало свое действие даже на полицию.

— Вы свободны! — услышал я от вышневолоцкого полицмейстера. С меня взяли только подписку, что я, не останавливаясь нигде, проеду из Вышнего-Волочка прямо на Киев.

Моросил мелкий осенний дождик, когда я глубокою осенью вышел из полицейского управления. Над городом, его каналами, реками, шлюзами времен Петра I, над оголенными деревьями стлался густой туман. Но в моей душе расцветала весна, пели соловьи. Перед моим умственным взором поднимались массы. Я слышал топот их бесчисленных ног, шелест красных знамен, вздымавшихся над их головами. Я слышал их горячее дыхание. Я видел их взор, горевший воодушевлением и желанием победы. Надвигались грохот, шум славы и дым пожаров первой революции. Я уже видел ее, чувствовал, и с мыслью о ней я переходил от товарища к товарищу.

От товарищей, которых я встретил в В.-Волочке, я узнал, что, несмотря на аресты, партийная работа налаживалась, революционное настроение у рабочих повышалось, число членов организации росло. Но тов. Дружинина уже не было больше в В.-Волочке.

---

[1] *А. Шаповалов,* На пути к марксизму, ч. III.

— Лучше было бы, если бы ты пьянствовал и бродяжил, чем занимался этим позорным делом, этой революцией. Убирайся от меня из моего дома куда хочешь, — заявил ему отец.

Тов. Дружинин куда-то уехал. Судьба меня больше не сводила с ним. Только сев в поезд, когда под монотонный стук колес вагона и вздрагивание последнего на стыках рельс я думал о товарищах, оставшихся в Твери и продолжавших то дело, за которое я был арестован, я понял, насколько я изнурен тяжелыми условиями сидения в тюрьме. Я не мог читать от усталости, и под влиянием последней меня все время переезда непреодолимо клонило ко сну. И во сне мне снилась надвигавшаяся революция...

У многих может возникнуть вопрос, а как же обстояло дело в Твери с профсоюзами? Из описанных выше тяжелых условий подпольного существования, можно понять, что общие условия, когда широкая масса рабочих только еще пробуждалась, не давали еще возможности мечтать о такой „роскоши“, какой казалось для нас создание такой „открытой и широкой организации“, как профсоюзы.

Условия для создания профсоюзов возникли в Твери лишь позднее, в 1905 г., когда партия, хотя на короткое время, стала выходить на широкую арену.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

ДОРОГОЙ В ЕКАТЕРИНОСЛАВ.

Сильная изнуренность моего организма сказалась еще в Твери, где я почти тотчас по приезде попал на реферат тов. Землячки. Это был первый доклад о II съезде партии. Он представлял для меня и для всех большевиков огромную ценность, и я приготовился слушать его с величайшим вниманием.

Но против моей воли речь тов. Землячки превращалась в шум и жужжание машинных колес на фабрике. Я ловил себя на том, что засыпал самым бессовестным образом на ее реферате. Я щипал себя за руку, чтобы не заснуть, напрягал все свое внимание, чтобы слушать драгоценные сведения для большевика, собиравшегося бороться с меньшевиками, которые сообщались в докладе, но все было напрасно. Через несколько секунд мои веки тяжелели, смыкались сами собой, и я, сам того не замечая, погружался снова в сон.

Когда окончился доклад, мне было совестно признаться, что я почти ничего не понял из доклада тов. Землячки. Надеясь на то, что где-нибудь у товарищей выясню все, что мне надо знать о II съезде партии, я сказал, что все понял.

Затем я не решился признаться, что я болен, что мне необходимо было бы, после жизни в тяжелых тюремных условиях и голодовки и полученной вследствие этого болезни, отдохнуть, прежде чем снова начать работать.

Тов. Землячка, направившая тов. „Тетеньку“ на партийную работу в Тулу, отнеслась с неодобрением к моему желанию поехать в Киев. Она настаивала, чтобы я ехал в Екатеринослав.

— Что вы будете делать в таком интеллигентском городе, как Киев, тов. Кирилл? — говорила она. — Вам надо ехать в Екатеринослав, в пролетарский город, тем более, что там требуются партийные работники.

Я почувствовал, что мне при ее словах сделалось совестно проявленного желания отдохнуть и лечиться. Я согласился, что надо ехать туда, куда зовет меня революция.

— Но как же мне быть с проходным свидетельством? — спросил

я. – Оно у меня выдано вышневолоцкой полицией на г. Киев. Может, мне Тверской комитет выдаст „очки“? [1]

– Нет,– ответила мне „Тетенька“.– У Тверского комитета нет паспортных бланков, и вам придется завтра отправиться в тверское жандармское управление и попросить полковника Уранова просто переписать вам проходное вместо Киева на Екатеринослав. Он уже делал это кое-кому из наших уезжавших товарищей.

С чувством гадливости и ненависти к жандармам входил я на другой день в здание тверской охранки.

– А, это вы?– услышал я голос одного из жандармских унтер-офицеров.– Вам что здесь нужно? Как вы сюда попали?

– Мне нужно видеть полковника Уранова,– ответил я, с удивлением слушая жандарма и недоумевая, откуда он мог меня знать.

– Его высокоблагородие еще не изволили притти. Придется вам подождать. Но что вы так удивленно смотрите на меня? Я вас знаю более хорошо, чем вы себе представляете. Вы думаете, я для вас совершенно незнакомый человек? Между тем я за каждым вашим шагом одно время следил перед вашим арестом.

Вдруг он замолчал, вскочил и, вытянувшись перед входившим Урановым, ел последнего глазами.

К моему удивлению, Уранов, не возразив ни слова, отдал распоряжение, чтобы мне переписали проходное по моему желанию.

ЕКАТЕРИНОСЛАВ.

Хмурая осень смотрела в окно поезда, моросил мелкий дождь, когда, миновав север России с его лесами, реками, озерами, я ехал по некрасивой осенью, черной мокрой украинской степи, приближаясь к Екатеринославу. Мысли мои, как всегда в это время, были направлены в сторону революционной борьбы рабочих. Я вспоминал великую южную стачку, еще сравнительно так недавно перекидывавшуюся из города в город. Работая в Твери, мы призывали подражать южным рабочим.

„Будем бороться с царизмом и капитализмом, как наши южные братья и товарищи!“– говорили мы. Я вспоминал тверских рабочих...

Тверские рабочие дружно откликались на этот призыв.

Организация в Твери хотя медленно, но непрерывно росла. Молодые ткачи и прядильщики с светло-серыми глазами и волосами цвета песка на берегу Волги, мужчины и женщины, вступали в нашу партию и принимались за трудную работу вербовщиков социализма. Тяжела эта работа по собиранию сил, борьба с косностью, во власти которой живет масса. Серая, однообразная, монотонная, она в Твери не прошла даром. После арестов, разгромивших организацию летом 1903 г., снова окрепла организация.

---

[1] Фальшивый паспорт.

Между тем в то время, когда мои мысли переносились в Тверь, я видел, как над полями тучами летали вороны, галки и грачи, а по размокшей, покрытой черноземной грязью дороге медленно ехал крестьянин. Он совсем не был похож в этот момент на гордого царя природы, каким, надо полагать, будет человек нового строя. Накинув на голову мешок от зерна, чтобы защитить себя от дождя, он беспомощно дергал вожжами. Жалкая клячонка едва везла его телегу, к ободьям колес которой прилипала толстыми пластами черноземная грязь. Она налипала и к копытам лошади большими кусками. Лошадь, видимо, выбивалась из сил. От нее валил пар, а он безжалостно хлестал ее кнутом, дергал вожжами и, очевидно, чувствуя себя беспомощным, злобно кричал на нее: „Но, но, но!"

„Тяжелая картина, — говорил я себе. — Еще нет даже дорог в России. Рабочий и крестьянин являются рабами помещиков и капиталистов, и люди вообще не освободились еще от самой примитивной зависимости от вещей, а ты уже мечтаешь о социалистическом строе, о человеке, который победит окружающую его природу".

„Что-то ждет меня в Екатеринославе? — продолжал я думать. — Это — совсем другой город. Если Тверь с В.-Волочком были городами текстильного производства, Екатеринослав представляет собой город тяжелой индустрии".

На другой день по приезде я был введен в состав Екатеринославского комитета РСДРП(б) и был назначен ответственным организатором заводского Чечеловского района, к которому относились и находившиеся в десяти верстах подрайоны: Нижнеднепровск и Амур. В этот район входили все большие заводы города: Брянский завод (15 000 рабочих), Трубочный завод, завод Шадуар, Гвоздильно-болтовой, Эстампажный, Днепровский, общество „Сириус", завод „Шла" и другие.

Из разговоров с товарищами и из последовавшего в этот же день знакомства с районом я вынес впечатление, что Екатеринославский комитет переживает очень тяжелые дни.

После подъема, имевшего место год назад во время южной стачки, и последовавшего в октябре 1903 года расстрела рабочих Брянского завода рабочие не вышли еще из состояния апатии и упадка духа, охватившего их вслед за репрессиями.

Заметив особенную активность рабочей молодежи, распространявшей на заводах прокламации и державшей связь с комитетом, жандармы обратили все свое внимание на нее. Последняя стала в их глазах гораздо более опасной, чем взрослые, семейные рабочие, не бравшиеся за такие рискованные предприятия, как распространение прокламаций. Чтобы нанести самый существенный удар революционному движению, жандармы придумали своеобразное и до известной степени радикальное средство, которое сводилось к массовому расчету с екатеринославских заводов молодых

рабочих. Это изгнание молодежи с заводов одно время привело к тому, что на заводах совершенно перестали появляться прокламации и порвалась связь рабочих масс с комитетом РСДРП.

Взрослые, семейные рабочие, на которых можно было заметить по сравнению с питерскими рабочими налет какого-то провинциализма, воздерживались, за редкими сравнительно исключениями, от активного участия в партийной работе. При мне они начинали лишь втягиваться в работу, и их можно было пересчитать по пальцам. Рабочая молодежь продолжала оставаться той средой, откуда наша партия черпала свои силы и пополняла свои ряды.

Насколько рано начинала эта молодежь свое участие в работе, видно из разговора, который мне пришлось вести с тов. „Василием", интеллигентом-учителем, руководившим до меня Чечеловским районом.

— Народ что-то все молодой больно, — говорил я ему, когда он мне сдал район.

— Что вы! — ответил он. — Вы посмотрели бы, что было месяцев восемь назад, когда я пришел сюда работать.

— Что же тогда было?

— А вот, прихожу раз я в назначенный час на квартиру, где должен был собраться район. Смотрю, что за чудо: никого нет. Жду полчаса, час, никто не показывается. Что такое? — думаю. Слышу шум и крики на дворе. Открыл я дверь и глазам своим не верю... Весь район в бабки играет. Стал спрашивать, сколько лет каждому, отобрал человек восемь, т. е. половину района, в возрасте от 14 до 15 лет. Подрастите, говорю им, и когда будет каждому по 16 лет, приходите.

— Не поверите, — обратился он ко мне, — плакали некоторые, когда уходили; так уже сроднились с районом.

Предстояла и здесь обычная работа по собиранию сил, поднятию духа в массах и по сколачиванию организации. При этом нужно было не зевать. Охранка следила за каждым шагом организации. Как только она замечала, что работа начинает развертываться и внушать ей опасения, она обрушивалась на организацию и подвергала ее разгрому. Дело доходило до того, что в Екатеринославе к приезду тов. Н. Н. Мандельштама комитет представлял всего один человек. Как ни тяжело было при таких условиях работать, дело еще шло сносно до появления в городе меньшевиков. Меньшевики, господствовавшие на юге, занимавшие такие важные пункты, как Кавказ, Харьков, Севастополь, решили завоевать Екатеринослав.

Прошел год со времени II партийного съезда. Как ни трудно было разбираться в причинах раскола, но уже наметился среди передовых рабочих сдвиг в сторону большевизма. К большевикам шли преимущественно те из интеллигентов и передовых рабочих,

которые умели в рабочем движении отличать и ставить на первый план основное, главное, существенное. Это были большей частью люди, уже овладевшие диалектическим методом познания, выработавшие в себе привычку все явления жизни рассматривать в их действительной, конкретной обстановке.

Наоборот, среди меньшевиков были люди, которые, несмотря на свои блестящие способности, большую эрудицию, знакомство с теорией Маркса, не отличались уменьем применять к жизни революционный марксизм. Широкие рабочие массы, с своей стороны, все более научались в России видеть в большевиках и в особенности в тов. Ленине людей, которые ведут рабочий класс в сложной, запутанной революционной обстановке по верному пути.

НАПЛЫВ МЕНЬШЕВИКОВ.

Мартов в одном из своих писем, которыми он наводнял комитеты в России тотчас после раскола, сетовал, что „вчера приехавшие из-за границы горланы заезжают Аксельрода, а несмыслящие девицы упраздняют Веру Засулич".

Лично я наблюдал как раз совершенно обратное. Именно осенью 1904 г. Екатеринослав оказался наводненным „горланами", но из меньшевиков: Иван Зборовский, интеллигент, превосходный агитатор, Александр, интеллигент, литератор и пропагандист, Михаил, интеллигент, агитатор, Герасим, интеллигент, выдававший себя за рабочего-печатника, и многие другие. Приехав в Екатеринослав, они начали подпольную работу против большевистского комитета. Как бы инстинктивно чувствуя, что раньше всего они могут найти себе союзников в городском ремесленном районе, они начали с завоевания последнего.

Комитеты, как городские, так и районные, не выбирались на конференциях, как теперь, а назначались путем введения того или иного выдвинувшегося или приехавшего товарища.

Условия революционной работы, постоянная опасность арестов, когда не изжита была зубатовщина и появлялась гапоновщина, когда полиция усердно насаждала провокацию, когда аресты до такой степени косили организацию, что в ней оставались часто лишь 15-летние ребята, затем невозможность часто созывать большие собрания и необходимость по приезде того или иного товарища немедленно давать ему возможность начинать работу — не позволяли применять партийную демократию. Так как целью партии являлась революция сначала демократическая, а затем и социалистическая, то выборное начало, партийная демократия, являлось лишь средством для главной цели и потому применялось, когда имелись налицо благоприятные условия. В противном случае выборное начало заменялось правом кооптации, т. е. правом ввести немедленно, как этого требовали боевые условия революци-

онной работы, того или иного приехавшего товарища в организацию.

Меньшевики воспользовались трудными обстоятельствами в партии и начали демагогическую работу, выдвигая требование немедленного применения выборного начала и бросая обвинение против большевиков, что последние якобы управляют сверху рабочим классом, „отдают команду“ и, боясь провалов, ограничиваются тем, что „хранят печать“ и заседают, а не работают в массах.

Большевики, учившиеся на международном опыте и на собственных ошибках, поступили правильно, приняв во внимание те промахи, на которые указывали меньшевики. В этом — опять отличие большевиков от меньшевиков, не следовавших указаниям со стороны большевиков на те ошибки у них, на которые всегда указывали большевики. Потерпев поражение где бы то ни было, большевики исправляли свою линию, поскольку последняя оказывалась ошибочной, и снова брали верх над меньшевиками.

На такую ошибку и промах, вытекавшие, впрочем, из общего положения партии и страны, как отсутствие выборного начала, и напали меньшевики в Екатеринославе в описываемую эпоху.

На первом же заседании комитета, на котором я присутствовал, тов. Н. Н. Мандельштам указал на меньшевистскую опасность в Екатеринославе.

— Меньшевики, — говорил он, — приехали, тов. Кирилл, и уже проникли, видимо, в городской район.

— Да, — подтвердил его слова ответственный организатор городского района тов. Евгений. — Поэтому вот с приездом тов. Кирилла отдайте мне в помощники тов. Василия. Меньшевики уже давно предъявили к комитету требование введения их в районы для ведения партийной работы. Но мы, конечно, им отказали. Они обжаловали в ЦК.

Я поселился сначала в Чечеловском районе, поближе к заводам, борьбой которых против капиталистов и самодержавия партия мне поручила руководить.

Широкие немощеные улицы, стада гусей, белевших в больших лужах посредине, хрюкавшие в них свиньи, маленькие выбеленные снаружи домики с садочками около них — все это делало чечеловские улицы похожими на большое украинское село.

После разговоров с тов. Мишей, выдающимся рабочим, жившим на Керосиновой ул., и с другими членами района, познакомившись с общим положением в Екатеринославе, я скоро убедился, что город и большевистская организация очутились на положении своего рода осажденной неприятелем крепости. Положение при этом осложнялось тем, что гарнизон, защитник крепости, стал колебаться, остаться ли ему верным старому большевистскому знамени или перейти на сторону врага.

Меньшевики не брезгали средствами. Они сначала натравляли рабочих, членов городского района, на предъявление к комитету явно неисполнимых требований, затем уже нападали на комитет, обвиняя его, что он не в состоянии эти требования проводить в жизнь. Так, тотчас по моем приезде городской район настоял на устройстве демонстрации по поводу суда над брянскими рабочими. При том тяжелом положении, в котором находилась екатеринославская организация после разгромов со стороны жандармов и ввиду охватившей рабочих апатии, можно было в это время задаваться лишь собиранием сил и подготовкой для будущих выступлений. Когда демонстрация, как и следовало ожидать, не удалась, меньшевики через городской район обвинили комитет, что он не умеет справиться с такой простой задачей, как успешное проведение демонстрации. Тов. Евгений постоянно жаловался на тяжелое положение в его районе.

— Это чорт знает что творится у меня в районе, — говорил он. — Кричат: „комитет виноват, что демонстрация провалилась. Где его руководство? Почему он нас не сумел отговорить от демонстрации? Явное безумие было ее устраивать. Где прокламации? Почему техника не работает? Если и ведет работу, то она из рук вон плоха. Комитет неработоспособен. Надо оздоровить комитет. Надо влить в него живой крови. Довольно нами командовали сверху. Мы выросли из пеленок. Надо ввести выборное начало! Необходимо ввести в комитет рабочих!“

Тяжелое положение комитета объяснялось, между прочим, и тем, что он оказался отрезанным от большевистских центров. Вследствие этого он не получал подмоги ни в виде новой литературы, ни в виде людей.

Так как меньшевики отбили от нас наши денежные источники у либеральной буржуазии, охотнее поддерживавшей меньшевиков, чем большевиков, мы не могли выпускать такого количества листков, как это было необходимо для того времени. Недостаток денег привел к тому, что мне, например, нельзя было ни в коем случае снимать отдельную комнатку. Я принужден был, как и другие товарищи, каждый день менять ночевку, разыскивая ее у тех, кто сочувствовал революции. По той же причине я носил старое, поношенное, с чужого плеча платье и белье, жил впроголодь, получая от комитета в день от 4 до 20 коп. Случалось, что с ночевки мы возвращались покрытые вшами.

Мои попытки найти работу на Брянском или на другом заводе не увенчались успехом.

Почти одновременно с атаками со стороны меньшевиков свирепствовали жандармы. На другой день по моем приезде т. Н. Н. Мандельштам оказался арестованным. Одновременно началась усиленная слежка за рядом товарищей-большевиков. Не получая никакой поддержки от большевистских центров, мы теряли товарищей,

которых или арестовывали, как тов. Мандельштама, или которые принуждены были уехать из Екатеринослава из опасения быть арестованными. Так, почти на другой день после ареста т. Мандельштама уехала пропагандистка Мария Антоновна Лившиц. Когда особенно начали нажимать меньшевики в городском районе, вдруг уехал из-за обнаруженной слежки тов. Василий. Перекочевал из Екатеринослава проживший там не более двух недель тов. Ч. Когда, таким образом, поредели наши ряды, положение наше еще более ухудшилось после приезда в Екатеринослав тов. Матрёны. Приехав разбирать дело по жалобе меньшевиков от имени примиренческого ЦК партии, он потребовал, чтобы мы допустили меньшевиков к работе в районы. Мы, кричавшие о подчинении партийной дисциплине, не могли не подчиниться этому решению, оказавшемуся гибельным для большевистского комитета в Екатеринославе. На основании одного документа можно вывести заключение, что меньшевики оправдывали свое нашествие на город Екатеринослав тем, что приезд их был вызван посылкой делегата от екатеринославских рабочих, по всем данным городского района, в меньшевистский центр, где этот делегат призывал меньшевиков от имени екатеринославских рабочих завоевать у большевиков город Екатеринослав.

Работавшие до сих пор от нас скрытно, войдя теперь в районы на положении равноправных, они повели против нас такую атаку, что, можно сказать, распоясались. Городской район, куда вошел Иван Зборовский, вскоре же стал выступать как меньшевистский район. Герасим, направленный в Нижнеднепровск, вскоре же поколебал устойчивость тов. Т. [1]. Александр работал и разлагал коллегию пропагандистов. Я получил предписание от комитета допустить к работе в Чечеловском районе меньшевика-интеллигента Михаила. Меньшевики, обладавшие связями с местной интеллигенцией и либеральной буржуазией, устроились много лучше и в материальном смысле и с квартирами. Таким образом, в свободное время они могли читать. Мы, хозяева города, наоборот, во всех этих смыслах находились в очень тяжелом положении. Необходимость ежедневно менять квартиру, разыскивать ночевку, спать на полу, невозможность носить с собой литературу, особенно нелегальную, трудности, с какими сопряжено ее хранение, — все это не давало полной возможности читать. Случалось, что проходили целые недели, прежде чем я получал возможность взять книжку в руки. Читать, учиться коммунисту необходимо. Я чувствовал, сознавал, что я, например, недостаточно знаком с историей вообще и с историей французского революционного движения в особенности, чтобы более определенно судить, правы или неправы мень-

---

[1] Подорганизатор Нижнеднепровского подрайона, Екатеринославского комитета РСДРП.

шевики, обвинявшие нас в якобинстве и бланкизме. Сознание, что я недостаточно знаю предмет, не давало мне такой уверенности, какая была необходима, когда я возражал тов. Михаилу.

Ввиду наплыва в город меньшевиков, создавшегося вследствие этого тяжелого положения, ухудшавшегося арестами и отъездами товарищей, тов. Н., исполнявший обязанности секретаря комитета, неоднократно писал и за границу и в БКБ [1] о тяжелом положении большевистского комитета и просил присылки хороших комитетских работников и руководящей литературы. Мы поражались как тем, как скоро уезжавшие товарищи нас забывали, так и тем, что на письма мы не получали ответа.

Несмотря на все неблагоприятные условия, мы продолжали вести работу. По субботам мы в 5 час. вечера открывали на квартире у кого-нибудь из товарищей собрание Чечеловского района. Я держался правила — каждого рабочего приучать выступать и вести по очереди собрания. Несмотря на то, что слово у меня брали все товарищи, все вопросы порядка дня, предлагаемые от имени комитета, мы успевали обсудить и принять по ним резолюции к 11 час. вечера и самое позднее к 12 час. ночи.

Присутствие меньшевика Михаила в районе начало сказываться с того, что уже через неделю он повлиял на одного из пропагандистов района. Последний заявил мне, что переходит на точку зрения меньшевиков.

С появлением в городском районе меньшевиков, как Иван Зборовский, и внезапным отъездом таких товарищей, как тов. Василий, положение там с каждым днем становилось все затруднительнее. Тов. Евгений, интеллигент, хороший агитатор, с каждым днем становился все мрачнее.

Так, случалось, что часто в воскресенье, когда я выходил на улицу, чтобы купить в булочной хлеба, я встречал тов. Евгения, осунувшегося, усталого и злого...

— А, Кирилл! — говорил он обыкновенно, встретив меня. — Вы откуда, с собрания Чечеловского района? Ну, как у вас прошло собрание? Как ваш меньшевик Михаил бунтует, а, скажите?

— Нет, товарищ Евгений, я не с района. Я окончил, как всегда, собрание к 12 час. ночи. Я уже успел выспаться и я иду в булочную за хлебом. Вы знаете, мне, наконец, удалось найти дешевую комнатку. Я рад: хоть почитаю. Пойдемте ко мне чай пить.

— Счастливый вы человек, тов. Кирилл. Вы окончили собрание еще вчера; вы выспались, идете уже пить чай и читать. А вы знаете, я... я только что с собрания городского района.

— Что же, если вы начали его в те часы, когда мы кончали его, нет ничего удивительного.

---

[1] Бюро комитетов большинства.

— Нет, в том-то и беда, что я начал собрание тоже, как и вы вчера в 6 час. вечера. Всю ночь мы без перерыва заседали и окончили, как видите, только на другой день в 8 час. утра. Замучили меня эти ремесленники городского района. Говорят и говорят без конца. Каждый вопрос жуют, жуют, и все толку мало. Ведь все в конечном счете решается вашими заводскими районами. Почти все члены городского района — бывшие бундовцы.

— Ну, как Иван Зборовский?

— Мне кажется, что он что-то выжидает. Может быть, он ждет, когда Михаил у вас на Чечеловке подготовит почву. Городской район уже меньшевистский. Я подозреваю, что члены его уже помогают Михаилу взорвать вас на Чечеловке. Когда это произойдет, тогда и мне окончательный сюприз преподнесут. А пока меня лишь терпят и в моем лице без пощады критикуют большевистский комитет за „неработоспособность".

По мере того как меньшевики вели подрывную работу против комитета, положение становилось все напряженнее. Городской район оставался застрельщиком борьбы против большевистского комитета.

Его члены не дремали, как говорил тов. Евгений, вели работу среди членов заводских районов, рабочих. Скоро среди последних появились сначала примиренцы. Все чаще я стал слышать речи такого рода:

— Что это, товарищ Кирилл, за раскол этот в партии? Подумайте, самодержавие так сильно, мы, социал-демократы, так страшно слабы; нет прокламаций на заводах. Между тем начинают опять пробуждаться рабочие. Требования на листки, на постановку пропаганды огромные. Тут бы и работать вместе, а у нас вот раскол. Надо бы прекратить его, товарищ Кирилл!..

Однажды тов. Евгений заявил комитету, что ему невтерпеж. Очень на него надавил меньшевик Иван Зборовский.

— Что же это такое? — говорил тов. Евгений. — Пишем, пишем, что положение у нас отчаянное, в каждом письме мы кричим: спасайте! — а толку мало. Разрешите мне самому лично съездить в Бюро комитетов большинства. Вероятно, письма что ли не доходят? Нельзя на самом деле сидеть у моря и ждать погоды, т. е. когда Иван Зборовский нас окончательно проглотит. Я лично поговорю с тов. Землячкой и сам вернусь и привезу непременно подмогу.

— А вы непременно вернетесь обратно? — спросил его тов. Н. („Филипп" или иначе „Варвара").

— Что за вопрос? — обиделся даже тов. Евгений. — Чтобы я вас оставил в таком отчаянном положении! За кого вы меня принимаете? Конечно, вернусь, хотя мне уже надоело здесь.

Тов. Евгений уехал и не вернулся. Он не только не вернулся, но его упорное молчание производило впечатление, что он, как

вырвавшийся из душного подземелья, забыл нас, оставшихся там [1]. Вскоре после его отъезда я выяснил, что тов. Т., интеллигент, руководивший Амуром и Нижнеднепровском, перекочевал к меньшевикам. Ввиду создавшегося положения тов. Н. начал работать в городском районе, тов. Роман — в Нижнеднепровском и Амурском подрайонах.

Обычное недовольство рабочих, членов районов, с которым обыкновенно легко справлялись, начало принимать угрожающие формы.

— Что, тов. Кирилл, — насмешливо говорил мне, встречаясь со мной меньшевик Герасим, — что, бегут ваши интеллигенты из Екатеринослава, бегут, как крысы с тонущего корабля? Оставляют вас, рабочего, нам, меньшевикам, на съедение. Съедим мы вас скоро. Это верно. Скоро вам капут! То, что вы видите здесь, происходит по всей линии. Везде в России плохо приходится большевикам. Капут скоро!..

— Если даже читать вашу новую „Искру", то окажется, что это неверно. Уезжают же товарищи потому, что за ними охранка устанавливает усиленную слежку, — отвечал я.

— И за меньшевиками не меньшая слежка.

— Может быть. Но вот вашего Ивана Зборовского арестовывали же раза два чуть не со всем городским районом, а затем опять освобождают. Хотя тут, наверно, простая случайность, но все-таки счастливая, исключительная случайность.

— Случайностью вы объясните, что рабочие вот к нам один за одним переходят?

— Где, в городском районе?

— И ваш Чечеловский район висит на волоске, а волосок в наших руках, недолго и Чечеловка останется у вас, у большевиков. Вот увидите...

Комитет совещался о создавшемся положении. „Что делать?" — вот вопрос, который вставал перед каждым. Угроза взорвать нас по всей линии, о чем хвастался меньшевик Герасим, насколько я знал, имела достаточно оснований.

— Мы удержимся, если согласимся на выборное начало, — говорил тов. Н.

— Не слишком ли поздно это будет? Меньшевики так подготовили почву, что наша уступка еще более поднимет их в глазах рабочих, да и выбирать-то будут меньшевиков. Осталось всего неделя или две, не более, и районы вынесут постановление об избрании нового центра и об упразднении старого большевистского комитета. Затем, выборное начало это — мера общего характера, и без разрешения нашего большевистского центра проводить только в одной екатеринославской организации партийную демократию

[1] Тов. Евгений был направлен для работы в Нижний.

мы не можем. Надо кого-нибудь послать в Одессу. Пусть спросит мнение хотя бы Одесского комитета по этому вопросу и потребует присылки хотя бы одного сильного комитетского работника. Мы устроили бы дискуссию. Меньшевики распространяют среди рабочих клевету, что мы, большевики, находимся на пороге смерти повсюду в России. Когда мы возражаем, нам не верят. Что, мол, вы знаете: вы сидите здесь, и вам совершенно неизвестно, что творится на белом свете. Другое дело, если появится большевик, приехавший, положим, из Одессы. Он может сразу завоевать доверие. Если же он еще силен в партийных вопросах, наше дело будет в шляпе, — так говорил тов. Роман.

— Разрешите мне съездить в Одессу, — предложил я.

— Ни в каком случае, — возразил т. Н. — Во-первых, у вас на руках огромный Чечеловский район. Вы не должны его покидать. Во-вторых, я не вижу никаких гарантий, чтобы с вами не случилось то же самое, что и с т. Евгением. Он клялся, что едет за подмогой и торжественным образом обещал вернуться, но вот он не вернулся. Я предлагаю послать т. Н-у.

— Если она хорошо исполнит поручение, мы ее выберем в комитет. Она — очень способная девушка, — сказал я.

— Это посмотрим, — холодно заявил т. Н. — Вы всегда хлопочете, т. Кирилл, за тех, которые работают в вашем районе. Вы только, покамест она не вернется из Одессы, ничего ей не говорите.

Тов. Н-а представляла собой интеллигентку-пропагандистку. По сути дела она являлась не чем иным, как способной и подававшей большие надежды честолюбивой комсомолкой. Своей простотой обращения с рабочими, своим задушевным, звучным, мягким голосом и своею способностью говорить увлекательно она завоевала общее доверие рабочих тех кружков, которые мы ей поручали вести. Кроме того, она заведывала общественной секцией и занималась сбором средств на партию среди либеральной буржуазии, сочувствовавшей революционному движению.

Мы уже намечали ее кандидатом в комитет, но т. Евгений, который ее хорошо знал, отклонил на тот раз это предложение.

— Молода еще она для комитетской работы. Еще девчонка. Пусть подождет.

Я был уверен, что т. Н-а выполнит с честью данное ей поручение. Она выслушала, что говорил ей тов. Н. о тяжелом положении, в котором очутился Екатеринославский комитет, что ей поручается привезти из Одессы, под опасением, что Екатеринославский комитет будет взорван меньшевиками не позднее, чем через две недели, хорошего комитетского работника, и что она должна выяснить мнение Одесского комитета большевиков о положении в Екатеринославе в связи с требованием меньшевиков проведения в жизнь немедленного выборного начала. Тов. Н-а ответила тов. Н. и

мне, что она все прекрасно поняла и постарается выяснить, что должен при создавшихся условиях делать Екатеринославский комитет, и привезти требуемого работника.

„ЗАПАСНЫЕ“.

На моей обязанности, как ответственного организатора подрайонов Нижнеднепровского и Амура, лежала необходимость бывать там не менее раза в неделю, наблюдать, как ведется работа. Кроме того, я вел там кружки. При отсутствии денег в организации и вообще тяжелом материальном положении нечего было и думать о поездках сюда на извозчиках. Помимо того, что это было дорого, это считалось неконспиративным. Среди извозчиков могли быть шпики, и нас могли легко проследить агенты охранки.

Поэтому я всегда совершал переход сюда пешком. Нередко заставала меня, когда я засиживался на кружках и собраниях, глухая ночь. Часто приходилось итти туда и возвращаться во всякую погоду: и в дождь, и в сильный мороз, и в мятелицу. Как в каждой отдаленной, пустынной, незастроенной местности на Руси, здесь иногда поджидали путника всякого рода „жулье, мазурики и ракло“, грабившие запоздалых прохожих, обиравших их догола. При этом грабители прибегали к разного рода хитростям. То они выскакивали из-под заборов в белых саванах в виде мертвецов или появлялись преобразившиеся в чертей. Встреченные такими мертвецами или чертями прохожие сперепугу лишались даже способности речи и позволяли обдирать себя, как липку.

Принимая все это во внимание, я освободил пропагандисток от необходимости работать в этих отдаленных от Екатеринослава районах. Посылал туда пропагандистов или исполнял обязанности пропагандиста сам.

Несмотря на слухи о мертвецах и чертях, грабивших за Екатеринославским мостом, я никогда не встречал этих отрицателей частной собственности. Тем не менее каждый раз, когда я возвращался из Нижнеднепровска, я бывал очень доволен, если я заставал на ж.-д. станции товарный поезд. Вскочив на тормозную площадку, что позволяли делать кондуктора поезда местным жителям, я доезжал бесплатно, „зайцем“, до Екатеринослава.

Однажды, в конце декабря 1905 г., когда т. Н-а уехала в Одессу, я возвращался поздно ночью из Нижнеднепровска в Екатеринослав. Стоял сильный мороз. Днепр давно был скован льдами. Ночью пошел сильный снег, подул ветер. Началась мятелица. Всматриваясь сквозь белую пелену хлопьев валившего снега, я к радости заметил на станции огни „грузового“ поезда. Раздался уже третий звонок. У меня не было времени рассматривать, какой это поезд. Обрадованный, что мне предстоит редкая возможность проехать по железной дороге это десятиверстное расстояние, я припустился что есть мочи к поезду. Он уже трогался, когда я при

помощи сидевших в вагоне каких-то людей, показавшихся мне ж.-д. рабочими, подхватившими меня подмышки, влез в вагон, который предназначался, согласно надписи, или „для сорока человек“ или „для восьми лошадей“.

При тусклом свете фонаря я рассмотрел в вагоне временные нары из грубых досок и лежавших и сидевших на них рабочих, очень похожих на украинских крестьян.

— Седайте, — услышал я. — Як вы запыхались, швидко бежали, — услышал я от одного молодого парня, сидевшего неподалеку от меня.

„Железнодорожные рабочие, — решил я. — Вот случай для агитации. Только что-то серовата публика, — думал я, смотря на них. — Может, и на шахты едут?“ Как всякий агитатор-большевик, я не мог пропустить благоприятного случая для агитации. Вести агитацию, поднимать отсталые рабочие массы до высот социалистического сознания, доказывать, что революция остается единственным средством для рабочих и крестьян России, чтобы выйти из того бедственного и приниженного положения, в котором они находились, словом, „бунтовать“, как выражались некоторые рабочие, — сделалось самой насущной потребностью моей жизни. Отказаться от благоприятного случая поговорить с рабочими на революционную тему мне становилось так же трудно, раз случай представился, как голодному отказаться от куска хлеба. Поэтому, увидев рабочих, какими мне показались эти люди, я стал искать предлога завести разговор. Предлог скоро представился.

— Вы из Екатеринослава? — спросил меня тот же рабочий, который предложил мне сесть. — Вы читаете газеты, скажите, что пишут. Не пойму я, чи наши бьют японцив, чи японци наших лупят. Наши хохлы кажут: лупять наших, и наши бегут аж пятки сверкают. Чи правда, чи нет?

Воспользовавшись случаем, я тотчас нарисовал перед сидевшими в теплушке трагическое положение рабочих и крестьян России.

Я увлекся. Меня слушали внимательно.

— Довольно! — вдруг услышал я резкий и негодующий голос. В тот же миг чья-то рука грубо и крепко схватила меня.

Не отдавая себе еще отчета в том, что произошло со мной, я оглянулся. Я увидел перед собой человека лет сорока. На меня смотрело его лицо с тупым, жестоким выражением.

— Это что такое? Почему вы меня схватили? — закричал я, пытаясь вырваться. — Какое вы имеете право?

— Какое имею я право? — ответил он мне резким голосом. — Об этом вам скажут в жандармском управлении в Екатеринославе, куда мы сейчас приедем. Вот я вас сдам жандармам, от них все узнаете.

— Да тебе якое дело? Чево ты взявся? Нехай соби говорить! Он хорошо говорил, — кричали на него рабочие.

— А вы часом с глузу ни съихали? — возразил им державший меня. — Може, вин японский шпион или социалист. И тот и другой — наш „внутренный враг". Это мы все, як запасные, должны знать. Не для того же я служил верою и правдою государю императору, чтобы позволить ему брехать, як собаке.

— Мы вси запасные и едем на войну, а вы какие слова тут говорили? Уши вянуть, когда я вас слушал, — сказал он мне.

Так вот оно что! Теперь понятное дело. Они запасные, едут на войну. Он — бывший урядник, значит полицейский. Дело мое оборачивается плохо.

Тотчас, как молния ночью, прорезала мою голову мысль, что ведь карманы мои, как нарочно, набиты материалом для прокламаций для солдат, что они полны нелегальной литературой. Если меня теперь арестуют, в руках жандармов окажутся все данные для создания обвинения в пропаганде среди солдат в военное время, достаточного для посылки меня на каторжные работы.

Я замолчал, стараясь найти выход из создавшегося трудного положения. Молчал и урядник, продолжавший держать меня за руку. На его тупом лице я прочел предвкушение удовольствия, которое он испытает, когда начальство будет благодарить его за задержание революционера. — „Может, и денег еще дадут", — наверно, мерещилось ему. Поэтому он продолжал меня держать крепко.

Поезд между тем давно миновал Екатеринославский мост и приближался, громыхая цепями, к Екатеринославу. Из передних вагонов раздавалось уже громкое „ура", которым запасные приветствовали город.

— Ура! Екатеринослав! — доносились крики.

— Ура! ура! ура! — стали кричать запасные и в нашем вагоне.

Я давно уже пытался приотворить дверь вагона ногой. Урядник тотчас ее запирал.

— Отчины швидче дверь! — закричали запасные, бывшие в вагоне, и оттолкнули его от двери.

Перед моими глазами замелькали железнодорожные постройки, предшествовавшие перрону. Наставал последний и решительный момент.

„Надо принять какие-либо меры, — думал я, — иначе через две минуты я попаду в лапы к жандармам".

Свободной рукой я вдруг нащупал в кармане екатеринославскую газету „Приднепровский край". Я, недолго думая, решил прибегнуть к ней, как к последнему средству.

— Вот возьмите, — быстро сказал я уряднику и сунул ему в руку газетный листок. — Здесь как раз написано обо всем, что я вам говорил.

В ту же минуту, воспользовавшись тем, что он на миг освободил мою руку, я, вырвав ее от него окончательно, тотчас выпрыгнул из вагона на ходу поезда. В то же мгновение, как мне показалось, все завертелось в моих глазах. Я перевернулся в воздухе, ударился о железный столб, поддерживавший навес над перроном, и растянулся на каменные плиты. Поезд тотчас остановился. Я моментально поднялся и, несмотря на то, что я больно ушибся при падении, несмотря на то, что все во мне ныло и болело, бросился бежать, но не к главному выходу, у которого стояли жандармы, а к боковому выходу, к маленькой служебной калитке, через которую я не раз уже проскальзывал, чтобы избежать слежки. Подымаясь после падения и убегая, я слышал, как урядник, не осмеливавшийся последовать моему примеру, кричал как раз перед жандармами:

— Жандарм, жандарм! Держи его, держи его!

Но жандарм стоял совершенно равнодушный к призывам урядника: крик последнего потонул в общем крике запасных.

— Екатеринослав! Да здравствует Екатеринослав! — продолжали они кричать и выскакивать на платформу, которую они быстро запрудили.

В их толпе я тотчас скрылся. Глаз урядника потерял меня. Меня в этой толпе так же трудно было найти, как рыбу в реке. Темнота благоприятствовала мне. Я старался как можно скорее достигнуть заветной калитки. Но запасные, бежавшие навстречу по платформе, часто мешали мне. Я боялся, что калитка за поздним временем окажется запертой. К счастью, она оказалась открытой, и я только тогда вздохнул свободно, когда очутился за нею. Здесь я умерил шаг. У меня сильно билось сердце. Я был покрыт, несмотря на мороз, потом. У меня тотчас начали тупо болеть ушибленные при падении места моего тела. Не веря своим глазам, что я свободен, что мне удалось избежать ареста, я несколько раз оглядывался.

„Наконец-то я избежал опасности, сомнения нет. Нет и погони“, думал я. Окончательно я вздохнул свободней лишь тогда, когда очутился далеко от вокзала.

ОБЫСК.

Когда я вернулся домой в маленькую комнатку, которую я на этот раз снимал вместе с одним ж.-д. служащим, конторщиком, членом нашей партии, весь дом, хозяева квартиры, он сам на полу — все было уже в глубоком сне. Мой товарищ по комнате храпел, покрытый своим поношенным пальто, служившим ему и одеялом. Храп доносился и из комнаты хозяйки-польки. Осмотрев комнату и убедившись, что подпольная литература уже была спрятана товарищем на дворе, куда я снес и свою литературу, где следы заноси-

лись снегом, я, подстелив кусок войлока, выданный мне хозяйкой вместо перины, потушив лампу и покрывшись так же, как и товарищ, своим пальто, заснул тяжелым сном. Приближался уже рассвет. В полусне я слышал, как пели петухи.

Вдруг какой-то стук в квартире заставил меня вскочить на ноги. Еще я не успел очнуться, притти в себя, как в комнату ворвалась толпа городовых, предводительствуемая околотком. Городовые, набросившись на меня и на товарища, обыскали наши карманы и перерыли все в комнате.

— Что нашли на дворе? — спросил околоток городовых, обыскивавших двор.

— Ничего не нашли, ваше благородие, — ответили последние.

— Хорошо ли искали? — переспросил их околоток.

— Хорошо, ваше благородие, будьте покойны.

— Ну, до свиданья, — обратился ко мне околоток. — Ловко вы прячете литературу. Ну, да все равно. Рано или поздно попадетесь.

СДАЧА КОМИТЕТА МЕНЬШЕВИКАМ.

На другой день я узнал, что т. Н-а вернулась из Одессы. Так как я заметил за собой слежку, около трех дней я воздерживался от встреч с товарищами. Первый мой вопрос был, когда я увидел т. Н.:

— Что вышло из поездки т. Н-и?

— Представьте себе, она до сих пор не являлась в комитет. Давайте вызовем ее на следующее заседание и потребуем от нее отчета в поездке.

Я выразил согласие. Я не понимал медлительности т. Н-и, когда она знала, что от ее ответа зависела жизнь или смерть Екатеринославского комитета. Н-у вызвали.

— Говорят, что вы уже неделю как вернулись из Одессы, — говорит ей т. Н. — Почему до сих пор вы не являлись рассказать о вашей поездке?

У Н-и оказался какой-то смущенный вид.

— Оттого не приходила, что не считала нужным давать отчет в таком незначительном поручении, на которое я истратила последние деньги, находившиеся в кассе комитета, — ответила она. — Мне сказали, — продолжала она, — что референта Одесский комитет не может дать. Там даже засмеялись, когда услышали подобную просьбу: до такой степени она показалась им странной.

Случается, что умные люди совершают нелепые поступки, которые не поддаются объяснению. К числу их я отношу поведение т. Н-и. До сих пор я не могу его объяснить. Был страшно поражен и недоумевал и т. Н.

— Как, товарищ Н-а? Ведь мы русским языком говорили вам, что вам поручается большевистским комитетом привезти из Одессы

работника комитетского масштаба и выяснить, как смотрит Одесский комитет на создавшееся положение в Екатеринославе и на вопрос об этом выборном начале, которое требуют меньшевики.

Н-а уперлась и упорно отвечала, что ей такого поручения не давали, что ее просили привезти из Одессы в Екатеринослав референта.

— Как вам нравится вся эта история? — возмущенно говорил мне т. Н. — Как же можно ставить вопрос о кооптации т. Н-и в комитет, если она настолько несерьезная девица, что не могла выполнить это важное для нас поручение? Да это равносильно тому, что если бы мы ее послали, как лазутчика, из осажденной крепости с просьбой сказать, чтобы нам прислали снарядов, а она, вернувшись без всего, стала бы уверять нас, что мы ее посылали за бенгальскими огнями для празднования победы.

— Да, товарищи, мы тоже здесь находимся как в осажденной крепости. Мы принуждены были, по распоряжению агента ЦК т. Матрены, пустить врага внутрь крепости. Гарнизон теперь разложен. Один из признаков этого разложения я вижу в поведении т. Н-и, — говорил я.

Я изнемогал в огромном Чечеловском районе в борьбе с меньшевистским влиянием. Городской район и подрайоны Амур и Нижнеднепровск уже пали под напором меньшевистских сил. Кроме такого превосходного агитатора, как Иван Зборовский, бывший позднее, в том же 1905 г., в Петербурге председателем Совета рабочих депутатов, Александра, Михаила, Герасима, к ним на помощь приехало еще несколько интеллигентов-меньшевиков. Чечеловский район являлся как бы последним фортом, который оставался в руках большевиков, который не сдавался и который они подвергали яростным атакам.

Я совершенно не помню, чтобы я ездил в последнюю минуту в Бюро комитетов большинства. Между тем об этом факте говорит письмо „Дяденьки“ (Л. М. Книпович) на имя Н. К., напечатанное в „Пролетарской Революции“, № 7/42 за 1925 г., стр. 7.

Роковой день наконец наступил. Чечеловский район в конце концов присоединился к меньшевикам. Тогда под влиянием меньшевиков районы вынесли решение, которым руководство всей партийной работой Екатеринослава передавалось новому избранному районами центру. Этим решением Екатеринославский большевистский комитет обрекался на положение штаба, армия которого перешла на сторону врага.

Так как за мной началась после обыска у меня усиленная слежка, так как мне необходимо было отдохнуть, собраться с силами, почитать, выяснить положение дел в партии, я уехал в в конце января в Киев.

Сдачу комитета большевиками в Екатеринославе меньшевики расценили как сильнейшую победу над большевиками. Мартов по

этому поводу объехал чуть не все города Западной Европы, громко трубя победу и читая рефераты.

Одновременно сдача комитета явилась тем громом, который заставил наши центры послать подмогу в Екатеринослав и в виде руководящей литературы: „Шаг вперед и два назад“, „Земская кампания“ и план „Искры“, газету „Вперед“, где обосновывалась борьба большевиков, революционная тактика рабочего класса, направленная к свержению самодержавия и установлению диктатуры пролетариата и крестьянства.

При помощи этой литературы и приехавшего т. Лепешинского передовые рабочие Екатеринослава скоро стали замечать, что за блестящей фразой меньшевика, за красивой внешностью скрывается буржуазный подголосок, который, сам того не сознавая, осуществляет исторические задачи не пролетариата, а либеральной буржуазии.

С другой стороны, партия большевиков в глазах рабочих все отчетливее и яснее вставала как партия рабочего класса, которая, вооруженная самой передовой теорией, теорией революционного марксизма, ведет рабочий класс, как передовой отряд в революции, в союзе с крестьянством на непримиримую борьбу с самодержавием и капитализмом.

Рабочие заводских районов первые очнулись от кошмара, который на них навеяли меньшевики. Вновь возрожденный комитет большевиков получил в их лице базу и превратился снова в революционный штаб большевиков, опирающийся на армию заводских рабочих.

Тов. Лепешинский, т. Н-а, проявившая способности видного партийного работника, инженер Маковский, тт. Сергей, Роман, Н., Немец в комитете боролись с большим успехом против меньшевиков.

Одновременно [illegible]от процесс шел по всей линии, и большинство организаций партии мало-помалу становилось на точку зрения большевиков.

Тов. Матрена, как полагается большевику, сознал свои ошибки и направил меня из Киева опять в Екатеринослав. Передав оставшиеся у меня связи с рабочими на Чечеловке, в Амуре и Нижнеднепровске, я в феврале 1905 г. уехал на партийную работу в Одессу.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

ОДЕССА.

Прошло двадцать пять лет с тех пор, как летом 1905 г. я в Одессе работал в Одесском большевистском комитете РСДРП. За длинным рядом протекших годов этот город вырисовывается перед моим взором, как в тумане, как отличный во многом от Иваново-Вознесенска, Твери и Екатеринослава.

В самом деле, здесь не попадали на глаза тотчас по приезде еще издалека очертания огромных красных кирпичных корпусов фабрично-заводских зданий. Черные хвосты дыма не застилали в этом городе, как тучи, неба. Высокие фабричные трубы, изрыгавшие их, стыдливо прятались кое-где на задворках. Зловещее зарево огней металлургических заводов не вспыхивало внезапно и не озаряло мрачным светом ночное небо.

Одуряющей тишины, томительного однообразия, в которых задыхался человек в провинциальных городах, затерянных в середине равнин России, здесь не замечалось.

Приморский берег с красивыми, богатыми дачами на Ланжероне, Аркадии и на Фонтанах, широкие, разбитые по плану, вымощенные улицы с удобными тротуарами, аллеями каштановых деревьев и акаций, высокие шестиэтажные дома с особой новейшей архитектурой — все говорило и напоминало о какой-то иной, отличной от русской, жизни, протекающей где-то, далеко в заграничных странах.

Все казалось более ярким и красочным в Одессе, расположенной на берегу, омываемом волной чарующего взор Черного моря.

Между тем внимательный взгляд за внешним блеском города, построенного по европейскому образцу, открывал в конце концов что-то совершенно чуждое нам, русским революционерам, что-то, пропитанное мещанством. Перед более пытливым взглядом завеса раскрывалась на ужасную тайну, висевшую над Одессой. Время от времени глухие заметки в газетах намекали о сохранившейся еще в XX веке торговле рабами, которой занималась одесская буржуазия, снабжавшая гаремы и дома терпимости Константинополя и других городов Запада и Востока женщинами из России.

Внизу под городом в морском порту, переполненном босяками, протекала другая, своя особая отделенная от города жизнь. Здесь грузчики, которых тяжелая работа обрекала на беспросветную жизнь, прозябали и медленно гибли от ужасных условий работы и жизни и от пьянства, в котором они мечтали забыться, в котором топили свое горе.

В городе под влиянием социал-демократической пропаганды передовые из еврейских рабочих-ремесленников все более приходили к выводу, что лишь в социалистическом строе, к которому стремится рабочий класс вместе со всеми угнетенными, гонимый и преследуемый еврейский народ найдет себе спасение и избавление.

За Пересыпью, в каменоломнях под землей, где добывался „одесский камень", из которого выстроены все дома и дворцы в Одессе, среди рабочих издавна таилось и накоплялось, зрело и нарастало революционное настроение.

Сюда с моря с трупом убитого царским офицером матроса Вакулинчука в июне 1905 г. пришел первый революционный броненосец „Потемкин", наведший стальные жерла своих двенадцатидюймовых пушек на царизм, капиталистов и на помещиков.

Пораженный изумлением, с необыкновенным вниманием следил весь мир за грозным броненосцем, на котором впервые матросы осуществили союз рабочего и крестьянина и доказали, какую силу может представить этот союз.

Стоял конец февраля. Хотя снега уже не было, но тем не менее было еще холодно. Несмотря на это, море синело и манило своей далью и пленяло мой взор своей красотой, когда я шел в редакцию газеты „Южное Обозрение", где у т. Соколовского была партийная явка. Выслушав от меня условленный пароль, кажется „Шах персидский", и ответив мне соответствующим образом, удостоверившись, с кем он имеет дело, он направил меня сначала к Анне Михайловне Вржосек. Через последнюю я познакомился с секретарем комитета т. „Дяденькой" (Лидией Михайловной Книпович), а затем и т. Осипом (Константином Осиповичем Левицким), главной теоретической силой комитета и руководителем всей работой по организации агитации и пропаганды и по работе в „общественной и интеллигентской секциях", через которые комитет получал квартиры для собраний и денежные средства.

Почти в каждом городе можно было еще встретить видных членов нашей партии, у которых постепенно вошло в привычку окружать себя товарищами, собиравшимися ежедневно на их квартире и там решавшими за чашкой чаю все партийные вопросы. Этот обычай сложился в период борьбы с „величайшим разбродом и шатанием марксистской мысли" в виде экономизма и рабочедельчества, когда такие беседы с отдельными товарищами и с группами товарищей по вопросам теории и тактики имели огромное значение.

Но все проходит. Прошел и этот период завоевания отдельных революционеров-марксистов для организации „Искры". Искровцы давно перешли к работе в рабочих массах. При таких условиях этот обычай при подпольной работе, поскольку он сохранялся, не только не мог быть полезен, но наоборот.

То же самое замечалось и в Одессе, где т. „Дяденька" (Лидия Михайловна Книпович) горько жаловалась, что многие товарищи продолжали собираться у т. Осипа (Константина Осиповича Левицкого), за квартирой которого следила охранка и где товарищи по старой привычке проводили время, ели, пили, обедали, ужинали и спорили и решали все мировые вопросы. Такого рода патриархальность, как своеобразное проявление отсталости, не нравилась вновь приезжавшим товарищам и была одной из причин недовольства комитетом (см. приложение № 7).

ПЕРЕД ПРИХОДОМ „ПОТЕМКИНА".

Мой приезд в Одессу совпал с кризисом Одесского комитета на этой почве. Дело дошло до того, что периферия вынесла ему недоверие [1]. Комитет обвиняли в том, что он не справляется с работой по постановке агитации и пропаганды и выпуску листков в том размере, как этого требовало все разраставшееся рабочее революционное движение.

Недовольство комитетами наблюдалось в это время в России всюду. Комитеты нашей партии, бедные материальными средствами и людьми вследствие массового отхода партийной интеллигенции к меньшевикам, не имели полной возможности удовлетворить все растущий спрос на подпольную литературу, поставить агитацию и пропаганду на ту высоту и в том размере, как этого требовал рост стачечного и революционного движения рабочих в России.

Одесса поэтому не являлась счастливым исключением из этого правила. Комитет здесь, представлявший собой большевистскую цитадель, в то время когда большевистский ЦК обнаруживал известные колебания и являлся примиренческим по отношению к меньшевикам после раскола в партии на II съезде партии, — в этот момент (лето 1905 г.), оставаясь хранителем революционных традиций большевизма, отставал все-таки от требований, которые предъявляло к нему растущее рабочее движение, на подпольные листки, на литературу, на постановку агитации и пропаганды.

Носителями недовольства являлись главным образом товарищи, для которых неясны еще были причины раскола на II съезде, которые не видели в то время большой разницы между большевиками и меньшевиками, которые при виде страшной в то время силы самодержавия и капитализма и ничтожного, в общем, количества социал-демократов-марксистов, борющегося против него, считали

[1] Приложения № 3, 6 и 7.

раскол между большевиками и меньшевиками в лучшем случае прямым безумием и определенно высказывались за примирение с меньшевиками.

К числу последних принадлежали тов. Афанасий, а затем и Михаил, члены Одесского комитета.

Общая отсталость комитета сказывалась и на районах [1]. Так, в Дальнике, Фонтане, Вокзале, где комитет поручил мне работу ответственного организатора, вся организация состояла из девяти человек: из 6 рабочих-централистов, 2 интеллигентов-подорганизаторов и меня. Не было ни общерайонного, ни заводских центров. Не имелось групп агитаторской, технической. Так называемые „связи" имелись по одному рабочему и далеко не на всех заводах района. (Письмо Мохова, „Пролетарская Революция", № 12, 1925 г.)

Такая организация пригодна была для ведения массовой агитации посредством листков, для подкидывания которых достаточно было иметь и по одному рабочему на завод. Но она далеко не была достаточна для проведения массовых забастовок, демонстраций и вообще для более широкой массовой работы. Это сознавалось всеми, особенно при необходимости вести борьбу с меньшевиками, умевшими часто перегонять нас в технике работы. Этим также объясняется то недовольство комитетом, которое наблюдалось в „периферии".

Такая картина организации меня, впрочем, не удивила. Всюду, куда я ни приезжал за эти три года, т. е. 1903, 1904 и 1905 гг., я наталкивался часто на почти полное отсутствие организации, причиной которого надо считать постоянные обыски, аресты, высылки. Наконец, начавшаяся слежка со стороны шпионов охранки заставляла многих товарищей торопливо уезжать, не дожидаясь ночного визита жандармов или ареста на улице, за которым неизменно надо было быть готовым к долгим месяцам тюрьмы и к Сибири.

Иногда разгром организации производил такое впечатление, что как будто здесь прошли полчища Мамая или Батыя, не оставившие камня на камне.

Приходилось снова поднимать упавший дух рабочих, борцов за социалистический строй, снова заниматься кропотливой работой собирания, сплачивания, создавания заново организации. Очень часто плоды упорных трудов, целых месяцев работы, колоссальной затраты энергии рушились опять в один миг благодаря провокации и внезапному налету полиции.

Я с головой ушел в работу по воссозданию организации на Дальнике, Фонтане и Вокзале. При помощи „Миши" (тогда 16-летнего юноши), З., Василия, „Столяра" и других рабочих,

[1] Приложения № 1, 2 и 3.

фамилии которых я уже позабыл, и двух подорганизаторов-интеллигентов, Лазуркиных, Миши и Сони, пропагандиста Серговского, интеллигента, бывшего семинариста, из Твери и пропагандисток: Наташи (Громовой), Горшковой, Тулячки и других удалось к всеобщей забастовке, начавшейся в первых числах мая, создать на Дальнике, Вокзале и Фонтане „районный центр“ из десяти товарищей для руководства работой всего района. В последнем создано было кроме того два центральных кружка, из которых один кружок руководил партийной работой на Дальнике, на десяти заводах. Другой центральный кружок охватывал заводы и фабрики Вокзала и Фонтана. На каждом из заводов, поскольку мы на них укреплялись, мы создавали тоже центральный кружок, руководивший работой всего завода и совмещавший в себе и политическую и профессиональную организацию.

Как видно из моего отчета „Отчет ответственного организатора Дальника, Вокзала и Фонтана“, обнаруженного в переписке Н. Ленина и Н. К. Крупской с одесской организацией, наша организация в Дальницком районе имела „связи“ среди рабочих на 22 заводах и фабриках, на большинстве которых имелись центральные кружки (группы). Передовые рабочие, члены центральных кружков и групп, назывались „централистами“ и „групповиками“. Чтобы облегчить их работу, проведено было своего рода разделение труда. С этой целью мы сняли с централистов обязанность самим отправляться за подпольной литературой и прокламациями для распространения, освободили их от необходимости носить ее на себе, хранить и распространять, как это наблюдалось раньше, и передали это дело особой технической группе. Работа последней имела чрезвычайно важное значение для организации. Она заключалась в распространении и расклейке прокламаций и другой литературы. Эта работа часто требовала много революционной преданности и смелости и вырабатывала в участниках ее конспиративные навыки. Очень многие вновь завербованные рабочие, прежде чем сделаться „центровиками“ и „групповиками“, начинали свою революционную деятельность в технической группе.

Что касается „центровиков“ и „групповиков“, то на них лежала главным образом обязанность ведения агитации, пропаганды, завязывания связей, укрепления организации, создания „летучек“, кружков, массовок, митингов, „самообороны“ (от еврейских погромов), политических клубов и забастовок. Важное значение играли для организации „явочные“ и „сносные“ квартиры. Первые являлись штабом района, особенно во время забастовок. Отсюда рассылались агитаторы, отсюда рабочие направлялись снимать те фабрики и заводы, которые еще работали, здесь составлялись бюллетени, стачки, писались листовки. На сносную квартиру техника (подпольная типография) доставляла подпольные листки, откуда их забирали члены технической группы для распространения по заво-

дам и фабрикам. Такой явочной квартирой служила квартира дантиста Соловья, врача Левинсона и тов. Васильевской.

В апреле и мае 1905 г. Дальницкий район принужден был уделить, когда угрожала опасность еврейских погромов, много времени организации „самообороны", носившей, впрочем, главным образом характер агитации против погромов. Недостаток оружия, неумение обращаться с последним, незнакомство с техникой военного дела, — все это явилось препятствием для организации настоящей самообороны.

Недостаток квартир и временами полное их отсутствие не дало нам возможности организовать политические клубы и вообще ставило организацию и даже комитет, за невозможностью собраться, прямо в безвыходное положение [1].

Но несмотря на все трудности, все-таки летом 1905 г. Дальницкий район, а за ним и другие районы переходили с большим или меньшим успехом к новым типам организации, более приспособленным для руководства начинавшимся массовым революционным рабочим движением.

Вопрос, где собраться, таким образом, очень часто вставал перед нами.

— Нет совершенно квартир, которые не были бы провалены и за которыми не было бы установлено слежки, — говорил я однажды тов. З.

— Разве на Ланжероне или на Фонтанах устроим собрание?

— Нельзя ни там, ни тут собраться. Полиция очень следит там.

— Где же, наконец, мы соберемся сегодня? — воскликнул я.

— Знаете что, пойдемте в порт. Там на моле босяки постоянно целыми кучами собираются. Попробуем собраться там.

Мы спустились вниз по одному из спусков, по мостовой которого навстречу нам двигались тяжело нагруженные возы. Мы прошли мимо складов. Здесь воздух был насыщен специфическим, присущим портам, запахом смолы, пеньки, морской воды, гниющих фруктов и пылью от проезжавших возов. Здесь шумел элеватор, двигался паровоз на эстакаде, скрипели и визжали лебедки, грузчики носили на себе двадцатипудовые ящики, разгружая и нагружая корабли, приходившие сюда из всех стран света.

Мы прошли мимо всего этого движения и шума и вышли, наконец, на волнолом.

Отсюда открывался великолепный вид на море, над которым голубым шатром висело небо с бегущими по нем белоснежными облаками; слышался непрекращавшийся шум разбивавшихся о камни волн. Над синевато-зеленоватой поверхностью моря взлетали с криком белые чайки. Все было очень красиво. Я засмотрелся

[1] Приложение № 2.

в морскую даль. Вдруг, оглянувшись, я увидел группу босяков, черным видением выделявшуюся на фоне этой красоты. Они были оборваны, босы и отвратительно и грубо ругались. Лица многих отражали на себе последнюю степень человеческого падения. Еще более поражало,—что они сидели, лежали, пили и ели рядом с большими кучами человеческого кала, издававшего зловоние. Мне бросилось в глаза, что чем красивее открывался вид на море, тем более это место было загажено этими вонявшими кучами.

— Чорт знает, что такое!—выругался тов. Миша.—Тут сплошной клозет. Здесь невыносимо пахнет. Меня уже тошнит. Тут совершенно невозможно собираться.

— Вишь, барин нашелся, жидовская морда,—обругал его один босяк.—Не по ноздре, вишь, пришелся им наш мужицкий дух! Шляется тут тоже сволочь всякая! Бока наломать вам надо. Не ндравится, так не приходите сюда!

— Уйдемте отсюда,—шепнул мне Миша.—Не стоит их задирать. Начнется драка, так еще в море сбросят. С них станет...

Мы ушли, провожаемые косыми взглядами, которые бросали на нас босяки.

— Как же быть?—спрашивал я тов. Мишу.—Где же нам собраться?

Миша задумался.

— Плохо дело,—произнес он.—Квартиры все провалены. Да! да!—воскликнул он.—Я нашел выход. Я совсем было забыл. Пойдемте к Спире Магдичу. У него два рыбачьих баркаса. Придется попросить его и собраться на море верстах в пяти от берега. Мы отъедем под видом как бы на рыбную ловлю.

Так сложились обстоятельства, что в назначенный час к Спире явились всего один Саша Вокзальный да я.

Тов. Спира Магдич, которого безработица заставила заняться рыбаченьем, видимо, полюбил это дело и проводил все время или далеко в море или на берегу в шалаше.

Отправляясь в море в поисках рыбы, Спира забирал с собой боченок с питьевой, или, как он говорил, „сладкой водой“ в отличие от горько-соленой морской, и соответствующее количество провизии. В обеспечение себя от внезапных шквалов, которые переворачивали беспалубные маленькие рыбачьи баркасы, как ореховую скорлупу, в килевое отверстие, поднимавшееся до высоты борта узкой трубой, просовывалась широкая доска, сколоченная из ряда узких досок, шириной не меньше чем в аршин и длиной в сажень. Такое удлинение киля в открытом море делало лодку устойчивой, когда начиналась буря. Понемногу Спира отставал от движения, так как дальние поездки—верст за тридцать от берега, на несколько дней и даже на неделю, отрывали его от революционной работы, требовавшей постоянного участия в ней.

Не видя его ни на явках ни в кружках, товарищи понемногу забывали о нем и вспоминали лишь тогда, когда требовалось на баркасе уехать в море.

— Не стойте на берегу, — сказал мне и Саше Спира. — Шпики здесь шныряют. Садитесь в баркас и айда в море! Если подойдут другие товарищи, я подвезу их на другом баркасе.

Саша Вокзальный, как все одесситы, умел хорошо управлять парусом, итти на веслах и плавал, как рыба. Отъехав версты за три от берега, опустив парус, он тотчас разделся и прыгнул в море. Он нырял, ложился на спину, кувыркался в воде, фыркал и плавал стоя.

— Идите в воду! — кричал он мне. — Поплывем вместе наперегонки, кто дальше, кто быстрее, туда!.. — и он указал рукой дальше, в открытое море.

— Я не умею плавать, — ответил я. — Я останусь в лодке.

Какая-то радость, как мне показалось, на миг вспыхнула на его лице при моих словах. Но, может, мне это только показалось? Я смотрел на голубое небо, на синее море, на дельфинов, показывавшихся на поверхности воды и снова скрывавшихся в ней. Я всматривался в очертания далекого берега. На фоне величавой картины моря, которое внушало мысль о бесконечном, о вечном движении в природе, мне стало досадно, что я не обладаю уменьем плавать, плясать, играть на скрипке, на гармонике.

„Хорошо бы, — думал я, — уплыть, как он говорит, „туда", — кто дальше, кто быстрее!.."

Саша, тем временем ловким движением ухватившись за борт лодки, снова вскочил в нее. По его телу каплями, в которых отражались лучи солнца, катилась вода. Видя, что я сижу поглощенный своими мыслями, он опять как-то странно взглянул на меня. В его взоре, как мне показалось, промелькнуло вдруг что-то черствое, жесткое, звериное... Тотчас, еще неодетый, с выражением лица, которое говорило, что он решился на что-то скверное, он вдруг схватил меня обеими руками и поднял вверх с явным намерением бросить в море. Инстинктивно я, почувствовав опасность, мгновенно одной рукой схватился за мачту баркаса, а другой вцепился в его горло.

— Брось, Наум, — прошипел он, опуская меня на дно лодки, — я пошутил, хотел поучить вас плавать. А впрочем, хорошо, что вы русский, не жид, а то, пожалуй, все-таки я вас утопил бы. Да полно, полно, я шучу, — говорил он, видя, что я больше всего рассердился не за его намерение бросить меня в воду, а за слово „жид", произнесенное им.

Думал ли он на самом деле меня утопить, остановил ли его другой баркас Спиры, отваливший в это время с подошедшими пятью товарищами и тов. З. в том числе, был ли он уже в это время провокатором, — остается неизвестным.

Я не придал этому серьезного значения. Я объяснил все это грубой шуткой, на которую были еще способны некоторые рабочие. Ничто в нем в это время не говорило о его близости к жандармам, на что определенно указывает статья тов. Ачканова (одесский сборник Истпарта 1905 г., стр. 53), где говорится, что Иван Лазарев, железнодорожник-провокатор, раскрыт только в 1917 году. Он покончил самоубийством в Екатеринославе в 1912 году.

Когда началась забастовка в Одессе, расширенная и улучшенная организация района справлялась с работой настолько хорошо, что Дальницкий район высказался против объединения с меньшевиками и Бундом, потому что у меньшевиков на заводах, где происходили стачки, и во всем Дальницком районе, кроме Вокзала и фабрики Вальтуха, не имелось никаких связей среди рабочих. Во время забастовки наши агитаторы принуждены были выступать почти открыто у заводов, в трактирах, в Городском саду, на Балковской улице — всюду, где собирались рабочие. При строгом запрещении сходок, при яростном преследовании со стороны полиции и жандармов, охотившихся за революционерами и разгонявших собрания за городом при помощи казаков, удалось провести два митинга, насчитывавших по 200 человек собравшихся.

Таким образом одесская организация нашей партии представляла собой нечто переходное от старой организации, ограничивавшейся лишь выпуском листовок и работой в кружках, к новой, организовывавшей летучки, массовки, демонстрации, митинги, ведущей работу в массах и готовящейся к вооруженному восстанию для свержения самодержавия и установления диктатуры пролетариата и крестьянства.

Организация, созданная в апреле — мае 1905 г. на Дальнике и в других районах Одессы, пригодна была все-таки, в лучшем случае, проводить всеобщие забастовки, устраивать демонстрации, организовывать летучки, массовки, митинги и кружки пропаганды и до известной степени пытаться создать так называемую „самооборону". Для проведения вооруженного восстания, особенно по использованию восставшего броненосца „Потемкин", пришедшего в Одессу вечером 14 июня, она совершенно не была готова.

Впоследствии оказалось, что даже для проведения забастовок она была недостаточно сильна, так как не смогла продолжать работу при наличии провала и арестов, отсутствия квартир и денег, как это имело место в конце мая и начале июня 1905 г.

Одесский комитет состоял из пяти лиц. Один из них руководил „техникой" (составление, печатание и распространение листовок и нелегальной литературы), второй — общественной секцией, третий — интеллигентской секцией, четвертый секретарствовал, пятый представлял собой организатора всего города и руководил пропагандой, агитацией и интеллигентско-литературной группой.

В мае 1905 года, помимо постановки агитации, пропаганды,

организаторской работы, огромную роль играла так называемая „общественная секция", работавшая среди буржуазной интеллигенции. На обязанности последней лежало снабжать комитет квартирами для собраний и денежными средствами. По мере того как расширялось рабочее революционное движение, втягивавшее в себя все большее число активных работников, не имевших возможности найти заработок, все большие суммы денег надо было добывать и для содержания этих товарищей и для все усиливавшегося спроса со стороны рабочих на подпольные листки и на нелегальную литературу.

Таким образом от товарища, заведывавшего общественной, интеллигентской секцией, зависело, будет ли в распоряжении комитета такая квартира, которая еще не известна полиции, где поэтому можно было бы собраться с полной уверенностью, что не нагрянут жандармы и не переарестуют всех; будут ли у него деньги на дальнейший выпуск листовок и на содержание товарищей, лишенных возможности найти заработок.

Стачка разразилась как раз в тот момент, когда с наступлением лета разъезжалась из Одессы та часть либеральной буржуазии и интеллигенции, среди которой происходили сборы денег в пользу партии. Вышло так, что ряд причин, как болезнь, необходимость лечиться и начавшаяся слежка заставили даже и тт. Левицких, в руках которых были все связи по собиранию денег, покинуть на лето город.

Отъезд тов. Левицкого (Осипа), его заявление, что денег нет и не будет надолго, в то время, когда из конкуренции с меньшевиками, ухитрявшимися выпускать листок рабочим не реже раза в неделю, мы дозарезу нуждались в деньгах не только на содержание, но и на постановку новой „техники", ввиду провалившейся старой, — все это поставило нас в почти безвыходное положение и было равносильно внезапно разорвавшейся бомбе.

Необходимо указать, что Левицкие[1], у которых постоянно товарищи пили и ели, обедали и ужинали, были настолько преданы революции, что тратили на революцию, на партийную работу, на поддержку товарищей, на содержание подпольной типографии, на печатание листков не только то, что они собирали среди буржуазии, но и большую часть своего заработка. Тем более не заслужены были упреки со стороны кое-кого из примиренцев, обвинявших в лице тов. Левицкого комитет в недостаточной работоспособности. Выдержавший на своих плечах всю тяжесть борьбы с экономизмом, рабочедельчеством и меньшивиками и воспитавший в большевистском духе ряд товарищей, тов. Осип принужден был уйти из комитета[2] и уехать. Главною причиною его отъезда надо считать начавшуюся за ним слежку.

[1] См. Приложения, письмо № 6.
[2] См. Приложение № 6.

Отъезд тов. Осипа из Одессы и замена его тов. Михаилом (Томичем) ухудшили положение одесской организации. Поскольку тов. Осип представлял собой выдержанного, стойкого большевика, на которого можно было положиться, постольку тов. Михаил в тяжелые минуты жизни организации оказался дряблым, нестойким. Его склонность к примирению с меньшевиками оказалась роковой и гибельной, особенно во время прихода в Одессу „Потемкина".

Наше положение в момент сильнейшего напряжения работы, в мае 1905 года, по проведению стачки оказалось чрезвычайно тяжелым. Отсутствие квартир для собраний даже комитета, полное безденежье ставили почти непреодолимые преграды для работы, обрекли на настоящую голодовку даже членов комитета, получавших в это время по 4 коп. в день на содержание, и принудили многих рабочих-централистов и групповиков навсегда покинуть Одессу для приискания заработка в другом месте.

Таким образом в то время как рабочее революционное движение в Одессе все более приобретало массовый характер, когда оно начинало выходить из тесных рамок кружка, — в это время работа, ее размах тормозились отсутствием у комитета и денег и квартир.

Однажды во время стачки я шел по Молдаванке. Вдруг мое внимание было привлечено довольно необычной процессией. Медленно, почти шагом, мимо меня проехало около десяти извозчиков. На ступеньке пролетки каждого из них стоял огромного роста дворник и, держа левой рукой за шиворот арестованного еврея-рабочего, правой изо всей силы бил его. Видно было издали, как десять рук, как цепы на молотьбе, то поднимались, то опускались, нанося жестокие удары по лицу, по зубам, по глазам избиваемых. Тяжело было смотреть, как корчились и извивались избиваемые, издавая жалобные крики. Кровь лилась ручьем по их лицам, у многих из них были выбиты зубы; несмотря на это дворники-звери продолжали без всякой жалости избивать их своими огромными, пудовыми кулачищами.

— Ах, боже мой, да как их сердечных бьют, — невольно сказала стоявшая неподалеку женщина. — За что это их?

— Ничаво! — ответил ей проходивший мимо городовой. — Это им за забастовку; пусть прокламации эти не пущают! Для острастки это, чтобы другим неповадно было, — пояснил он.

Полиция действительно организовала эту ужасную процессию для устрашения еврейского населения, которое она, очевидно, считала единственно виновным в происходящей забастовке.

Вообще трудно себе представить более близорукую, бессмысленную, дикую политику, чем политика преследования даровитой еврейской народности.

Создание при Александре III черты еврейской оседлости, ужасные еврейские погромы, начавшиеся еще при его отце, Алек-

сандре II, ограничение приема в высшие и средние школы, — все это неуклонно революционизировало еврейское население, не только еврейских рабочих, но и еврейскую интеллигенцию и даже средний класс.

В то же время еврейское население юга России, под влиянием лучших сторон русской культуры быстро теряло специфические черты еврея еврейской оседлости, по внешнему виду сливалось с коренным русским населением и начинало, как полагают, даже ассимилироваться.

Погромы, начавшиеся в 80-х годах и сопровождавшиеся зверствами, изнасилование еврейских женщин и убийствами обездоленных, беззащитных евреев, произвели полный перелом в настроениях еврейской интеллигенции. Глупая, дикая политика царского правительства по отношению к евреям, ставившая всевозможные препятствия слиянию еврейского населения с русским, создание знаменитой черты еврейской оседлости, где особенно тяжелым было положение еврейских рабочих, обязательства для евреев называться старыми еврейскими именами, ограничение права поступления в высшие и средние учебные заведения (процентная норма), сужение дозволенных для евреев занятий, аресты, ссылка в Сибирь и т. п. толкнули еврейскую интеллигенцию в усиленную революционную деятельность. Поэтому революционные настроения в еврейской среде не представляли собой чего-либо прирожденного евреям, как об этом пишут реакционные писатели, как вековая покорность русского крестьянина, в свою очередь, не представляла собой черту, прирожденную исключительно русскому.

Так в свое время страшный гнет поднял, в конце концов, русского рабочего и крестьянина на борьбу против царя, помещика и капиталиста, так и ужасные, дикие, не имеющие никакого оправдания преследования евреев и бесчеловечные погромы толкнули лучших из еврейской интеллигенции и еврейских рабочих в русское революционное движение, на борьбу за строй, при котором не будет иметь места ни национальная вражда, ни угнетение человека человеком.

Тов. Михаил (Томич), заменивший тов. Левицкого, был прислан из большевистского центра, как достойный доверия товарищ и как выдержанный большевик. На деле все эти характеристики его не оправдались. На практической работе он оказался плохим организатором, не сумел поставить агитацию и пропаганду на должную высоту. В идеологическом смысле он, в противоположность тов. Левицкому, занимавшему твердую позицию по отношению к меньшевикам, по отношению к последним не шел дальше малосознательных рабочих, т.-е. он высказывался за примирение с меньшевиками [1]. Переворот этот с ним произошел не сразу, а посте-

[1] Приложения № 1, 2, 3, 4, 7, 9.

пенно, и в особенности в моменты напряженной борьбы, как всеобщая забастовка и приход в Одессу через месяц после забастовки броненосца „Потемкин".

Кроме отсутствия квартир и денег, с которым пришлось считаться после отъезда тов. Левицкого, положение ухудшилось в связи с арестом всей Дальницкой организации 2 июня и болезнью части членов комитета. Захворала „Дяденька", вообще слабая здоровьем. Приблизительно 30 мая вдруг неожиданно захворал серьезно и я. У меня начался на почве изнурения организма сильный воспалительный процесс в обоих глазах, и врач посадил меня под опасением потери зрения в темную комнату [1]. Вследствие всего этого на оставшихся двоих примиренцев в комитете — Михаила и Афанасия, если не считать тов. Тараса, — оказался всего один большевик—рабочий Хрусталев, Василий Алексеевич (кличка — тов. Тимофей), организатор Пересыпского района.

Кроме того, положение осложнялось еще тем, что заводские районы, как Дальницкий с Вокзалом, Фонтаном, Пересыпский район, решавшие положение в Одессе, отставали по сознательности и революционному настроению от Городского района, ремесленного и поэтому не игравшего существенной роли в движении. Среди рабочих заводских районов не изжиты были традиции экономизма и зубатовщины в виде остатков последователей Шаевича — агента Зубатова в Одессе. Надо указать также на антисемитизм, с которым приходилось считаться и который особенно силен был в порту. Так обстояло дело в Одессе.

Вообще Одесса, как город торговый по преимуществу, с малочисленным пролетариатом, с национальной рознью среди последнего, с большим сравнительно количеством босяцкого и полубосяцкого элемента среди рабочих-грузчиков порта, не могла выдвинуть собственные революционные силы, которые позволили бы ей занять положение таких революционных центров, какими были в 1905 г. Питер, Москва, Харьков, Кавказ и Прибалтийский край.

Блеск и фееричность революционного движения в 1905 г. Одесса получила поэтому не из внутренних, собственных революционных сил, а извне, вследствие совершенно случайного прихода в Одессу восставшего броненосца „Потемкин". Как известно, революционные организации Одессы не нашли достаточно сил, чтобы во-время и умело использовать этого могучего революционного союзника для захвата Одессы, для поднятия восстания во всей Черноморской эскадре, захвата всего Черноморского побережья и установления Южно-русской демократической республики.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАСТРОЕНИЕ МАТРОСОВ В СЕВАСТОПОЛЕ.

Для того чтобы понять те широкие возможности, которые безусловно открывало для революции в России удачное восстание

[1] Приложения № 2, 5, 8.

в Черноморском флоте, начавшееся у одесских берегов, необходимо перенестись в г. Севастополь — базу Черноморского военного флота.

Революционное движение на юге России, стачки, демонстрации, кровавое воскресенье 9 января 1905 г., — все это неизменно влияло революционизирующим образом на матросов Черноморского флота. Офицерский состав последнего, во всей России по преимуществу из дворян по происхождению, не склонен был замечать несомненный рост человеческого достоинства в матросской среде, которое неизменно повышалось, поскольку росла и усиливалась пропаганда революционных идей и в особенности идей революционного марксизма.

Офицеры царского флота продолжали смотреть на матроса глазами помещика-дворянина, как на существо, стоящее во всех отношениях бесконечно ниже офицерской среды и которым можно было, по их мнению, управлять лишь при помощи кулака, кнута и палки [1].

Характерен приказ адмирала флота во Владивостоке, как подтверждающий такое отношение офицеров к матросам. Он гласил: „Вход в сад собакам и матросам и нижним чинам воспрещается!".

Адмирал Чухнин, сменивший слишком „мягкого" по отношению к матросской среде адмирала Скрыдлова, в свою очередь, запретил матросам и вообще нижним чинам проходить по Морскому бульвару и по двум главным улицам города Севастополя. Офицеры, ловившие матросов в запретной для них зоне, страшно издевались над ними и наказывали их.

Немудрено, что глумление над личностью матросов, избиения, калечение — все это вызвало глубокую ненависть матросов к офицерам.

Чем чернее ночь, тем сильнее жажда рассвета. Революционное настроение стало неизменно проникать и расти среди матросов. Терпение их лопалось. Как доказательство этого имел место разгром офицерских квартир в конце 1904 г., за который пошли на каторгу шесть зачинщиков.

В 1905 г. озлобление против офицерства становится в Севастополе настолько сильным, что офицеры начинают побаиваться появляться в единственном числе на Корабельной стороне Севастополя, где жили рабочие. Одновременно растет и сознательность матросов — настолько, что в одной резолюции, принятой матросами в Севастополе, они называют РСДРП передовым отрядом рабочих.

Революционная пропаганда между тем все расширялась. Проснувшись утром, матросы находили в казарме, у себя под подушками, положенные неизвестно кем прокламации (слова матроса Орлова). Незадолго до восстания на броненосце „Потемкин"

[1] См. „Потемкинские дни 1905 г.", изд. „Пролетарий", стр. 30, 32.

командир корабля Голиков, руководствуясь, очевидно, сообщениями своих агентов, которые, несомненно, имелись среди матросов, доносил жандармскому полковнику: „У нас на судне все заражены революционной пропагандой, включая и унтер-офицеров" (Кирилл — „11 дней на „Потемкине").

РОЛЬ МЕНЬШЕВИКОВ.

Резолюция III съезда нашей партии о подготовке к вооруженному восстанию была принята в мае 1905 г., но уже в начале июня она находит прекрасное подтверждение своевременности ее даже в организации чисто меньшевистской, какой была севастопольская организация [1], но преимущественно среди матросов военного Черноморского флота. При таких в высшей степени благоприятных условиях для проведения до конца революции, стучавшейся уже в дверь, при тех возможностях, которые уже имелись у меньшевиков в Севастополе, становится ясна предательская роль меньшевиков в революции 1905 г., когда история давала им в руки небывалые возможности, которые они сознательно не хотели использовать.

Как свидетельствует сам вождь меньшевиков Мартов в своей книге „История РСДРП", стр. 114, меньшевики отнюдь не преследовали цели взятия на себя инициативы по общей атаке на правительство в 1905 году и ни в каком случае не стремились взять власть, хотя размах революционного движения на Кавказе, в Грузии и в Севастополе, в Черноморском флоте и в связи с этим и в Одессе давал им полную возможность довести революцию на юге России до полной победы.

Переход почти целиком всей марксистской интеллигенции после II съезда партии на сторону меньшевиков, денежные средства, которыми они располагали в большем размере, чем большевики, захват под свое влияние таких городов, как Севастополь, с таким горючим материалом, какой представляли собой матросы того времени, — все это давало меньшевикам возможность развить самое широкое революционное движение. На деле замечалось, что размах последнего меньшевики затем намеренно суживали и сокращали и сводили совсем на-нет. Нечто подобное произошло в начале июня 1905 г. в Севастополе и в связи с этим и в Одессе.

Революционное движение в Черноморском флоте в 1905 г. как бы наглядно подтверждало указание т. Ленина, данное еще

---

[1] В мае и июне 1905 г. в Севастополь прибыли и другие социал-демократы, главным образом меньшевики (В. Камшицкий — „1905 г. в Севастополе", стр. 18). Севастопольская организация была меньшевистской, и меньшевиками были Кирилл и Фельдман („Потемкинские дни на Черном море 1905 г.", изд. „Пролетарий", стр. 15).

в 1899 г. в резолюции против „Кредо“ Кусковой, что движущей силой в русской революции явится не буржуазия, как было во время Великой французской революции и как ошибочно полагали наши меньшевики, а союз рабочего класса и крестьянства. Состав матросов каждого броненосца был на одну треть из рабочих, большей частью металлистов и на две трети из крестьян. Как в свое время революционизирующе подействовало на русских офицеров при царе Александре I пребывание за границей, и в особенности в Париже, так в еще большей степени влияли на матросов дальние заграничные плавания. Ярко красочная жизнь, какой она казалась тогда в сравнении с жизнью в самодержавной России, в свободных странах Западной Европы казалось им сказочным сном. Произвол и самодурство офицеров-дворян на родине, в России, казарменный гнет, неудачная война на Дальнем Востоке, в особенности гибель двух эскадр русского военного флота под командой адмиралов Рождественского и Небогатова у японского острова Цусимы, когда с 14 на 15 мая 1905 г. японский адмирал Того в течение нескольких часов потопил корабли эскадры Рождественского, перегруженные углем, окрашенные в белый цвет и потому представлявшие хорошую мишень для прицела японских артиллеристов, и взял в плен без боя эскадру Небогатова, гибель при этом восьми тысяч русских матросов, — все это отразилось на матросах Черноморского флота революционизирующе. Более передовые из матросов не только не уважали адмиралов, командиров судов и вообще офицеров, — они презирали их и склонны были в каждом из них видеть таких бездарных тупиц, которые у берегов Англии английское рыбачьи суда принимали за японские миноносцы. Настроение передовых матросов неизменно передавалось всей матросской массе. Революционное настроение матросов клокотало, как пар в котле, и искало выхода. Большевистская резолюция III съезда партии о подготовке к вооруженному восстанию проникла, несмотря на все меньшевистские затворы, к матросам, и матросы социал-демократы стали деятельно подготовлять вооруженное восстание.

При этом, однако, было то, что, воспринимая такие большевистские лозунги, как, например, лозунг о вооруженном восстании, матросы Черноморского флота организационно оставались с меньшевиками. Подобные явления, впрочем, замечались и в других местах юга России во время революции 1905 г.

Севастопольский комитет меньшевиков, считаясь с ярко революционным настроением матросов, принужден был даже обсуждать план вооруженного восстания, которое должно было произойти в июне 1905 г., во время пребывания всей Черноморской эскадры у острова Тендры. Но верные своей тактике не брать на себя инициативы в таком серьезном деле, как восстание, меньшевики, хотя матросы-уполномоченные от „Потемкина“ просят в письме Севастопольский комитет дать сигнал к восстанию в первые дни учебного

плавания у берегов острова Тендры, на совещании с ЦК матросского совета добиваются решения, которым восстание откладывается до конца маневров у острова Тендры, а пребывание там проводится в усиленной пропаганде восстания.

Но подготовка восстания во всем Черноморском военном флоте вызывала бы, в свою очередь, подготовку к захвату всего Черноморского побережья и никак не могла бы миновать Одессы и Кавказа, где в Грузии власть в деревнях фактически была уже захвачена крестьянами. Если бы севастопольские меньшевики серьезно думали по окончании маневров у острова Тендры итти на восстание, они должны были бы осведомить хотя бы свои меньшевистские организации в Одессе и в других портовых городах по Черноморскому побережью, ибо победоносное восстание в военном Черноморском флоте означало бы образование Южно-русской демократической республики. В таком случае восставший броненосец, неожиданно пришедший 14 июня в Одессу, не застал бы врасплох прежде всего меньшевистскую группу, на явку к которой, как мне лично говорил один из видных участников восстания на „Потемкине", тов. Василий Кулик, поздно вечером с 14 на 15 июня явились делегаты от „Потемкина".

Поэтому объяснять неудачу восстания на броненосце „Потемкин" тем, что вообще план восстания всей Черноморской эскадры у острова Тендры был нарушен преждевременный вспышкой на самом „Потемкине", вряд ли приходится, и попытку дать такое объяснение вообще надо считать неудачной. Тем более что со стороны севастопольских меньшевиков, державших в своих руках нерв восстания, не делалось и не сделано было никаких серьезных приготовлений к восстанию. Вся беда и заключалась в том, что сердце восстания находилось в руках тех, которые совсем не имели в виду серьезно доводить дело восстания до конца. Говоря об усиленной пропаганде восстания, меньшевики в то же время не делали никаких попыток создать из матросов соответствующую железную организацию, которая могла бы это восстание довести до конца. Если командиру „Потемкина" еще до ухода в море были известны план и детали восстания на „Потемкине", трудно себе представить, чтобы все это не было известно также и Севастопольскому меньшевистскому комитету. Словом, деятельность меньшевиков в это время позволяет сделать более или менее верное предположение, что она сводилась к попыткам развеять по мелочам, свести на-нет революционное настроение матросов.

Словом, меньшевики в Севастополе и Одессе поступили в 1905 г. точно так же, как германские социал-демократы в Германии в 1919 г. Затем вообще меньшевики, своей „земской кампанией" откровенно превращавшие революционное движение рабочего класса в хвост буржуазного либерального движения, не питали особой веры даже в способность русского рабочего класса к роли

гегемона революции. Если они не верили в революционную мощь русского рабочего класса, тем более они не могли питать никакой веры в способность матросов к восстанию.

Отсюда — отсутствие всякой подготовки к проведению восстания. Лозунг: „будь готов поддержать возможное восстание, если оно вспыхнет в Черноморском флоте", не был дан таким важным портовым городам, как Одесса. Движению матросов к вооруженному восстанию, возникшему стихийно, без инициативы извне, со стороны меньшевистских организаций, в сфере влияния которых находились матросы Черноморского флота, предоставлено было в лучшем случае развиваться стихийно же.

Как не верившие в способность к восстанию матросов военного флота и не желавшие этого восстания, севастопольские меньшевики скрыли от других городов и в особенности от большевиков истинное состояние настроений матросов в Черноморском флоте. Поэтому известие о приходе восставшего броненосца в Одессу застало всех, и меньшевиков и в большей степени большевиков, врасплох. Что касается Одесского комитета, то ослабленный арестом всей организации на Дальнике, болезнью своих членов, арестом подпольной типографии, он находился на положении не только разгромленной жандармами организации, но и ослабленной переходом на сторону меньшевистской тактики по использованию броненосца со стороны тов. Михаила, тов. Тараса и тов. Афанасия; вследствие всего этого Одесский комитет фактически во время потемкинских дней оказался захвачен примиренцами, шедшими на поводу у меньшевика Еремы (Шнеерсона).

Восстание — искусство, говорил К. Маркс, и главное правило этого искусства — отчаянно-смелое, бесповоротно решительное наступление.

Посылая тов. Васильева-Южина в Одессу для использования в интересах революции восставшего броненосца, тов. Ленин давал ему следующий наказ: „Нужно действовать решительно и смело. В крайнем случае не останавливайтесь перед бомбардировкой правительственных учреждений. Город нужно захватить в наши руки".

В Одессе вместе с приходом броненосца создался один из тех редких случаев, когда все зависело от сильной личности, к тому же знакомой с военным делом. Если бы среди большевиков в Одессе на месте т. Михаила оказался такой товарищ, который действовал бы соответственно указаниям К. Маркса и тов. Ленина, все могло бы принять совершенно другой оборот. Но такого товарища не оказалось в „Объединенной комиссии", руководившей восстанием на берегу, в Одессе. Судьба броненосца, таким образом, оказалась в руках тов. Михаила, пошедшего по пути меньшевиков.

Подготовка к вооруженному восстанию предполагала две стороны: с одной стороны — психологическая подготовка, создание воли в широких массах рабочих к вооруженному восстанию; с другой —

стояла чисто техническая и стратегическая сторона восстания: формирование боевых групп, обучение военному делу и умению владеть оружием и выбор момента и места восстания. Для первой роли большевистская организация была вполне готова. К проведению же вооруженного восстания в таких широких размерах, как использование восставшего броненосца, она была совершенно не готова. Бесквартирье, безденежье, аресты одних товарищей, болезнь и отъезд других, фактический переход на сторону меньшевиков третьих в момент прихода „Потемкина", как это случилось с тов. Михаилом, — все это поставило Одесский комитет в совершенно невозможные условия.

Что касается меньшевиков и бундовцев, то они применили по отношению к броненосцу ту неумелую и нелепую тактику, которая годилась лишь для проведения всеобщей забастовки, но никак не для руководства вооруженным восстанием, управления действиями восставшего броненосца.

ТРАГИЗМ ВОССТАВШЕГО БРОНЕНОСЦА.

12 мая 1905 г. броненосец „Потемкин" ушел в учебное плавание к острову Тендра на Черном море. Восстание уже носилось в воздухе. Нужен был только предлог к нему. 13 июня матросы миноноски № 267, ездившие за мясом в Одессу, привезли известие, что в Одессе неспокойно, особенно на Пересыпи, где толпа забастовавших рабочих бросала камнями у завода Гена в казаков и остановила два поезда, заняв железнодорожную насыпь.

Попытка стихийно восстать имела место 14 июня в Одессе, когда толпа ремесленников Городского района с немногими студентами и большим числом подростков пыталась строить баррикады на Мещанской, Преображенской, Ришельевской и Успенской улицах. Были попытки разгромить ружейные магазины на Александровском проспекте. При столкновении с войсками и полицией, когда войска стреляли и казаки избивали прохожих нагайками, был убит околоточный надзиратель Толкачев. В 10 часов вечера около собора неизвестный анархист бросил в городового бомбу, при взрыве которой были убиты как сам анархист, так и городовой Павловский.

Вечером этого же дня на Одесский рейд прибыл восставший броненосец „Потемкин".

Как видно из статьи тов. Ачканова („Одесский сборник", 1905 г., стр. 53), рабочие Пересыпского района из солидарности с восставшими матросами на другой день, 15 июня, забастовали. Что касается Дальника с Вокзалом и Фонтаном, то рабочие заводов этого района не примкнули к забастовке в такой важный момент. Тов. Ачканов объясняет этот печальный факт арестом всей организации большевиков Дальника 2 июня, когда были арестованы

решительно все активные силы района на конференции района по обсуждению резолюций III партийного съезда. Как это видно из моих писем к тов. Ленину, конференция была созвана против моей воли. Я, опасаясь арестов, предлагал провести резолюцию о съезде более медленным, но верным путем, через отдельные кружки [1].

Восставший броненосец „Потемкин", имея на борту тело убитого матроса Вакулинчука, пришел в Одессу вечером с 14 на 15 июня.

Перед меньшевистской организацией, к которой пришли на явку делегаты от матросов „Потемкина", тотчас во всей остроте встал вопрос, что делать с броненосцем. Если следовать словам К. Маркса и тем заданиям, которые были получены тов. Васильевым-Южиным от тов. Ленина, то нужно было бы немедленно, не теряя ни минуты, не останавливаясь перед бомбардировкой правительственных учреждений и последующей высадкой десанта, как этого требовали матросы, занять город.

На такое отчаянно-смелое, решительное наступление со всеми его последствиями неспособны были ни меньшевики, ни бундовцы.

Между тем общее положение в Одессе для восстания и захвата города было тем более благоприятно, что в июне 1905 г. в Одессе не было тяжелой артиллерии. Войска, до известной степени разложенные, отправлены были в лагери в окрестности Одессы. Оставшиеся в городе были очень малочисленны и тоже заражены революционными идеями, проникавшими в казармы.

Вторым выходом из создавшегося положения для образованной меньшевиками „Объединенной комиссии" с.-д. организаций было попытаться потратить время в бесплодных разговорах, вроде тех, которые приводятся в моем письме: зваться ли Бунду Бундом или Всеобщим еврейским рабочим союзом, и на обсуждение предложения со стороны меньшевиков о подаче петиции городскому голове о легализации собраний и даже дойти до того, чтобы предлагать рабочим, собравшимся в порту 15 июня и ожидавшим развязки событий, не вооружаться, не готовиться к вооруженному восстанию для поддержки броненосца, нет, а просто разойтись по домам и ждать решительных действий со стороны броненосца (*Герасимов,* „Красный броненосец", стр. 38). Такая тактика ясно была гибельна. Она демобилизовала берег. Она не только не создала со стороны последнего никакой помощи броненосцу,— она осудила берег на печальную роль простого зрителя грозных событий.

ПИСЬМО ТОВ. МОХОВА.

Та редакция моего письма за подписью „Мохов", которая приводится в двух сборниках Украинского Истпарта изд. 1925 г.—

[1] См. приложение № 3.

о работе Одесской и Харьковской организаций 1905 г., которая приписывает Бунду такие решительные действия, как предложение бомбардировать город перед высадкой десанта, абсолютно неверна. Мой почерк и в 1905 г. отличался крайней неразборчивостью. Если добавить к этому, что моим неразборчивым почерком было написано письмо по условиям времени еще химией, то вполне понятно, что товарищи, разбиравшие письмо, с одной стороны, дали две различные редакции и, с другой, — допустили грубую ошибку по отношению к Бунду, приписав ему такую революционную инициативу, на какую эта мелкобуржуазная организация никогда не была способна.

Положение Одесского комитета большевиков в момент прихода в Одессу „Потемкина" также красноречиво обрисовывается в этом моем письме за подписью „Мохов": „Товарищи! Вы знаете, что два броненосца одно время предлагали свои услуги социал-демократам. Социал-демократические организации не могли использовать в интересах революции этот небывалый в истории случай. Как это произошло? А вот как. Одесский комитет переживал последнее время тяжелые времена. Общественная секция оставила его без денег. У него провалилась техника. Провалились лучшие заводские организации по Дальнику. В самом комитете появились партии левая и примиренческая. Да будет последняя проклята! Представителем последней являлся товарищ, которого вы хвалили (маленький, черненький) (Михаил. — *А. Ш.*). Он оказался проклятием нашего города. Он мнит себя выше всех, никому не доверяет, везде сует нос и в результате только портит. Его возненавидели все рабочие. Он, не имея полномочий, когда узнал о броненосце, побежал к меньшевикам и Бунду. Собрал собственной инициативой „Объединенную комиссию" трех организаций. Послал на броненосец самого непопулярного и самого неспособного товарища из комитета лишь потому, что он — примиренец. Соединенная комиссия совершила непростительную ошибку, решив управлять действиями броненосца с берега. В первый день она потратила 6 часов дорогого времени на то, как назвать Бунд — Бундом или Всеобщим еврейским рабочим союзом. Матросы в первый день предлагали бомбардировать город и затем высадить десант. Представители организаций высказались против бомбардировки, находя это жестоким. Тогда матросы отказались, и вполне разумно, высадиться до прихода остальной эскадры. Затем 2–3 дня комиссия и представители мямлили. Из гуманных соображений они выпустили офицеров на берег [1]. Собрание (комитета) (большевиков. — *А. Ш.*) все это время примиренцем систематически срывалось: собрались лишь тогда, когда броненосец отошел, а другой (броненосец. — *А. Ш.*) сдался. Рабочие Одессы, как манны небесной,

[1] Офицеров с миноносца № 267.

ждали бомбардировки, а социал-демократы вместе с буржуями высказывались против бомбардировки аристократических приморских кварталов. Теперь настанет реакция, ибо, видно, организации слабы. О, теперь труднее будет прогнать этих интеллигентов-примиренцев, предавших рабочих. Мне нужно уехать. Ну ее к чорту, эту Одессу! *Мохов.* 24 июня 1905 г.".

Из этого письма можно себе представить, чем руководствовался тов. Михаил, созывая „Объединенную комиссию" без санкции со стороны большевистского комитета и директив со стороны последнего. „Он мнит себя выше всех, никому не доверяет, везде сует нос".

В качестве человека, которому нет равного в комитете, он, очевидно, не счел нужным получить полномочия на представительство от комитета. Уверенный, что комитет все равно одобрит его образ действий, он не потрудился получить директивы комитета. Хуже всего то, что собрания большевистского комитета им срывались все время, пока броненосец был в Одессе. Еще хуже было то, что он шел на поводу у меньшевиков (у Еремы) и Бунда. Если бы он захотел действовать по-большевистски, он не создал бы из представителей организаций аппарата („Объединенной комиссии"), в лучшем случае пригодного для проведения всеобщей стачки, но мало пригодного для проведения вооруженного восстания, для руководства действиями броненосца. В данном случае нужна была диктатура, а не словоговорильня. Письмо говорит также о бомбардировке города. Последняя была существенно необходима. Без нее матросы отказывались высадить десант. Во всяком случае большевику для того, чтобы настаивать на бомбардировке или принять выжидательную тактику, необходимо было получить от комитета директивы [1].

РОЛЬ „ОБЪЕДИНЕННОЙ КОМИССИИ".

На деле вышло так, что „Объединенная комиссия" в порту и тов. Михаил вместе с ней отклонили предложение матросов начать, как артиллерийскую подготовку перед высадкой десанта, бомбардировку города. Что подобная мера „Объединенной комиссии" была ошибочна и вредна для революции и выгодна для правительства, видно из „Выписки из показаний командующего войсками генерала Коханова", который говорит, что он 15 июня, с целью не дать распространиться беспорядкам из порта в город, старался не давать броненосцу поводов для бомбардировки города. „Это — единственное решение, отвечающее обстановке, — говорит Коханов, — так как с началом бомбардирования города беспорядки неминуемо распространились бы по всему городу и порту" [1].

---

[1] См. приложения — письма №№ 3, 4.

[2] „Потемкинские дни 1905 г.", стр. 69, 70.

Как докладывали этому генералу офицеры, отпущенные с миноносца № 267, еще 15 июня в 5 часов дня все на броненосце было готово для бомбардировки города.

Мои хозяева, узнав 15 июня о предполагаемой бомбардировке города, целый день метались в испуге. К вечеру они успокоились, узнав от бундистов, что бомбардировка, видимо, отменена. Паника в городе по случаю ожидавшейся бомбардировки была очень большая. Прокламация матросов, как известно, гласила: „Солдаты и казаки, складывайте свое оружие и давайте все завоюем свободу народу. Мирных же жителей Одессы просим выехать подальше, так как, в случае принятия против нас насильственных мер, превратим Одессу в груду камней". Поэтому буржуазия уезжала из города сотнями, тысячами. Буржуазные кварталы пустели. Зловещая тишина устанавливалась на пустынных улицах.

Между тем броненосец, отдавший свою судьбу в руки меньшевиков, с первых же часов по прибытии в Одессу начал переживать внутреннюю драму.

Несомненным толчком к восстанию могло быть известие, привезенное ночью с 13 на 14 июня, что в Одессе очень неспокойно, что рабочие там волнуются, что все в городе закрыто и что даже мясо с трудом достали.

При таких условиях момент для восстания стал вожакам матросов, как тт. Матюшенко, Вакулинчук, Кулик и другие, казаться наиболее удобным. Мясо, оказавшееся червивым, подлило лишь масла в огонь.

„Чего ждать окончания маневров? — наверно думали или говорили друг другу товарищи. — Каждый корабль эскадры представляет собой пороховую бочку. Достаточно искры, чтобы все вспыхнуло. Если сейчас восстанем, — рабочие и социал-демократы Одессы будут вполне на нашей стороне".

Но из 760 человек команды броненосца вряд ли одна треть, 200—250 человек, примыкала к социал-демократам и более или менее готова была довести дело восстания до конца. Затем шло колеблющееся большинство и враждебно относившееся к восстанию и не верившее в него меньшинство, среди которого находились и прямые изменники, как Ведермейер и д-р Галенко. Первый дал нарочно перелет снарядам, которые броненосец направил 16 июня к вечеру на правительственный штаб, а второй устраивал тайные собрания с кондукторами броненосца против его активного меньшинства.

Пока были живы надежды на восстание в самой Одессе, на присоединение всей Черноморской эскадры к восставшим, большинство команды шло за активным революционным меньшинством и готово было за цели революции отдать свою жизнь. Но как только выяснилось, что надежд на всеобщее восстание во всей

эскадре питать уже больше нельзя, что время для взятия власти на берегу упущено, колеблющееся, пассивное большинство матросов стало прислушиваться к противникам восстания, к кондукторам:

„Берег молчит. На берегу ставят дальнобойные орудия против потемкинцев. У броненосца нет базы, связи с берегом, нет угля, нет пресной воды, продуктов. Что ждет при таких условиях его в недалеком будущем?“

Тело Вакулинчука, лежавшее прикрытое военным флагом, и надпись на его груди оказали с первого дня свое революционизирующее влияние на рабочих Одессы.

„Господа одесситы, — гласила записка на груди Вакулинчука, — перед вами лежит тело зверски убитого матроса Григория Вакулинчука, убитого старшим офицером за то, что он заявил, что борщ не годится. Осеним себя крестным знамением и скажем: „Мир праху его! Отомстим кровожадным вампирам! Смерть угнетателям! Смерть кровопийцам! Да здравствует свобода! Один за всех, все за одного!“.

Таким образом матросы „Потемкина“, приготовившись к бомбардировке города и выставив тело убитого товарища Вакулинчука с запиской, которая революционизировала одесских рабочих, сделали очень много для вызова восстания в городе.

Бездействие, нерешительность, на которые обрекла его „Объединенная комиссия“ на берегу, это бездействие, которое разлагало и деморализовало не раз большие армии, явилось самым гибельным для того дела, ради которого восстал революционный броненосец „Потемкин“.

ПОЖАР ОДЕССКОГО ПОРТА.

Возникшие грабеж складов порта и пожар в порту, несомненно, были выгодны правительству, но невыгодны для революции. Если бы „Объединенная комиссия“ решила действовать иначе, если бы город был захвачен восставшими, вооруженные рабочие, быть может, могли бы охранить и уберечь склады порта от грабежа и пожара.

В порту, как известно, находилось большое количество босяцкого и полубосяцкого элемента. Грабить начали еще днем 15 июня. Грабили все, кому было не лень. Приезжали на извозчиках хорошо одетые „господа“, представители известной части мелкой и может быть и средней буржуазии, и увозили на них награбленное.

Подстрекательство к грабежу со стороны провокаторов, несомненно, имело место. Меня уверяли, что и оголтелые анархисты, которые начали тогда появляться в Одессе, призывали „голодных и раздетых“ рабочих порта взять все, что им нужно, из складов порта.

Настал теплый вечер 15 июня, сменивший жаркий и душный день. Я попрежнему томился в темной комнате, ибо страдал силь-

ным воспалением обоих глаз. Было тихо. С улицы не доносился обычный шум телег, пролеток. Улицы были пустынны. Не выходя из комнаты на свет, я не знал, что там делается. Тишина наблюдалась и во всей квартире. Хозяева говорили шопотом и боялись зажечь огонь.

— Пожар! Пожар! — закричала вдруг дочь хозяев. — Идите скорее, — обратилась она ко мне. — Смотрите, какое зарево!

Действительно, зарево, подымаясь над крышами домов со стороны порта, становилось все больше и ярче, захватывая почти все небо. Вскоре стали раздаваться со стороны пожарища гулкие выстрелы от взрывавшихся бочек со спиртом и бензином. Вслед за каждым взрывом вздымались к небу миллиарды искр, делая картину еще более мрачной и зловещей. Хозяйка и ее дочки заплакали.

— Что-то там делается! — говорили они. — Становится так неспокойно, так жутко, так тревожно. Что-то нас ждет завтра! Не уходите от нас в свою комнату: нам страшно!

Они еще более пришли в ужас, когда около полуночи началась пачками пулеметная и ружейная стрельба.

— Расстреливают всех, кто остался в порту! — заявил прибежавший с улицы хозяйский сын. — Все выходы и входы в порт заняты солдатами.

Толпы рабочих ночью с 15 на 16 июня, запертые в порту, пытались было прорваться из западни, которую им приготовили. Но залпы шли за залпами и косили их, как косой.

Пожар окончился к утру. На другой день состоялись похороны Вакулинчука. К вечеру, к семи часам, раздались выстрелы с броненосца, заставившие всех подскочить. У меня остались в памяти два выстрела, заставившие задрожать стекла. Услышав их, я пришел к выводу, что броненосец решился наконец на бомбардировку города. Но я ошибся. Бомбардировка прекратилась.

Снаряды, которые должны были быть направлены на городской театр, вследствие измены наводчика-сигнальщика Ведермейера дали перелет. Но они произвели свое действие. Солдаты из города, в свою очередь, сигнализировали „Потемкину": „Продолжайте бомбардировку; утром присоединимся к вам". К сожалению, тот же изменник Ведермейер скрыл от команды броненосца эту сигнализацию, имевшую такое огромное значение для продолжения бомбардировки, которая так революционизирующе действовала на солдат и которой так боялись поэтому власти в городе. Кирилл в „11 днях на Потемкине" пишет, что, если бы была связь броненосца с городом и если бы матросы знали о впечатлении, которое произвели выстрелы броненосца, в особенности на солдат, матросы „Потемкина" продолжали бы бомбардировку. Но так как связь, порванная с берегом, не позволила никому из города приехать на броненосец, настроение к бомбардировке у матросов упало.

В то время как „Объединенная комиссия“ бездействовала, не предпринимая никаких шагов для того, чтобы использовать восставший броненосец, как военную могучую машину, против царского правительства, последнее не дремало. Подкрепления правительству стали приходить и с суши и с моря. Поздно вечером 16 июня прибыли в Одессу вызванные из разных мест войска, начавшие сменять войска одесского гарнизона. Также заняла позицию на Ланжероне прибывшая 15-я артиллерийская бригада под прикрытием двух рот.

Утром 17 июня, в 8½ часов, показалась у Большого Фонтана эскадра адмирала Вишневецкого, также спешившая на помощь генералу Коханову.

Матросы „Потемкина“ доказали, на что они были способны, когда, наконец, они были выведены из вынужденного бездействия. Еще накануне из перехваченных телеграмм и через разведку на пароходе „Смелый“ они узнали, что против „Потемкина“ идут две эскадры, и приготовились к решительному бою еще с вечера. В своей решимости победить в бою или погибнуть с честью они постановили,—в случае неудачного исхода боя, потопить судно.

Наконец, утром 17 июня на горизонте показались силуэты направлявшихся против „Потемкина“ царских кораблей. Революционный броненосец приготовился итти один против эскадры.

В это время адмирал Вишневецкий послал „Потемкину“ телеграмму.

„Золотые черноморцы,—гласила она,—мы очень удручены вашим поступком. Чего вы хотите, безумцы? Смиритесь,—повинную голову и меч не сечет...“

Если хотите знать, что мы хотим, приезжайте на „Потемкин“,—ответили адмиралу восставшие.

На эскадре Вишневецкого было неспокойно, и она, увидев, что „Потемкин“ дал ход своим машинам, чтобы итти против нее, поспешно ушла в море.

„Потемкин“, в свою очередь, боясь мин, вернулся обратно в Одессу. Бежавшая от одного „Потемкина“ эскадра Вишневецкого к 12½ часам дня, подкрепленная пришедшей из Севастополя эскадрой адмирала Кригера, направилась к одесскому рейду и, выстроившись полукругом, закрыла выход из бухты. Кроме пяти броненосцев, против одного „Потемкина“ пришло еще несколько миноносок.

„Потемкин“, дав ход своим машинам, смело пошел один против всей эскадры. Пройдя версты две, „Потемкин“ остановился, и в это время суда объединенных эскадр стали окружать его. Но присутствие на палубе судов этих двух эскадр высыпавшей наверх команды красноречиво доказывало, что дисциплина уже нарушена.

Как часто бывает во время гражданских войн, такое тесное соприкосновение с восставшими, какое произошло, когда „Потемкин" прошел смело через всю эскадру, тотчас отразилось революционизирующе на матросах двух эскадр. Увидев грозные орудия восставшего броненосца, наведенные на корабли двух эскадр, заметив строгую дисциплину, выражавшуюся и в том, что на палубе „Потемкина" не было, как на палубах судов двух эскадр, команды, услышав крик с верхней палубы „Потемкина": „Да здравствует свобода, ура!", они пришли в восторг, и тотчас с палуб трех броненосцев — „Синопа", „Георгия" и „Двенадцати Апостолов", как гром, поразивший царских адмиралов и офицеров, раздался могучий, грозный крик: „Ура! Ура! Ура! Да здравствует свобода!".

„Вслед за этим, — как доносил командующий войсками генерал Коханов, — начались непонятные эволюции судов эскадры. Произошло то, что адмиралы, увидев, что команда трех броненосцев всецело на стороне восставших, отдали приказ спешно перестраивать суда. В свою очередь, „Потемкин", повернув обратно по направлению к Одессе, снова прошел между броненосцами „Ростиславом" и „Синопом". Снова с палуб царских эскадр раздается громовое „ура!" восставшим. Вот заколебался „Георгий". На нем шла борьба. Она закончилась победой революционной партии. „Георгий" выходит из строя царских эскадр и присоединяется к „Потемкину". Встревоженный адмирал на „Ростиславе" телеграфирует „Георгию": „Следуйте за эскадрой!".

„Не могу! Не могу! Не могу!" — ответил уходивший с „Потемкиным" „Георгий".

Но вот заколебался и „Синоп". Видно с „Потемкина", как он то выйдет из строя, то снова идет за эскадрой. На нем, видимо, происходила тоже борьба двух партий. С его палубы особенно громко раздавалось „ура", когда мимо него проходил „Потемкин". Наконец колебания закончились. Победила партия подчинения начальству. Броненосец „Двенадцать Апостолов" получает приказ навести на „Потемкина" пушки и мины и потопить его. Последний, в свою очередь, наводит орудия на „Двенадцать Апостолов" и дает ему приказ остановиться. Матросы „Двенадцати Апостолов" не только в точности исполняют этот приказ, но идут и дальше: они немедленно выбрасывают в море замки и другие части от пушек и минных аппаратов и тем превращают свой броненосец в неспособный к бою. При виде всего этого объединенная эскадра царских адмиралов с позором бежит от одного „Потемкина". Последний возвращается в Одессу победителем. У него целая эскадра: два броненосца, миноносец и транспортное судно „Веха".

Упоенная победой, команда „Потемкина" уже мечтает о захвате всего юга России и об основании „Южной республики", но она совершает тут же большую, роковую ошибку. Она не арестовывает на „Георгии", как это было на „Потемкине", „служби-

стов-кондукторов", получавших по 50 рублей жалованья, имевших власть над матросами, тянувших руку начальства, за что матросы их звали „шкурами". Еще большую ошибку совершает она, допустив назначение на пост командира „Георгия Победоносца" службиста-боцмана Кузьменко, решившего втайне, очевидно, уже в первый день предать дело революции. Не дремлет и предатель д-р Галенко, воспользовавшийся доверчивостью матросов и подготовлявший измену на „Георгии Победоносце". В то же время, увидев сверху, что вся объединенная эскадра снова с позором бежала от „Потемкина", к которому присоединился уже и „Георгий", генерал Коханов начал спешно укреплять Жевахову гору для борьбы с революционными броненосцами при помощи тяжелых орудий.

На „Потемкине", в момент восстания, арестованные вместе с офицерами кондуктора-службисты со слезами выпросили себе прощение у команды броненосца, дав торжественное обещание разделить вместе с нею ее судьбу.

Между тем матросы „Георгия", как и „Потемкина", питали надежды, что к ним присоединится вся Черноморская эскадра. „Нам нечего смотреть на берег, — говорил вождь восстания Матюшенко, когда надежды на восстание в Одессе не оправдались, — мы должны смотреть туда, в море".

„Одесса не восстала. Надежды на присоединение всей эскадры тоже не оправдались. Сообщение с берегом прервано. На берегу не толпились, как на второй день по прибытии в Одессу „Потемкина", толпы приветствовавших броненосца рабочих. У восставших нет базы, угля, пресной воды, провизии. Что же дальше?" — так думали, вероятно, многие из матросов.

А на берегу устанавливают против революционных броненосцев дальнобойную артиллерию.

ИЗМЕНА БОЦМАНА КУЗЬМЕНКО.

Так как определенного плана действий не было у восставших кораблей, так как его им не дала „Объединенная комиссия" на берегу, передовая часть команды как на „Потемкине", так и на „Георгии" продолжала терять время в бездействии. Это тем более было ошибочно и гибельно, что надежды на присоединение всей эскадры уже не оправдались. Очевидно, что как в момент прихода „Потемкина" в Одессу, 14–15 июня, так и в момент присоединения „Георгия" к „Потемкину" нельзя было терять ни минуты, нельзя было держать в бездействии команды броненосцев. Если небывалое воодушевление охватило матросов „Потемкина" еще с вечера 16 июня, когда они лихорадочно готовились к бою с надвигающейся на них целой эскадрой, когда они, готовясь к смерти, по обычаю русского крестьянина надели чистое белье и светлую майскую одежду, то таким же образом апатия, отрезвление,

разочарование, упадок духа начали охватывать матросов, поскольку их оставляли не только в бездействии, но и без перспектив на будущее.

Промедление, нерешительность, проявленные „Объединенной комиссией" в первые два дня, сказались не только на „Потемкине", но и на „Георгии".

Революционная решимость бороться до конца поэтому дрогнула у матросов „Георгия". Изменник д-р Галенко делал свое предательское дело. Не дремали и другие предатели. Воспользовавшись тем, что „Потемкин" поставил между собой и „Георгием" транспорт с углем: „Петр Регер", старший боцман Кузьменко изменнически, несмотря на угрозу с „Потемкина": „Стрелять буду!", дав машинам полный ход, вошел в одесскую гавань и с намерением сдаться властям посадил на мель броненосец.

Неожиданная измена „Георгия" тотчас страшно поразила всю команду „Потемкина" и, как губительная болезнь, убила в ней волю продолжать восстание.

Оставаться у Одессы, которая так обманула надежды восставших, где социал-демократы преступно мямлили, где враг, против которого они боролись, усилился изменой броненосца „Георгия", казалось, дольше нет смысла.

На вопрос, что делать, меньшевики, бывшие на палубе броненосца, не пустившего вследствие какого-то недоразумения большевика тов. Тимофея, сторонника немедленной бомбардировки города, не могли дать ответа. Матросы — вожди восстания — остались без перспектив на будущее, без всяких надежд на благополучный исход восстания.

Перед всеми встал вопрос: что теперь делать?

„В Румынию!" — дали лозунг службисты-кондуктора и прапорщик Алексеев. Упадочному настроению поддалась вся команда, утомленная днями восстания, питавшаяся сухарями. Особенно утомлены были машинисты непрерывной работой при невыносимой жаре в машинном отделении.

Упадочное настроение было так сильно у команды „Потемкина", что ему поддался сам вождь восстания — матрос Матюшенко. Он не противился дольше прапорщику Алексееву и кондукторам, управлявшим движением и механизмами броненосца, и временно согласился на предложение итти в Румынию.

Упадочное настроение особенно сильно сказалось на транспортном судне „Веха", которое под покровом ночи, украдкой скрылось от „Потемкина".

Томимый неизвестностью и беспокойством, я решил 17 июня выйти, наконец, из моего убежища. В моей болезни наступил перелом [1]. Дневной свет не вызывал больше острой боли в глазах.

[1] Письмо „Чухны", — Книпович Лидии Михайловны (*Дяденьки*) от 23 июня 1905 г. № 181 „Наум болен глазами и не работает — уж более месяца".

Краснота спала. Глазной врач нашел, что я уже могу, без опасения потерять зрение, не снимая пока темных очков, оставить темную комнату и выходить на улицу.

Я немедленно направился к порту, к Ланжерону, чтобы посмотреть на знаменитый броненосец „Потемкин". Стоял яркий солнечный день. В ярком свете солнечных лучей видны были в море небольшими черными пятнами суда эскадры адмиралов Вишневецкого и Кригера, которые, как казалось, стояли широким полукругом, закрывая выход из одесской гавани находившемуся в ней „Потемкину".

Оглянувшись на берег, я заметил, что на нем у Ланжерона ставили тяжелую полевую артиллерию. Жерла пушек с берега были направлены на ту же черневшуюся в море точку, против которой вышла вся эта эскадра. Вдруг „Потемкин" смело пошел один против всей эскадры. Но сверху не было понятно, идет ли он в бой или сдается. Всем не-морякам казалось, что он сдается.

— Гони посторонних, — вдруг раздался крик офицера.

— Нельзя стоять! Уходи отсюда! — стали, в свою очередь, кричать солдаты, занимавшие весь берег на Ланжероне. — Уходи, иначе стрелять будем!..

Отправившись разыскивать товарищей — членов комитета, я думал о тов. Вакулинчуке. Точно фамилию его тогда мало кто знал. Называли мне его по фамилии Омельчук. Передо мной вставало его лицо с тем строгим, суровым выражением, которое часто ложится на лица умерших. Его закрывшиеся навек уста как бы говорили словами записки, приколотой на его груди: „Отомстим кровожадным вампирам! Смерть угнетателям! Смерть кровопийцам! Да здравствует свобода!". Он восстал вместе с товарищами на „Потемкине". Он погиб, пожертвовав своей жизнью за дело восстания. Но почему же мы не восстали? Почему на всех углах стоят олицетворяющие власть царя и капитала городовые? Почему не восстали эти солдаты, стоящие патрулями на улицах? Почему мы миримся с властью царя? Почему не лежат и наши трупы рядом с трупом погибшего Вакулинчука?

ТОВАРИЩ ТИМОФЕЙ.

С такими мыслями я шел пешком в дачную местность по Французскому бульвару на Фонтаны, где жили супруги Хволес, хорошие знакомые тт. Левицких, оказывавших большие услуги комитету по части собирания средств, приискания квартир для комитета. У них я встретил тов. Сашу Аксельрода. Через него я разыскал тов. Лидию Михайловну Книпович и тов. Тимофея (Хрусталева). От тов. Книпович я узнал, что тов. Тимофей еще 15 июня, на другой день по приходе в Одессу „Потемкина", делал попытки собрать немедленно большевистский комитет с целью принятия

решения о необходимости немедленной предварительной артиллерийской подготовки со стороны броненосца, которая дала бы возможность высадить десант для занятия города.

Как мне было известно и как это теперь подтвердил тов. Тимофей письмом от 25 февраля 1926 г., он пробовал пробраться на броненосец. „Кроме безуспешной попытки, — пишет тов. Тимофей (Хрусталев *В. А.*)[1], — собрать комитет, я пытался попасть на „Потемкин", к борту которого подъехал на лодке. Находившийся на вахте часовой заявил, что революционным комитетом броненосца отдано распоряжение никого больше на судно не принимать (ранее принимали). Мы (нас было двое) просили вызвать представителей одесских организаций, но часовой от вызова их отказался. Итак, вследствие указанного идиотского распоряжения я не попал на броненосец".

Л. М. Книпович, как видно из ее письма от 24 июня 1905 г. тов. Ленину и Н. К., находящегося в институте Ленина за № 184, не была против бомбардировки города. „Матросы не согласились, — пишет она, — делить свои силы (вполне сознательных из всей команды — около 300 человек) и согласились на бомбардировку. Для десанта предлагали ждать всю эскадру. Представители (революционных организаций на берегу. — *А. Ш.*) решили ждать прибытия всей эскадры и пропустили время, проиграли момент революции. Один рабочий — член комитета (тов. Тимофей) требовал бомбардировки 15-го (июня. — *А. Ш.*), но собрать комитет не было возможности. Томич (Михаил. — *А. Ш.*) заседал где-то со своей комиссией и не являлся ни на одну явку".

Эти слова тов. Книпович говорят, что, если бы не тов. Михаил (он же тов. Томич), который систематически не являлся на комитетские явки и этим сознательно срывал собрания комитета в такой важный момент, большевистский комитет, по всей вероятности, высказался бы за бомбардировку правительственных учреждений города. Бомбардировка была возможна 15 июня и в особенности 17 июня, в момент присоединения к „Потемкину" „Георгия Победоносца".

Что такое был т. Михаил, видно из протокола комитета.

1-е заседание (Письмо № 227)[2].

Тов. Т. (Тимофей). — Разве это организатор? Это газетный корреспондент, и ничего более. На Пересыпи он напустил в район примиренцев, тормозивших работу комитета. Если он сам не хочет выходить (из состава комитета. — *А. Ш.*), то его надо заставить немедленно выйти.

Тов. Л. (Книпович). — В вопросе о примирении у т. М. (Михаила) нет выдержанных взглядов, но точка зрения не партийна, он

[1] Приложение № 5.
[2] Приложение № 9.

поступается принципами. Раньше у него не замечалось „примиренчества", но теперь все решительно пропагандисты заявляют, что он им ничего не дал, что ни на один вопрос он не дал ни разу определенного ответа. Всюду у него обнаружилась половинчатая точка зрения. Для роли организатора он не имеет соответствующих способностей. Общее отношение к нему периферии насмешливое, как к человеку, не понимающему своей непригодности. Сказать, что вся его деятельность сводится только к заседательству в К-те, я не могу. Он работал и работает, но его работа приносит только вред. Работать при таком отношении периферии совершенно невозможно.

Тов. Т. (Тимофей. — *А. Ш.*) — Мы должны считаться с мнением большинства периферии и К., которые не раз уже высказывались отрицательно по отношению к т. М. Прямо в интересах К-та назначить срок, и сам т. М. вынуждает нас ставить вопрос более резко. Он обещал уже не раз уйти, но все не уходит. Тогда ничего не остается, как назначить ему определенный срок.

2-е заседание.

Тов. Л. (Дяденька, Л. М. Книпович. — *А. Ш.*). — Для меня является вопрос: может ли продолжаться подобная канитель, чтобы вы, являясь представителем комитета, проводили *меньшевистские лозунги?* Вы доказывали, что между б. (большевиками. — *А. Ш.*) и м. (меньшевиками. — *А. Ш.*) в организационном вопросе нет принципиальных разногласий.

Коллегия пропагандистов не доверяет т. М. (Михаилу. — *А. Ш.*), и если он обратится к ней, то добьется этого ответа (требования исключения из комитета в виде выраженного ему недоверия. — *А. Ш.*).

Таким образом, хотя Одесский комитет растерялся в своем целом, хотя в его составе оказался трусливый т. Михаил, у которого, как говорит т. Л. (Книпович, в письме № 227. — *А. Ш.*), раньше не замечалось „примиренчества" и который в конце концов, как свидетельствуют вышеприведенные выписки из протоколов и писем, оказался и плохим организатором и лицом, проводившим на деле меньшевистские лозунги, — все-таки среди членов Одесского комитета находились такие товарищи, как т. Тимофей (В. А. Хрусталев), Дяденька (Л. М. Книпович) и Наум (А. С. Шаповалов), которые держались выдвинутой т. Тимофеем точки зрения, что броненосец нужно было использовать, решившись на такую крайнюю меру, как бомбардировка города, за которой сами собой должны были последовать высадка десанта и захват города. Такое важное решение можно было бы провести в жизнь лишь от имени Одесского комитета. Собрание последнего было, как известно, сорвано тем же тов. Михаилом, который упорно не являлся, когда его приглашал явиться т. Тимофей.

— Вот вы все говорите, что нужно было бы провести решение

о бомбардировке города, — обратился ко мне т. Михаил. — Но вы сами, положа руку на сердце, сознайтесь, вы лично решились бы пойти навстречу этому предложению матросов?

— Безусловно, — ответил за меня т. Тимофей, — и я и т. Наум это решение поддержали бы.

— Но ведь это ужасно! Это означало бы разрушение такого прекрасного города. А в случае неудачи? Какой ответ вы дали бы перед потомством. Затем какой предлог имелся бы в руках наших врагов в случае неудачи, чтобы вызвать против нас самые ужасные средневековые репрессии? Вы не забывайте про антисемитизм.

На первом и втором заседаниях Одесского комитета присутствовал т. Сергей Иванович Гусев, приехавший накануне прихода в Одессу „Потемкина", но не успевший во-время найти Одесский комитет.

ТОВ. ДЯДЕНЬКА (Л. М. КНИПОВИЧ).

Необыкновенно приятное и сильное впечатление производила на меня, т. Громову и других товарищей т. Дяденька (Лидия Михайловна Книпович), напоминавшая по своей преданности т. Курнатовского. Представляя собой уже старушку, с пробивавшеюся даже сединой, она начинала уже страдать глухотой на одно ухо.

Чем-то необыкновенно искренним, честным и стойким веяло от всего ее существа. Она работала в будни, в ночь революции. Она походила на пароход, приходящий к пристани ночью, без музыки, приветственных криков, песен, возгласов.

Все помнят пароходы праздничные, с веселой нарядной публикой на их палубах. Красив флаг, трепещущий в воздухе, на высокой мачте. Все слышат веселую музыку.

Не то с пароходом ночью. Никто не знает об ударах волн, которые с ревом налетали на борт судна, никто не помнит об огромной упорной борьбе со стихией. Только громкий крик его сирены, который в ночной тиши заставляет вздрогнуть, забиться сердце, который неотложно и властно зовет в манящую даль к борьбе со стихией, оставляет смутное воспоминание...

Лидия Михайловна работала в ночь революции. Как моряк на борту корабля, она предвидела рассвет революции и зорко смотрела в туманную даль...

По лицу, по одежде эту интеллигентку, посвятившую свою жизнь рабочему классу, незнакомый с ней человек мог легко принять за работницу или домашнюю прислугу.

Однажды в Питере на одном из партийных собраний началась тревога.

— Полиция, жандармы ломятся в дверь! — заявила хозяйка.

В то время, как товарищи принялись уничтожать компрометирующие их документы, она, выхватив из кармана припасенный на такой случай головной женский платок, вмиг перевязала им го-

лову и, схватив на руки ребенка хозяйки, начала его качать на руках, напевая песенку новгородских крестьянок:

„Баю, баюшки, баю!
Сидит Федор на краю.
У него много ребят,
Все по лавочкам сидят,
Кашу масляну едят...
Баю, баюшки, баю!"

Напевая таким образом, она стояла, прислонившись к двери, в той же комнате, где жандармы производили обыск. В то же время она не спускала с них глаз. Сходство с прислугой у нее оказалось действительно настолько большим, что жандармы были введены в заблуждение до того, что один из них закричал на нее:

— Что тебе здесь надо? Что ты под ногами путаешься? Убирайся себе на кухню!

— Ась? — ответила Дяденька. — Глуховата я, батюшка; осьмой годок пошел с Покрова, как ничевошеньки я не слышу.

— Убирайся вон! — закричал жандарм, указывая ей на дверь. — Не мешай нам, старая кочерга!

Воспользовавшись тем, что жандармы на самом деле приняли ее за прислугу, ничем не напоминающую революционерку Книпович, которую они разыскивали, она, оставив ребенка на кухне, преспокойно вышла через черный ход и тем спаслась от ареста.

В последний раз я ее встретил в июне 1919 г. в Симферополе накануне эвакуации из этого города Красной армии. Она, этот старый преданный революционер, доживала в это время последние дни у своей приятельницы Анны Михайловны Вржосек, члена РСДРП(б) в 1905 г. [1].

— Как жаль, — говорила она, — что я стара и больна, что я не могу больше быть полезной революции. А то я эвакуировалась бы с Красной армией. Но я уверена, что скоро опять придут сюда большевики, что победят они белых. Мы увидимся еще при лучших условиях, когда на нашей улице будет праздник!..

Но она умерла, не дождавшись прихода победоносных красных полков. Она умерла, по-своему непримиримая. Она отказалась принять врача-белогвардейца.

— Не нужно мне, — говорила она, — вашего врача-белогвардейца. Я или умру, или дождусь наших красных врачей.

В этих словах перед смертью сказалась непримиримость старой большевички. Она умирала в очень тяжелом положении, почти в нищете. Незадолго до смерти она нашла силы помочь мне выехать из Симферополя незаметно от деникинской охранки.

Когда она умирала, как мне говорили, лицо ее озарилось улыбкой. Может быть, ей казалось, что она уже видит много-

[1] В настоящее время учительница, и живет в Детском селе.

численные красные знамена, победоносные красные полки, изгоняющие из Крыма белых. Уходя от жизни, может быть, она уже видела и то прекрасное будущее, которое открывается перед человечеством с победой коммунизма над капитализмом.

КОНЕЦ ВОССТАНИЯ.

Выйдя утром 18 июня из дома, я вдруг увидел в конце улицы толпу народа, бежавшего в тревоге, и навстречу отряд казаков, избивавших его нагайками. Улица была наполнена стуком копыт о камни мостовой, ржанием лошадей, женским криком, плачем, воплями, звяканьем торопливо запираемых дворниками железных ворот домов. Стремясь укрыться на каком-нибудь дворе за эти железные двери, женщины падали в испуге на мостовую и попадали под копыта наседавших на них лошадей. Попасть за ворота удавалось не всем: дворники пропускали лишь своих квартирантов. Улица вмиг опустела.

Я едва успел вскочить в ворота дома, где жил, иначе я не избежал бы нагайки казака, наехавшего на самые ворота.

— Сволочи пархатые, — кричал казак, — жиды проклятые, будете забастовки энти да бунты устраивать. Гляди, наигрались! Всех вас ждет та же участь.

Слыша эти крики, все стоявшие за воротами в испуге попятились назад. У всех явилась одна и та же мысль — что вот-вот он ворвется в ворота, которые ему может во всякую минуту открыть дворник, и тогда он начнет всех мять и топтать своей лошадью и бить нагайкой. Но еще больший страх изобразился у всех на лицах, когда вслед за отъехавшим, наконец, от ворот казаком все увидели около двадцати телег, медленно проезжавших одна за другой по улице. На каждой телеге лежало по три-четыре трупа рабочих-грузчиков порта и заводских рабочих, убитых во время пожара в порту, во время стрельбы пачками по толпам, грабившим склады. Мне бросилось в глаза, что убитые все были русские. Все они были одеты в рабочие блузы. На многих заметна была запекшаяся кровь. У меня осталось в памяти лицо одного из убитых, рабочего лет 25. Красивое, обрамленное русыми кудрями, умное, энергичное, оно запечатлело на себе вопрос, недоумение и упрек тем, кто его убил. На лбу его виднелась темная маленькая дырочка с запекшейся кругом кровью, видимо, от пули, поразившей его наповал.

— Как много их! — сказал кто-то из стоявших у ворот. — У каждого из них мать, жена или невеста. То-то будет ждать и никогда не дождется...

— Вы, думаете, все убитые здесь? — ответил кто-то. — Там в порту, говорят, целые горы трупов. Придется баржами вывозить в море.

— Но почему же их здесь везут? Как будто не дорога на кладбище.

— Для острастки это, чтобы другим неповадно было бунтовать, — ответил дворник. — По всем почти улицам возят их, убитых-то, — пояснял он.

Обоз с убитыми замыкал отряд казаков, такой же, как и впереди. Казаки опять грозили нагайками, изрыгали ругательства, показывали нагайками на трупы убитых. Все говорило, что полиция устроила специальную демонстрацию для устрашения жителей города.

Кроме тов. Гусева, тов. Л. М. Книпович, тов. Тимофея и тов. К. Н. Громовой (Самойловой) во время прихода броненосца в Одессе находился тов. Ярославский, только что выпущенный после голодовки накануне прихода броненосца, из тюрьмы и потому не имевший возможности принять активное участие в происходивших событиях.

Еще 17 июня я узнал, что на броненосце нет достаточного количества угольных свечей для электрических прожекторов. Наш товарищ — инженер Хволес раздобыл где-то эти свечи. Я взялся доставить их. В тот момент, когда я, найдя лодку, собрался ехать на броненосец, получилось известие, что „Потемкин“ вследствие измены „Георгия“ совершенно неожиданно ушел в неизвестном направлении в море.

Тов. К. Н. Громова (Самойлова) рассказывала на другой день по уходе „Потемкина“, как вели по Старо-портофранковской улице, где она жила, арестованных матросов, выданных как зачинщиков. Выдавала, впрочем, не вся масса, а кучка негодяев, прямых шпионов, остававшихся невыясненными во время восстания, и редкие преданные среди матросов старому порядку люди и прямые презренные трусы, которые из желания спасти свою жизнь, избежать расстрела, петли, каторги и тюрьмы выдавали теперь тех, которые в момент восстания были для них вождями, а теперь, после подавления его, стали представляться им мечтателями и безумцами, звавшими ниспровергнуть то, что остается попрежнему таким непоколебимым, несокрушимым.

— Закрывай окна! — кричал неистовым голосом пристав, шедший впереди арестованных матросов, наводя на открытые окна револьвер. — Стрелять буду!

Окна при таких криках и угрозах моментально закрывались, любопытные, высунувшие было головы из окон, тотчас прятались обратно. Жизнь и движение тотчас замирали на улице, ибо шедший впереди арестованных отряд городовых разгонял прохожих.

— Жутко было смотреть, как вели их, — рассказывала т. Наташа (Громова), — и до смерти жалко. Я всю ночь не могла заснуть. Думала о них и даже плакала. Наутро я узнала, что их затем прогнали сквозь строй казаков, по приказу офицеров самым жестоким образом избивавших их.

После ухода в море грозного броненосца, пристава, околоточные, охранники, жандармские офицеры, и вся буржуазия вздохнули свободнее. Распространившийся слух, что на 16 июня назначена бомбардировка города, нагнал на буржуазию такую панику, что за три дня из города выехало не менее 30 000 человек. Ужас перед революцией, страх перед грозным броненосцем, угроза матросов „Потемкина" превратить буржуазную часть города в груду камней, — все это гнало их из города, над которым встал грозный призрак восстания. Стремление уехать было настолько сильным, что нарядные барыни считали себя счастливыми, если им удавалось уехать не в первом классе, а в грязной, черной от каменного угля теплушке.

Под общим руководством т. Гусева, с отъездом Дяденьки ставшего во главе одесской организации большевиков, я снова деятельно принялся за восстановление почти уничтоженных арестом 2 июня организаций Дальника, Вокзала и Фонтана. „Все это, — как свидетельствует мое письмо т. Ленину, — было чрезвычайно трудно. Военное положение нагнало на население страшную панику. Все лучшие централисты отказывались работать и собирались уезжать. Те, которые решались работать, не могли нигде собраться за неимением квартир. Приходилось встречаться, сталкиваться с отдельными лицами на улице". При таких трудностях лишь в конце июня удалось собрать районное собрание Дальника, Вокзала и Фонтана.

На этом собрании район вынес осуждение нерешительной и ошибочной тактике Объединенной комиссии во время пребывания в Одессе броненосца „Потемкина" (смотри мой доклад, письмо № 212, „Отчет ответственного организатора Вокзала, Фонтана и Дальника").

На втором собрании района была принята резолюция, признающая III съезд партийным, выражавшая солидарность с его решениями и надежду на присоединение к партии меньшевиков ввиду того, что съездом было сделано все возможное для объединения.

Снова заработала воссозданная организация. Начали выпускать листки, проводить массовки и готовиться к вооруженному восстанию. Тов. Гусев прочел два реферата, в которых выяснял организационные тактические разногласия с меньшевиками.

После дня партийной работы т. С. И. Гусев, обладавший хорошим голосом, на берегу моря, когда гас закат, или на квартире у т. Хволес и один раз у моих хозяев пел вместе с т. Стефой русские и украинские песни. Стефа была полька, и очень красивая. Она обладала очень хорошим, сильным голосом. Я помню, что они пели „Перед воеводой молча он стоит" и „Костер". У меня сохранился в памяти отрывок из этой песни:

„Ночь пройдет, и спозаранок
В степь далеко, милый мой,
Я уйду с толпой цыганок
За кибиткой кочевой...“

Было приятно и грустно слушать их обоих. Как всегда, их песня звала вверх, на простор, порвать те цепи, в которые мы закованы.

Как той цыганке, о которой пела Стефа, хотелось уйти свежим, ясным утром спозаранок далеко-далеко в степь...

— Почему вы остаетесь здесь у нас в Одессе? — говорил мне глазной врач Розенфельд, к которому я заходил долечивать мои глаза. — Вам надо ехать туда, в глубь России. Там, не здесь на окраине, в Одессе, решится вопрос, быть ли в России самодержавию или республике.

Я сам давно собирался уехать. Меня потянуло в середину России, в гущу ее.

Простившись с товарищами, я уехал, наконец, из Одессы на север. Перед самым отъездом брат арестованного Фельдмана советовался со мной, как лучше освободить Фельдмана из севастопольской тюрьмы. Последний, как упоминается в одном из моих писем т. Ленину (письмо Мохова от 21 августа, № 196), был освобожден при помощи наших сибирских знакомых супругов тт. Деминовых [1]. Перед отъездом я познакомился с двумя очень выдающимися рабочими: с Иваном Батумским и Иваном Авдеевым, и с тт. Правдиным и Шотманом.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВОССТАНИЯ „ПОТЕМКИНА“.

Придя в Феодосию 22 июня, броненосец „Потемкин“ оставался здесь около двух суток. Пребывание здесь было еще более неудачным, чем в Одессе. Военные власти не только прекратили доставку на броненосец продуктов, пресной воды и угля, но залпы солдат из засады, по распоряжению полковника 52-го Виленского полка Герцыка, убили и ранили шесть матросов. Трое из них и меньшевик Фельдман оказались арестованными. Матюшенко едва успел вернуться на броненосец. Залпы солдат, их братьев, переполнили чашу неверия матросов „Потемкина“ в свои силы. Всем стало казаться, что они одиноки, что дело их проиграно окончательно, что царское самодержавие много сильнее, чем они раньше предполагали. Волна революционного настроения начала спадать, и воли отдельных лиц уже нехватало, чтобы сдержать упадочное настроение и вызвать снова желание борьбы. Броненосец снова ушел в Румынию.

В Феодосии нашелся мститель за убитых матросов. Барабанщик-еврей Мочетлобер стрелял в упор в полковника Герцыка и промахнулся. Арестованный был замучен в застенке полковником

[1] Супруги Деминовы живут в Тобольске.

Герцыком до сумасшествия (*В. Гейман*, „Сумасшедший генерал-губернатор", — „Голос минувшего", № 2, 1923 г.).

Проблуждав 11 дней по волнам Черного моря, броненосец „Потемкин" сдался в Румынии. Тов. Васильев-Южин, приезжавший к нам от т. Ленина, тщетно пытался попасть на него, чтобы поднять падающий дух борьбы у матросов.

Но восстание „Потемкина" было лишь первой ласточкой. Восстание лейтенанта Шмидта в ноябре 1905 г., кронштадтское восстание в октябре 1905 г. и в 1906 г., в июле, восстание броненосца „Память Азова", свеаборгское восстание, восстание во флоте в Сибири, восстания 1907 г. в Черноморском флоте на броненосцах „Три Святителя", „Синоп", „Ростислав", следовали одно за другим.

Но это были уже последние восстания, вызванные революционным подъемом рабочего класса в 1905—1906 гг. Спадала волна рабочего революционного движения, закончились и восстания среди матросов и солдат. Новый подъем рабочего революционного движения в 1912 г. отразился неизменно на матросах, в данном случае Балтийского флота. Как известно, в 1912 г. на 23 июня был обнаружен одним шпионом заговор на броненосце „Цесаревич".

Известна роль матросов военного Балтийского флота и Кронштадта в Октябрьскую революцию. Во всех этих восстаниях выявилась намеченная т. Лениным еще в 90-х годах роль рабочего класса, как гегемона в великой русской революции в союзе с крестьянством.

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы. На фоне общего обостряющегося недовольства в России в 1905 г. грозовые тучи скопились в июне в Черноморском военном флоте. Матросы, представлявшие собой союз рабочего и крестьянина, создали „движущую силу" русской революции. Стихийное движение среди них опередило даже нашу партию. Еще до принятия резолюции о подготовке к вооруженному восстанию на III съезде нашей партии матросы военного флота ставили уже вопрос о вооруженном восстании.

Большевики в Одессе на деле не только не были готовы серьезно в военном смысле руководить таким восстанием, как восстание военного корабля, но были, кроме того, разгромлены жандармами. Власть в комитете была захвачена большевиком-примиренцем, фактически переметнувшимся на сторону меньшевиков. Трое членов Одесского комитета большевиков, стоявшие на правильной точке зрения, были в этот момент или больны, как Дяденька и Наум, или оттеснены, как т. Тимофей, отрезаны ловким примиренцем и от броненосца и от возможности собрать комитет.

Черноморский флот и броненосец „Потемкин" организационно были связаны с меньшевиками. Последние вели работу не на доведение восстания до захвата власти, а на разжижение и распыление

движения матросов. Поэтому, когда гроза разразилась в Одессе, где к тому же не было внутренних революционных сил, могущих поддержать восстание, они создали для руководства броненосцем не военно-революционный штаб, а говорильню в виде „Объединенной комиссии" соц.-дем. организаций. Последняя применила по отношению к броненосцу в корне ошибочную тактику, пригодную в лучшем случае к проведению всеобщей забастовки, но никак не для руководства восстанием броненосца. Матросы „Потемкина", когда шли в бой с целой эскадрой, когда перед ними были революционные перспективы, доказали в этот момент свою готовность бороться за революционные цели и разложились затем, когда их „Объединенная комиссия" с.-д. организаций оставила в бездействии и без перспектив на будущее.

Никогда история не ставила так определенно требования на энергичное революционное руководство, как в этот момент. Если бы в Одесском комитете нашлись люди более энергичные и более знакомые с военным делом, если бы, наконец, т. Тимофею удалось созвать большевистский комитет и с авторитетом последнего попасть на броненосец вместо примиренца Афанасия, посланного туда примиренцем Михаилом, если бы броненосец под его влиянием начал действовать по рецепту К. Маркса и т. Ленина, т. е. повел дело на захват города, — восстание могло окончиться более благоприятно, чем так, как произошло на самом деле.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

№ 1.

Письмо № 12 рег. 47.

ПИСЬМО А. С. ШАПОВАЛОВА ТОВ. ЛЕНИНУ В 1905 Г.

Отчет ответственного организатора Вокзала, Фонтана и Дальника.

Отчет через Нацию № 2 о соц.-дем. работе я могу дать с последних чисел апреля и до 2 июня, затем с 1 июля и по настоящее время. Отчет этот не может быть полным и подробным, так как все записки были уничтожены во время ареста секретаря района: Дальник, Вокзал и Фонтан. Всей работой руководит районный центр. Первое время состав его был довольно неудовлетворителен. В нем было 6 рабочих-централистов, 2 подорганизатора и организатор. Собирался он по 2 июня 6 раз. Затем на Дальнике и Вокзале были два центральных кружка. Дальницкий кружок руководил работой на 10 заводах: Гена, цементный, маслобойный, кожевенный, сахарный, Мюллер, пробочный, сцепщики, стрелочники и телеграфисты. Вообще охватывал ж.-д. мастерские и депо. На Фонтане у нас только завязались связи. Заводские центры, кроме Вокзала, были у Гена, в цементном, маслобойном, у сцепщиков и телеграфистов называются эти центры группами была еще смешанная группа, в которую входили заводы: Нотович, Кац, Келлер, каменщики и слесарная мастерская. На остальных заводах у нас были связи. Они были в общей сложности на 22 заводах. На сахарном заводе, на джутовой фабрике и на Фонтане организовались группы. Первое время особенно много усилий пришлось употребить на борьбу с неорганизованностью, которая проникала все сверху донизу. Пропаганда на летучках и в кружках велась без всякого плана. Пропагандисты работали без

всякого плана и руководства. Каждый из них говорил, что бог на душу положит. Один говорил о развитии и возникновении крепостного права, другой — о первобытном коммунизме, третий — о национализме. От этого рабочие получали не знания, а какие-то обрезки знаний; им излагалось не стройное мировоззрение, а какая-то каша. Пропагандисты района видели корень зла в ответственном руководителе Михаиле Эммануиловс и неоднократно требовали, чтобы я заявил от имени района в К-т, чтобы Михаила убрали. Не имея в руках фактов и не зная тов. Михаила, я не обратил внимания на их заявления, и их голос долго оставался „гласом вопиющего в пустыне". Агитация также велась без всякого руководства, не была централизована. Районные агитаторские группы долго не были организованы. Во время забастовки, когда была страшная нужда в агитаторах, ответственного агитатора Михаила нельзя было найти. Распространение листков и литературы тоже не было организовано. Только за последнее время, незадолго до провала, была организована техническая группа. До этого централисты, которым приходится вести агитацию, заводить новые связи, организовывать летучки, массовки и кружки, сами ходили за литературой, носили ее к себе, хранили ее в своих квартирах и сами распространяли. Пропаганду поставить мало-мальски удовлетворительно так и не удалось, так как ответственным пропагандистом до последнего времени был тот же тов. Михаил. Дело с агитацией пока удалось несколько двинуть. Была организована агитаторская районная группа. Затем для распространения листков была устроена техническая группа. Кроме того, мне было поручено сделать все возможное для создания политических клубов. Эти последние не могли осуществиться за неимением квартир. В самом начале, т. е. в апреле и мае, пришлось посвятить все время на самооборону, ибо тогда можно было ожидать еврейского погрома. Самооборона была организована довольно плохо и могла иметь лишь агитационное значение. Затем с первых чисел мая началась забастовка, продолжавшаяся полтора месяца. Подробный отчет о ней можно иметь в бюллетенях, переданных в К-т. В это время главное внимание было обращено на агитацию, на использование стачки, на завязывание связей. На практические занятия в центральных кружках и в заводских группах и на пропаганду не было времени. Явочные квартиры района функционировали в это время каждый день. Оттуда рассылались агитаторы, туда сходились все сведения, и там писались бюллетени и составлялись листки. Листков в это время район выпустил 8—10. Во время стачки нам во всем Дальницком районе нигде, за исключением вокзала и Вальтуха, не пришлось столкнуться с меньшевиками. Их не было там видно; везде стачкой руководили мы. На Вокзале наши дела в это время тоже очень поправились. Работа шла. Центральный кружок собирался для правильных занятий 6 раз. 3 вокзальных группы собирались 3 раза. 3 кружка пропаганды собирались в общей сложности 12 раз. Массовок было 6, на первую явилось 9 человек, на вторую — 18 ч., на третью — 20 ч., на четвертую — 25 ч., на пятую — 30 ч., на шестую — 35 ч. На Дальнике наши ораторы говорили у заводов, в трактирах и за городом в саду, на Балковской улице. 2 митинга были в 200 человек. Связи со сценщиками, телеграфистами и жел.-дор. мы не могли использовать. У К-та не было на это ни сил, ни средств. Дискуссии не смогли устроить за неимением квартиры, а также из-за нежелания меньшевиков. Последние в борьбе с ними попрежнему прибегали к демагогическим приемам. В то время, когда велись переговоры о соединении на время стачки с отколовшейся группой и Бундом, район высказался категорически против объединения ввиду того, что в тех заводах, где происходили стачки, у меньшевиков не было никаких связей. Вообще во время стачки работа у нас хорошо налаживалась. Большим препятствием являлся недостаток денег и квартир. В середине мая комитет неожиданно для себя, вследствие того, что финансовая часть не была орга-

зована, оказался буквально без гроша денег. Это заставило многих централистов и групповиков уехать из Одессы или поступить на работу в другой (район) части города и фактически уйти из организации. Второй, самый страшный удар был нанесен во время моей болезни, 2 июня. Тогда была арестована вся Дальницкая организация. Взяты были все ораторы, централисты, организаторы и пропагандисты. На сносной квартире было арестовано 4 000 листков. Через несколько дней провалилась у комитета техника [1]. Это еще более ухудшило положение дела. Я был болен. Комитет послал двух товарищей, но без централистов, они ничего не могли сделать. Вследствие того целый месяц и даже больше работа на Дальнике не велась. Арест всей Дальницкой организации 2 июня, военное положение, аресты и высылки, отсутствие денег, квартир, техники, — все это отразилось самым пагубным образом на работе. Организация, созданная с таким трудом, была уничтожена. Приходилось созидать новую, начинать неблагодарную кустарническую работу. Это было чрезвычайно трудно. Военное положение нагнало страшную панику. Все лучшие централисты отказывались работать и собирались уезжать. Те, которые собирались работать, не могли собираться за отсутствием квартир. Приходилось встречаться и сталкиваться с отдельными лицами на улице. Только к концу июня удалось собрать районное собрание. На Вокзале сорганизовано 3 кружка, но они по тем же причинам, о которых я говорил выше, собираются не в полном составе или очень нерегулярно. На Дальнике восстановили связь с цементным заводом, у Гена, на маслобойном, у Мюллера, на пробочном, у Беллера, Вальтуха, телеграфистов, на кожевенном, сахарном, джутовой фабрике. Все листки ЦК, брошюры, местный листок, — все это распространено. Но технической группы нет и сейчас; ее создать трудно. Группы агитаторов, политический клуб можно будет создать только в будущем. Летучки устраиваются у Вальтуха, Беллера, Энгеля, Мюллера. Имеется пропагандистский кружок на цементном заводе. Скоро будет на маслобойном и кожевенном. Районное собрание собиралось 2 раза. Один раз обсуждалось положение дел. Собрание отнеслось с осуждением к нерешительной, ошибочной тактике Объединенного комитета во время пребывания броненосца „Потемкина". Во втором собрании обсуждалась резолюция III съезда.

Собрание вынесло резолюцию, признающую III съезд партийным, выразившую солидарность с его решениями и надежду на присоединение отколовшейся части партии ввиду того, что съездом сделано все возможное для объединения. Денежные взносы прививаются страшно трудно. Объясняется это тем, что рабочие во время стачки очень задолжали и обеднели. Что касается вооружения, то это здесь возможно только среди самых передовых и преданных товарищей. В общем хотя медленно, но работа опять налаживается. Во всем районе, как ни плохи дела, но они все-таки лучше, чем у меньшевиков. У них связей больше разве только у Вальтуха. Имеются связи на вокзале, но меньше, чем у нас. На котельных заводах их связи замечаются. Можно с уверенностью сказать, что, если бы у нас были деньги, можно было бы их всюду вытеснить. У них нет, конечно, и не может быть сознательных рабочих. Имеются еще неразобравшиеся в партийных разногласиях молодые рабочие, сбиваемые с толку демагогическими приемами. Единственно, в чем перещеголяли нас меньшевики, это — частые выпуски листков. Последние выходят у них еженедельно. Наш комитет собирается создать местный орган, но отсутствие денег не дало возможности осуществить это. Меньшевики с 1 сентября выпускают местную газету под названием „Пролетарское Дело". В последнее время для передовых рабочих у нас были прочитаны два реферата: 1) об организационных несогласиях с меньшевиками, 2) о тактических разногласиях.

[1] Подпольная типография.

Читал тов. С. И. Рефераты эти принесли большую пользу. Товарищ читал очень хорошо. Многое разъяснилось, так что централисты чувствуют себя лучше вооруженными в борьбе и очень довольны рефератами. Желательно их почаще устраивать.

Мохов.

№ 2.

Письмо № 196 рег. 47.

ПИСЬМО А. С. ШАПОВАЛОВА ИЗ ОДЕССЫ 21 АВГУСТА 1905 Г.

Нас просили сообщить вам, что Фельдман, надзиратель тюрьмы и часовой — все трое благополучно перешли границу. Об этом можно напечатать. Сообщаю об этом я, так как секретаря сегодня не встретил. Положение дел следующее. Денег еще нет. Испытываем страшную нужду. Из-за отсутствия денег техника теперь не функционирует. Листки выходят очень редко и с большим опозданием. Печатаем их в других типографиях. Пропаганда и агитация до сих пор не налажены. Ввиду этого Михаила, ответственного пропагандиста, мы исключили из комитета. Связи у нас с рабочими есть. Я не хочу хвастать, но в нашем районе, на Дальнике, мы можем поспорить и количеством и качеством. Много надежд возлагалось на книгоиздательство. Мы писали, чтобы не имели вы за границей дела с „Буревестником". Это — жулик, прохвост, доносчик. Недавно арестовали, вероятно по доносу „Буревестника",... принимавший видное участие в книгоиздательстве „Вперед". Вчера конфисковано полицией 2 000 издания „Вперед". Все это — подвохи „Буревестника", не иначе. Прекратите с ним всякие сношения.

Примирение с отколовшимися, вероятно, не состоится, ибо они не хотят признать III съезда. Впрочем, может, их руководящий коллектив выскажется за объединение, хотя на это надежды мало. В общем к осени дело должно улучшиться несомненно. Улучшение финансов, постановка техники, связи с обществом. Организация еще не вылилась в твердо определенные формы. Районные комитеты еще находятся в процессе образования и оставляют желать многого. Агитаторских групп, районных и центральных, после провалов в июне не существует. Распространение литературы не централизовано и не организовано. При полном отсутствии денег — полное отсутствие квартир, доходящее до того, что К-ту негде собираться. Нужно работать и работать; главное внимание надо обратить на финансовую часть и на связи с обществом. Тогда будут и деньги и квартиры. Затем необходимо рабочих-централистов устраивать на заводах. Это избавит организацию от массы людей, живущих на средства партии, затем вольет живую воду в рабочую среду, из которой полиция повымела более сознательных и энергичных. Те централисты, которые теперь и работают, все провалены, сидело по нескольку раз. С ними работать трудно, — замараешься.

Невозможно предпринять что-либо о вооружении. Письмо это из Одессы от меня будет последним. Захворал я. Надо уехать лечиться.

Мохов.

№ 3.

Письмо № 195 рег. 47. 28 июня 1905 г.

ПИСЬМО А. С. ШАПОВАЛОВА.

До апреля месяца сего года Одесский комитет организован был следующим образом. Он состоял из пяти лиц. Из них один заведывал техникой, другой — общественной секцией, третий — интеллигентской секцией, четвертый секретарствовал, пятый исполнял всю остальную работу. Он был организатором всего города, руководил пропагандой и агитацией и литературной группой. Такая организация была совершенно нерациональна. Товарищи, заседавшие в нем, ставили главной целью поддерживать традиции

комитета, т. е. политику большинства. Исполнив эту цель — удержать комитет в руках «передовцев», они не могли справиться с работой при такой организации, и работа была страшно запущена. Комитет проявил себя страшно слабо. Его члены именно, надо полагать, только заседали, а не работали. При таких условиях легко объяснить себе временный успех изменников партии меньшевиков. При таких условиях, когда работа не ведется, рано или поздно должен настать кризис, и он настал. В марте приехал из Николаева тов. Афанасий. Он предложил свои услуги комитету. Ему дали организаторскую работу, но в комитет не взяли, так как он страшно невыдержанный, вообще малоспособный человек. Обиженный, он стал вести агитацию против комитета. Последний, вероятно, испугавшись, кооптировал его в комитет. Тогда он агитацию не прекратил, а усилил. В результате периферия выразила недоверие большинству членов комитета. Члены комитета тоже вынесли друг другу недоверие. В этот момент приехал я. Мне предложили вступить в комитет. Войдя в его состав, я убедился, что он попрежнему мало работоспособен. Я начал работать на Дальнике. С первых же шагов мне бросилось в глаза полное отсутствие организации. Не было районного центра, не было заводских центров. Было всего несколько централистов, были связи по одному человеку далеко не на всех заводах Дальника. Не было технической группы, агитаторской. Приходилось начинать все с начала, связывать, собирать. Надо признаться, что особенно трудно быть ответственным организатором, когда подорганизаторы — интеллигенты, а ответственный организатор — рабочий. Трудно избежать всевозможных трений на основе самолюбия интеллигентского анархизма. Во время стачки мы расширили связи, образовали районный центр, два центральных кружка и несколько заводских центров. Но вскоре я захворал. Во время моей болезни подорганизаторы созвали всех централистов-агитаторов, организаторов и пропагандистов на общее собрание для обсуждения резолюции III съезда. Когда спросили моего мнения, я опротестовал такое большое собрание, предлагал проводить резолюцию в кружках. Мне заявили, что мы теперь имеем право автономии. Собрание было созвано и на первый раз провалилось. Рушилась вся организация Дальника. Теперь опять ничего нет. Неорганизованность сказалась и в постановке материальных средств. Деньги собирали по-домашнему, отчета не было. В мае представитель общественной секции заявил, что денег нет и не предвидится на все летние месяцы. Когда от него потребовали отчета, он оскорбился и ушел из комитета. Комитет оказался в отчаянном положении. Вскоре провалилась техника. Комитет остался без денег и техники. Когда пришел броненосец, комитет растерялся. Товарищи Михаил, Афанасий и Тарас, узнавшие первые об этом, созвали объединенную комиссию из представителей комитета, группы и Бунда. Комиссия потратила драгоценное время на обсуждение, как называться Бунду — Бундом или Всеобщим еврейским рабочим союзом.

Представители организаций держались ошибочного выжидательного образа действий, удерживали матросов от решительных действий, разделяя с ними наивные надежды на приход всей эскадры и переход ее на сторону революции. Можно было вперед предсказать, что надеяться на эскадру нелепо. Представители организаций высказались за дарование жизни и свободы офицерам судна, несмотря на то, что, выпуская их, они обнаруживали тайну команды, — что миноносец № 267 не имеет ни одной мины.

Таким образом, благодаря неорганизованности, комитет оказался без копейки денег, без техники, при плохом составе, в котором не было решительных и дельных людей, не мог организовать предупредительных мер против босяков, не мог устроить похороны убитого матроса. Я был в это время болен, но мог маленькое участие, как выздоравливающий, принять, но, как мне пишут, никто не пришел, и я не знал, что Афанасий послан без

решения комитета ,что комитет во все время событий не собирался. Кроме меня, еще три члена комитета оказались отрезанными, оторванными. Впрочем, если бы мы и были в курсе дела, вероятно, мало изменили бы дело. Только не допустили бы дело до созыва комиссии. Затем послали бы еще одного товарища на броненосец.

Мохов.

№ 4.

Письмо № 184 рег. 47.

ПИСЬМО Л. М. КНИПОВИЧ.

24/VI. Одесса.

Дорогие товарищи!

Приехал Добрынин и думал ехать нагонять броненосец. Наш представитель, съехавший с броненосца по какому-то поручению и больше не попавший на него (2 м-ка там), до сих пор не отдал отчета, но, повидимому, дело было так. Была образована комиссия из всех с.-д. организаций по делу всеобщей стачки. Когда пришло на берег обращение матросов к с.-д. организациям с неожиданно появившегося „Потемкина", эта же комиссия стала вести дело с броненосцем, и Томич, бывший в этой комиссии от большевиков, стал действовать без помощи комитета. Эта комиссия послала на броненосец представителей от организаций, дав ему лозунг: половина команды делает десант, другая — остается у орудий. С броненосца дают оружие и рабочим (сколько у них есть). Затем рабочие и матросы под прикрытием орудий идут на арсеналы. На войско рассчитывали, что оно перейдет на сторону рабочих. Матросы не согласились делить свои силы (вполне сознательных из всей команды — около 300 человек) и согласились на бомбардировку, не согласившись на десант. Для десанта предлагали ждать всей эскадры, настроение команды которой, по их словам, было революционным. Представители решили ждать прибытия всей эскадры и пропустили время, проиграли момент революции. Один рабочий — член комитета — требовал бомбардировки 15-го, но собрать комитет не было возможности. Томич заседал где-то со своей комиссией и не являлся ни на одну явку. Все эти события создали такие (отношения. — *А. Ш.)* между членами комитета, что на собрании 24/VI вынесена следующая резолюция: „Исключая из обсуждения комитета вопрос о доверии к тому или иному члену комитета, Одесский комитет считает необходимым заменить весь его состав, ввиду обнаруживающегося, хотя и негласно, недовольства и недоверия к работоспособности комитета со стороны периферии, во-первых, ввиду невозможности поставить лучше работу со стороны самих членов комитета при создавшихся отношениях внутри самого комитета и между членами комитета и периферией, во-вторых, и по конспиративным соображениям, в-третьих.

Томича комитет обвинял в узурпации власти в деле с броненосцем. Периферия не выносит его (Томича. — *А. Ш.)* ни как руководителя пропаганды, ни как организатора. Томич поставил вопрос о доверии: приняли эту резолюцию. Пишите всюду, чтоб посылали работников.

Чухна.

№ 5.

Письмо № 181 рег. 47.

ПИСЬМО Л. М. КНИПОВИЧ.

23/VI. От Чухны из Одессы.

Дорогие товарищи, у нас теперь отчаянное положение: всем нужно уехать вплоть до централистов, а взять народу неоткуда. Пишите всюду, чтобы к нам ехал народ, иначе распадется вся организация. Все перепач-

калась за время беспорядков; ряд централистов и агитаторов уже отослали, да придется сменить и весь комитет. Один из комитета едет завтра к вам. Даже этот (по мнению Д-ки), больше чем средний работник был раньше в Ник., напустил туда меньше лков, здесь кооптация его была опротестована Д-нам [1], а затем он вошел в комитет благодаря вмешательству Щуки, играл некрасивую роль в столкновении комитета с периферией (в апреле) и теперь случайно попал на выдающуюся роль в последних событиях и роль эту провалил.

С ним к вам едет и Нищий, он хорошо работал, но я не понимаю, как сейчас можно уезжать из России. Кроме едущего [здесь] к вам едет Тарас, которому нужно уехать как можно скорее, Наум Шаповалов, Хрусталев из Питера. Томич — очень ценный [работник] теоретик и никуда не годный организатор. Дяденька, которому тоже нужно уехать, и педагог — казначей. Наум болен глазами и не работает уже около месяца; итак, людей нет и денег нет, и если центры не примут энергичных мер, организация здешняя распадется. Пиши всюду, сделай все, чтобы помочь [Ц]. Сейчас получили часть транспорта, получили и еще надо уплатить за это, а сборов едва хватает на усиленную отсылку товарищей. Пусть приедет кто-либо от ЦК; необходимо созвать южную конференцию, а руководить этим созывом некому; очень скоро придется задать лататы к... [2] Д-ки. 8 месяцев, проведенных здесь, сделали его слишком популярным.

№ 6.

Письмо № 197 рег. 47.

В ЦК РСДРП.

За время моего отсутствия в Одесском комитете произошли значительные перемены в составе его. Как я узнал, изменение состава совершилось под давлением его периферии, на суд которой вынесен был вопрос о работоспособности и доверии к одному из членов коллегии. Факт, что периферия была недовольна составом коллегии, приписывая именно этому составу недостаточную работоспособность, был известен комитету. Я считаю такой шаг крайне ошибочным и вредным. Комитет создал прецедент для постоянного вмешательства периферии в вопрос о составе комитета. Я считаю этот [факт] шаг и бестактным со стороны коллегии, так как недоверие существовало (и существует в [3] составе) ко всей коллегии. Коллегия в данном случае свела личные счеты. Я настаиваю, чтобы инцидент с товарищем Ос., вышедшим из состава комитета, был возможно скорее разрешен ЦК, так как в лице товарища мы потеряли очень активного работника, выдержанного и последовательного партийного деятеля, каких у нас здесь очень немного.

Член А. К... в... (Неразборчива подпись).

№ 7.

Письмо № 205 рег. 47.

ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА ТОВ. С. И. ГУСЕВА.

От Нации. Личное для Ленина.

Дорогой Владимир Ильич! Наконец начинаю вновь свою переписку и предупреждаю: засыплю вас письмами. Не писал лишь потому, что приходилось много работать при крайне неблагоприятных условиях. Теперь

[1] Или „Д-ком". — *А. Ш.*

[2] Два слова неразборчивы. — *А. Ш.*

[3] Пропуск.

дела улучшились, но все-таки в организации чувствуется еще сильная слабость, как результат долгой, хронической болезни. А картину мы здесь застали поистине отвратительную: постоянные раздоры и сплетни в комитете, кумовство, обывательщина, халатное отношение к работе, неконспиративность — прямо ужасающая — комитета и периферии, паразитизм, наполнение организации никуда не годными. Нам предстоит произвести чистку Авгиевых конюшен. О постановке работы можете судить по посылаемому вам отчету Мохова.

№ 8.

Письмо № 204 рег. 47.

ПИСЬМО С. И. ГУСЕВА ИЗ ОДЕССЫ. 12 АВГУСТА.

№ 1. Личное для Ленина. Ключ Харитона.

Нация.

Дорогие друзья! Я уже вполне поправился и вновь работаю. Дела здесь весьма, весьма плохи. Главная беда — отсутствие денег. Надеюсь, что вскоре дело поправится. Отвечаю на ваши запросы. Куда уехал Тарас, не знаю: кажется, в Курск. Мохов — рабочий, хороший работник. Но теперь он болен, и ему необходимо месяца два серьезно полечиться. Порфирий не приезжал. Посланный вами на броненосец „Бакинец" сидит, по слухам, в Севастополе. Старая явка отменяется. Вот вам новая: . . . . .

Вот адреса для писем: . . . . . .

Адрес на редакцию отменяется. Пожалуйста, пришлите все адреса, по которым вы посылаете сюда „Пролетарий". Есть много проходимцев, „на дурницу" пользующихся газетой, мы же ни единого экземпляра не получаем. Следовало бы таким способом проверить адреса по всем комитетам. Я убежден, что 75% оказались бы лишними. Вот еще вам адреса: . . . . . .

Нация.

№ 9.

Письмо № 201 рег. 47.

ПИСЬМО Н. К. КРУПСКОЙ.

Это надо написать химией.

Одесса. Ключ Харитона.

10/VIII. Дорогой друг! Недавно послали вам письмо [за подп.] ключом Даши (Дяденьки), теперь узнали, что он уже уехал оттуда. Пожалуй, без него не разберете письма. Пришлите скорее явку, а еще лучше две. Вы просите присылать людей [явку], а из лег. газет мы узнаем, что явка ваша не действует. Думаем послать к вам Пятницу Спицу (хороший пропагандист, комитетчик, будет жить на свои деньги), одного берлинца (хорошего техника лег.). Приехал ли уже к вам Порфирий из Екатер.? Можем послать одного очень славного парнька — агитатора. Вообще люди, пожалуй, найдутся, но нужна явка!! Куда уехали Тарас и Мохов? От Мохова получили два письма, очень они мрачны. Конечно, очень обидно, что подбор комитета был столь неудачный, и что не сделано того, что могло быть сделано. Но задним числом горевать нечего, постараемся употребить все усилия, чтобы новый состав был лучше. Правда, мы многого не можем, но, что можем, сделаем. В отчаяние приходить все же не след. Время теперь тяжелое, работа ответственная, работников мало, все измотались, меньшевики всюду ножку подсовывают... При таких условиях, конечно, очень тяжело работать, виднее вот дефекты работы, трудно мириться с недостатками товарищей, но падать духом все же не след. В общем и целом работа идет и растет с каждым днем, и усилия не пропадают даром... За

письма Мохову большое спасибо. Просим и впредь писать так же обстоятельно, да кстати давать и адреса для ответов. А куда делся Михаил? Корреспонденции Л. получаем аккуратно (последняя № 3-й из Екат.), большое спасибо, а то ужасно по этой части плохо дело стоит.

Сообщаю адрес одного сочувствующего, который берется делать для комитета сборы. Связи у него очень большие. Может быть полезен и в других отношениях. Одесса, десятая станция, средний фонтан, дача Гольдсмита, спросить мюнхенского студента Петра Розенфельда, сказать от Бобрикова.

Поправляйтесь скорее! Крепко жмем руку.

P. S. Тут ходят слухи об избиении политических в тюрьме. Правда ли это?

№ 10.

Письмо № 227 рег. 47.

ПРОТОКОЛ ОДЕССКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б).

I заседание.

При обсуждении вопроса о положении дел в районах тов. Н. (Наум. — *А. Ш.)* указывает на то, что различие точек зрения некоторых организаторов, работающих в разных районах, представляет крайнее неудобство. Специально тов. Михаил — примиренец, очень вредно влияющий на рабочих. Вообще он — негодный работник: как ответственный пропагандист он ничего не сделал, как организатор он растерял связи (напр., в каменоломнях), на каждом шагу его надували, смеялись над ним, а он смотрел на все, что творилось в районе, сквозь пальцы, и благодаря этому произошла история с Луизой; о броненосце он до сих пор еще не дал отчета, несмотря на многократные требования. Как литератор он сделал также очень мало и давал такие удачные лозунги, как „долой капиталистов". Вся его деятельность собственно сводилась к заседательству в комитете. Как ответственный за комитетскую коллегию, я должен предложить тов. Мих. уйти из комитета. Я не могу ему доверить своих пропагандистов и рабочих. И когда он явится на Дальник, мне ничего не останется сделать, как уйти.

Тов. Л. (Книпович. — *А. Ш.*). В вопросе о примирении у тов. М. нет выдержанных взглядов, но точка зрения не партийна, он поступается принципами. Раньше у него не замечалось „примиренчества". Но теперь все решительно пропагандисты заявляют, что он им ничего не дал, потому что ни на один вопрос он ни разу, никогда не дал определенного ответа. Всюду у него обнаруживалась половинчатая точка зрения. Для роли организатора он не имеет никаких соответственных способностей. Общее отношение периферии к тов. М. насмешливое, как к человеку, не понимающему своей непригодности. Сказать, что вся его деятельность сводится только к заседательству в комитете, я не могу: он работал и работает, но его работа приносит только вред. Работать при таком отношении периферии совершенно невозможно.

Тов. Т. (Тимофей. — *А. Ш.).* В настоящее время тов. М. считается ответственным организатором Слободки. Что же он там делает? Раз или два в неделю он видается с тов. В. (Василий. — *А. Ш.*) и у него собирает сведения о том, что делается в районе. Неудивительно, что при таком отношении к делу создаются и распускаются про комитет в рабочей массе слухи, что там сидят люди, чужими руками загребающие жар. И действительно, разве это организатор? Это — газетный корреспондент, репортер, но не более. На Пересыпи он напустил в район „примиренцев", тормозивших работу комитета, был там до последней степени дискредитирован тов. М., и районное собрание имело такой состав, что его приходилось разгонять. Неодно-

кратно уже тов. М. намекали и говорили, что ему пора выйти. Он этого упорно не хотел понять, но тогда остается поставить вопрос ребром. Если он сам не хочет выходить, то его нужно заставить немедленно выйти.

Тов. М. (Михаил. — *А. Ш.*) обещал представить конспект своей речи, но не представил.

Тов. Н. настаивает на том, что тов. М. должен выйти из комитета в течение определенного срока.

Тов. Л. согласен с таким предложением, но считает ненужным устанавливать срок выхода.

Тов. Т. Мы должны считаться с мнением большинства периферии и комитета, которые не раз уже высказывались отрицательно по отношению к тов. М. Прямо в интересах комитета назначить срок, и сам тов. М. вынуждает нас ставить вопрос более резко. Он обещал уже не раз уйти, но все не уходит. Тогда ничего не остается, как назначить ему определенный срок.

Тов. М. Тогда нужно будет поставить вопрос прямо. Сделайте постановление о моем выходе из комитета немедленно же, а не ставьте вопрос так, как его ставит тов. Л.

Голосуется предложение: предложить тов. М. немедленно выйти из комитета. За — тов. Н. и тов. Т., против — тов. Л.; тов. С. (С. И. Гусев. — *А. Ш.*) воздерживается, мотивируя свое воздержание тем, что ввиду недавнего пребывания в комитете, он совершенно не осведомлен и вынужден поэтому воздерживаться.

Тов. М. Я считаю обвинения товарищей более чем субъективными, ввиду того, что этот факт моего исключения из комитета имеет большое значение для моей политической чести...

Тов. Т. Для дела, а не для карьеры...

Тов. М. Прошу занести эти слова в протокол. Я нахожу, что тов. С. не имеет права воздерживаться в таком важном вопросе, когда решается участь одного из товарищей и когда он видит, как небрежно обращаются товарищи с политической честью других товарищей.

Тов. С. [1]. Но что же я могу сделать? Я не имею оснований не доверять ни тов. М., ни тов. Н. и тов. Т. Я обязан верить всем и поэтому вынужден воздерживаться.

Тов. М. Тогда обратитесь к периферии...

Тт. Н. и Т. О, пожалуйста, пожалуйста...

Тов. М. Поройтесь в архиве.

Тов. С. Мне очень не хотелось бы брать на себя роль третейского судьи, рыться, опрашивать, допрашивать и т. д. Я думаю, что лучший способ разрешить этот конфликт, это — обращение не к периферии, а к ЦК, что указано также и в уставе.

II заседание.

Тов. М. Согласно уставу, вчерашнее решение товарищей не имеет формальной силы, так как для исключения требуется $^2/_3$ голосов. Я прошу представить мне протоколы настоящих заседаний, как способ защиты против обвинений, которые крайне субъективны. Эти обвинения налагают на мою политическую честь пятна, а посему прошу дать мне все необходимое для реабилитации.

Тов. Т. Хороший состав ЦК у нас обеспечивается выборным началом и возможностью всегда произвести выборы новые. Чем гарантируется хороший состав местных центров, если нет выборного начала: какие гарантии, что при отсутствии выборного начала в комитете не будут люди, к которым периферия относится с недоверием? Единственная гарантия — это то,

[1] С. И. Гусев.

что комитет будет чутко прислушиваться к мнению периферии. Поэтому ссылка на $^2/_3$, сделанная тов. М., совершенно несостоятельна. Не в $^2/_3$ голосов комитета тут дело, а во мнении периферии и в отношении ее и тов. М. Что касается пятна, которое наше решение налагает на тов. М., то он сам напрашивается на него. Ему же говорили еще вчера: уходите, уходите просто, без скандала. Он не хотел, он требовал, чтобы на него наложили пятно, добивался.

Тов. Н. Да, формальной силы наше постановление, конечно, не имеет. Тов. М. может остаться, если желает, и обратиться, как он предполагает, к периферии со своей реабилитацией, а не к ЦК. Но если он начнет свою агитацию среди периферии, то мы вынуждены будем вести контр-агитацию. К чему это поведет, какие вредные последствия из этого выйдут, — довольно ясно. Тов. М. может остаться, но я обращаюсь к нему с предложением: уходите лучше подобру-поздорову. Если вы не хотите, чтобы на вас не было пятна (исключен из комитета), то просто уходите.

Тов. Л. Тов. М. вправе требовать, чтобы мы ему дали возможность оправдаться. Никто против этого не возражает. Коллегия пропагандистов не доверяет тов. М., и если он обратиться к ней, то добьется этого ответа. Так, в последний раз в вопросах о профессиональных союзах тов. М. никто не поддерживал, кроме тов. О. (Осип. — *А. Ш.*), все были против его точки зрения.

Тов. М. Только двое были против, остальные — за.

Тов. Л. А мне передавали, что дело было именно так. Обсуждался вопрос о профессиональных союзах, точка зрения тов. М. — мы должны приняться за организацию профессиональных союзов.

Тов. М. Теперь. Сейчас.

Тов. Л. Да, конечно, теперь, сейчас, потому что речь шла о России, о русской партии, а не об Англии, Китае и пр. Все товарищи были против такой точки зрения, указывали, что задача партии в настоящий момент — использовать эти союзы, пропитать их с.-д. взглядами. Для меня возникает вопрос, может ли продолжаться подобная канитель, чтобы вы, являясь представителем комитета, проводили меньшевистские лозунги. Вы доказывали, что между большевиками и меньшевиками в организационном вопросе нет принципиальной разницы. Обращение к периферии я считаю неудобным. Начнется агитация и контр-агитация, которой до сих пор еще не было.

Тов. М. Была.

Тов. Л. Со стороны кого?

Тов. М. Со стороны комитета и двух членов периферии. Категорически заявляю, что свой реферат я заключил словами: ошибка меньшевиков в том, что при самодержавии они считают возможным развитие профессиональных союзов. Вообще же с.-д. должна взять на себя организацию профессиональных союзов. Что касается организационного вопроса, то я сказал, что и меньшевики являются централистами, но теперь они централизм отрицают. Неверная передача моих слов объясняется тем, что некоторые товарищи (например, тов. Н.) предвзято отыскивают в моих рефератах оппортунистические тенденции, которых в них совершенно нет.

Тов. С. указывает, что дело, повидимому, все более и более запутывается; к вчерашним обвинениям тов. М. против тов. М. присоединились новые многочисленные обвинения. Со своей стороны, тов. М. также высказывает обвинения против тт. Н. и Т. Клубок все более запутывается, а обращение к периферии окончательно, до последней степени запутает дело, внесет раздоры, дрязги, сплетни, остановит работу, дезорганизует комитет. Второе уже заседание мы тратим на дело, никакого отношения не имеющее к нашей работе. Необходимо поскорей и решительно покончить с этим и ни в коем случае не допускать обращения тов. М. к периферии, а предло-

жить ему обратиться в ЦК. При тех отношениях, какие теперь в комитете, работа немыслима.

Тов. М. протестует против предложения тов. С. Это — насилие над моей личностью, так как меня лишают возможности реабилитировать себя. Никаких дрязг я подымать не буду.

Тов. Л. предлагает закрыть лист ораторов. Предложение принято, причем последнее слово решено предоставить тов. М.

Тов. Т. Во всех ответах тов. М. пестрели словечки: субъективно, предвзято. Когда все тт. Д., Т., С., В., я и Н.[1] говорим и утверждаем о тов. М. одно и то же, — это по теории тов. М. называется субъективным.

Тов. С. вносит предложение: предложить тов. М., ввиду невозможности дальнейшей работы в комитете, выйти временно из комитета, не теряя звания члена комитета, обратиться в ЦК с предложением уладить этот конфликт. Не переносить этот конфликт дальше на периферию, как дезорганизующий работу, вносящий раздоры, дрязги и сплетни.

Тов. Л. делает заявление, что он присоединяется к резолюции, принятой накануне (предложить тов. М. немедленно выйти из комитета).

Тов. М. Я буду бороться. Я исключен из комитета по причине якобы презрительного отношения ко мне периферии...

Тт. Т. и Н. По причине вашей негодности.

Тов. М. запрашивает, дает ли комитет ему работу, в частности оставит ли за ним функцию ответственного пропагандиста.

Голосование дает три голоса против при одном воздержавшемся (тов. С.).

Решено единогласно предоставить тов. М. функцию пропагандиста.

Тов. М. просит выдать ему протоколы настоящих двух собраний.

Решено выдать.

Тов. М. Я обращу внимание ЦК на то, что еще раньше состоялось постановление комитета, что все его члены должны разъехаться при первой возможности. Я буду добиваться этого, во-первых, ввиду отношения к ним периферии, во-вторых, потому что я не считаю их пригодными к роли политических руководителей.

Тов. Н. Решение разъехаться было постановлено по 3 причинам: 1) отношения внутри комитета; 2) отношение периферии к комитету и 3) конспиративные соображения.

(Заседание закрыто.)

Вслед за этим собранием тов. М. внес в комитет предложение: уничтожить постановление и протоколы комитета об его исключении, не сообщать их ЦК, с тем, что он выйдет из комитета, обратившись к периферийным организациям с предложением вотировать ему доверие; комитет на следующем своем собрании, обсудив предложение тов. М., постановил, что его решение об исключении тов. М. может быть отменено при условии, что тов. М. немедленно подаст в отставку. Все протоколы сообщаются ЦК. Что же касается обращения к периферии, то комитет признал его недопустимым при таких условиях, т. е. без сообщения периферии всего инцидента в целом. Тов. М. отказался принять эти условия и обратился к периферии. По этому поводу комитет сделал следующее постановление: предложить периферийным организациям в ответ на обращение тов. М. рекомендовать ему апеллировать в ЦК, т. е. избрать единственно законный и партийный способ решения происходящих внутри организации конфликтов.

---

[1] Д. — Дяденька. Т. — Тимофей. С. — С. И. Гусев. Н. — Наум. М. — Михаил.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

ПРИЕЗД В ХАРЬКОВ.

Западная Европа знала в средние века тип странствующего рыцаря и ремесленника. Россия со времени развития в ней революционного движения создала своеобразный тип странствующего революционера.

Вступив на революционный путь, я принужден был в 1898 г., под конвоем солдат, совершить первое длинное путешествие в страну, известную по „Макару, который туда даже телят не гонял". Вернувшись через три года из Сибири, я не переставал переезжать из города в город и таким образом в конце лета 1905 г., когда уже начинала чувствоваться осень, приехал в Харьков.

Поселился я здесь сначала довольно неудачно, на Журавлевке, на квартире, где жили студенты. Хозяйка проявила ко мне бóльшее, чем можно было допустить, любопытство, желая точно узнать, где я работаю и какие у меня источники существования. Не имея никакого, конечно, желания посвящать ее в мои планы и намерения и желая избавить себя от возможных неприятностей, я на другой же день по приезде начал поиски другой, более удобной в моем положении комнаты. Это еще тем более было необходимо, что Журавлевка, расположенная недалеко от буржуазных кварталов, находилась на очень далеком расстоянии от железнодорожного и от заводского районов, где мне, как революционеру, пришлось бы, наверно, работать.

Буржуазные кварталы в Харькове расположены преимущественно над Журавлевкой, в нагорной, здоровой, удаленной от загнивающих летом и превращающихся в вонючее болото речек Лопани, Нетечи и Харькова.

Я всегда в новом городе старался для агитации познакомиться с преимуществами, которыми пользуется местная буржуазия, чтобы лучше оттенить бедственное положение, в котором всюду находятся рабочие. С этой целью я, встретив на моем пути деревянную лестницу с перилками, ведшую на возвышенность, к Технологическому институту, поднялся по ней в очень хорошо расположенный, но маленький парк. Пройдя последний, я через маленькую калитку вышел в нагорную, буржуазную часть города.

Еще накануне, по приезде в город, я обратил внимание, что жители города на улицах кого-то звали:

— Ванько́, Ванько́, Ванько́!

На этот раз, увидев, что на этот зов подъехали, подхлестывая своих клячонок, извозчики, я, наконец, понял, что эта кличка, так отзывающая крепостным правом, относится не к собачонкам, как у меня сначала явилась мысль, а к людям.

Мне бросилось также в глаза, что извозчики, из которых многие представляли собой людей с виду солидных и пожилых, нисколько не обижались и не тяготились, что их называют таким, нельзя сказать чтобы почтительным, именем, данным им, несомненно, крепостниками-помещиками.

Пройдя Пушкинскую улицу, я очутился в конце концов на Сумской ул., у входа в Университетский сад. Пройдя через этот парк, где завязывались все романы харьковской молодежи, я через узкую калитку вышел к базарной площади, где, как огромный муравейник, копошилась большая толпа рабочих, мещан, занимавшихся мелкой торговлей, крестьян и харьковских „ракло" (жуликов).

Под низким серым небом с медленно двигавшимися по нему темносерыми тучами, начинавшими моросить мелким осенним дождиком, эти плохо, грязно одетые люди показались мне страшно отсталыми и серыми.

Толпа вдруг зашевелилась. Из нее выскочил ракло, улепетывавший во всю мочь от догонявшего его крестьянина, тяжело шлепавшего по лужам в своих огромных украинских чоботах.

— Текай, текай, текай! — кричали ракло своему собрату.

— Держи, держи, держи! — взывал крестьянин, указывая на убегавшего от него ракло.

— Хватай его, хватай его!—подбодряли крестьянина из толпы.

Но в тот момент, когда крестьянин, нагнавший уже ракло, хотел схватить его, последний увернулся, а крестьянин, споткнувшись, растянулся со всего маху в луже.

Эта сцена и вид толпы, отнесшейся довольно безучастно к крестьянину, у которого ракло выхватил все деньги и над которым она издевалась, когда он поднялся, вывалявшийся в грязи, произвели на меня тяжелое впечатление. Как-то невольно закрадывалось сомнение в возможности поднять эту толпу на борьбу с самодержавием и за социалистический строй. Между тем это чисто внешнее впечатление было очень ошибочно. Харьков на самом деле переживал канун октябрьских дней 1905 г., когда чисто стихийное движение масс подвинуло Харьков в этот момент ближе к возможности вооруженного восстания, чем другие города в России.

Пройдя через базар, я снова очутился в пролетарских кварталах, где начал искать комнату. После очень долгих поисков я,

наконец, нашел себе на Б. Панасовке маленькую подвальную комнату, которая была настолько плоха, неудобна и нездорова для жилья, что хозяйка, лишь бы сдать ее, не стала спрашивать, где я работаю и какие у меня источники существования.

Поселившись в пролетарском квартале, в этом пролетарском жилище, я вскоре почувствовал себя в нем, как в тюрьме. Сырые стены, затхлый, спертый воздух не давали мне возможности долго оставаться дома. Я отправился бродить по городу. Выйдя к вокзалу и почувствовав себя голодным, я вошел в чайную. Здесь можно было, потребовав за 5 коп. „пару чаю", пообедать фунтом ситного хлеба, огурцом или четвертью фунта колбасы, а главное — встретиться с рабочими. В вагоне ж. д., в трактирах, в чайных — всюду, где бывают рабочие, я искал встречи с ними и прислушивался к речам рабочих и крестьян. Я жадно ловил признаки возмущения в низах народа, радовался, если замечал пробуждающуюся в них ненависть к капитализму и самодержавию, и огорчался, если наталкивался на разговоры, доказывающие, что рабочие относятся еще довольно безучастно к своей судьбе. На этот раз в чайной, окна которой выходили к вокзалу, я встретил всего человек пять служащих почты и телеграфа. Внимание их привлек поток пассажиров, показавшихся из главного выхода вокзала.

— Скорый-то на целый час с опозданием пришел, — заметил один из них.

— Смотрите, никак сам губернатор и жандармский полковник прибыли, — добавил второй.

— Эх! Вот бы бомбочку в них бросить, — вдруг совершенно неожиданно для меня произнес хвастливо третий маленький, но необыкновенно задорного вида почтово-телеграфный служащий.

Я вздрогнул от полной неожиданности, услышав эти слова. Меня поразила крайняя неосторожность говорившего.

„Кто они такие, члены партии эсеров или попросту провокаторы? — говорил я себе, уходя из чайной. — Если они — эсеры, они забыли уже все конспиративные традиции их предшественников народовольцев и попросту выродились". После я убедился, что это были настоящие, неподдельные харьковские эсеры.

ХАРЬКОВСКИЕ БОЛЬШЕВИКИ.

Харьков, со своими многочисленными средними и высшими учебными заведениями, со своей интеллигенцией, которой было много в городе, представлял собой даже осенью 1905 г. еще настоящую меньшевистскую крепость.

„Харьковские большевики, — говорит в своей статье С. Крамер, „1905 год в Харькове", на странице 104, изд. „Пролетарий", — сумели в 1905 г. вырвать до известной степени рабочие массы из-под влияния меньшевиков, но только идеологически, но не организационно".

Это вполне понятно, ибо, — как говорит т. Егоренко в той же книге, на стр. 106, — еще всего 15 лет до этих событий рабочие в Харькове в 90-х годах „были почти все заядлые монархисты, невежественны, грубы, пьяницы, богомольны и в большинстве случаев безграмотны. Деление на белую и черную кость было очень сильно; простой конторщик-табельщик мстил, если рабочий не снимал перед ним шапки. Низкопоклонство было развито, наушничество тоже".

Упорная работа харьковских марксистов все-таки делала свое дело. Рабочие втягивались в рабочее движение. После забастовки 1897 г. образовалось здесь „Общество взаимопомощи рабочих" с двумя кооперативами — „Объединение" и „Труд". Выпускалась даже нелегальная газета „Труд", выпустившая всего 4 номера. Искровское направление имело также большой успех в Харькове. Но после II съезда нашей партии многочисленная харьковская марксистски настроенная интеллигенция перешла целиком на сторону меньшевиков. Меньшевики всегда отличались умением ставить хорошо технику работы и укреплять свое влияние организационно, а так как рабочие медленно и с большим трудом разбирались в партийных разногласиях, они в Харькове настолько держались меньшевиков, что поселившиеся здесь такие видные и образованные большевики-интеллигенты, как Авилов Б. В. (Пал Палыч) и Мерцалов, Г. В., не могли до приезда т. Артема завербовать среди рабочих необходимое число своих последователей, а вследствие этого и образовать свою, отдельную от меньшевиков, большевистскую организацию. Кроме того, хотя Авилова и Мерцалова харьковские меньшевики и звали „твердокаменными" большевиками, весьма возможно, что оба они еще до поры до времени питали до известной степени примиренческие иллюзии. Из статьи т. Мерцалова видно, что он лично не считал принципиально допустимым, без разрешения ЦК, создавать отдельную от меньшевиков большевистскую группу, а т. Авилов даже работал в одной организации с меньшевиками. Весьма возможно, что горький опыт совместной работы с меньшевиками выработал затем из т. Авилова такого на редкость большевика, в то время непримиримого противника меньшевиков, и заставил его притти к мысли о необходимости создания отдельной большевистской группы в Харькове. Последняя была организована под названием группы „Вперед" (по имени большевистского органа „Вперед") весной 1905 г. из товарищей: Артема — Сергеева, Доброхотова Михаила Петровича, Мерцалова Григория Васильевича, Двойерс, Доры Израилевны, Авилова Бориса Васильевича и т. Степана из Одессы. Все эти товарищи, кроме т. Степана, были интеллигенты.

Если Пал Палыч (Авилов) являлся в то время главным идеологом, самым непримиримым противником меньшевиков, ярым врагом их оппортунистической тактики, апостолом и организатором

вооруженного восстания в Харькове, то т. Артему принадлежит неоспоримая заслуга, что он умел, будучи превосходным агитатором, проводить большевистские лозунги в массы.

ТОВАРИЩ АРТЕМ.

Тов. Артем (Федор Андреевич Сергеев), студент Высшего московского технического училища, носил в себе редкие свойства революционера-марксиста, сочетавшиеся с лучшими чертами народника. Интеллигент и превосходный агитатор в массах, он обладал подходящей для такой роли наружностью: он удивительно походил на рабочего. В то же время его простая, задушевная речь, без иностранных слов привлекала к себе рабочих. С такими превосходными качествами он проникает в самое сердце меньшевистской крепости — на Харьковский паровозостроительный завод, где начинает работать в качестве простого чернорабочего. Распропагандировав там нескольких молодых рабочих — Сашку Садевского, Сашку Рыжего, Кожемякина, Гринченко, Егорова и других, — он поселился с ними в маленькой комнате, на Корсиковской ул., образовав таким образом род „коммуны“ [1].

Живя вместе с ними, на виду у них, он влиял на них своим примером, неистощимой энергией и революционной преданностью партии.

Условия жизни в коммуне, если ее можно так назвать, были очень тяжелы. Жизнь революционера, за которым, как за зверем, охотились охранники, не знала регулярности. Ведя такую тяжелую жизнь, трудно было бы еще думать о такой роскоши, как проведение в рабочую среду культурных привычек. Принимали пищу в коммуне, когда приходилось, часто походя. Возвращались поздно. Опасаясь ночного обыска, чтобы при малейшей тревоге успеть выскочить и спастись, спали, не раздеваясь, в той же грязной и засаленной рабочей блузе. Немудрено, что на одеяле, на которое, очевидно, ложились отдыхать днем, отложился блестящий толстый слой черного сала, которое можно было видеть на грязных блузах смазчиков и кочегаров. Артем, приходивший с комитетских собраний часто позднее всех членов коммуны, не найдя уже свободного места на кроватях, на которых спали по-двое, заваливался часто прямо на пол.

Заработок, одежа, обувь, белье, шапки, — все считалось в коммуне общественной собственностью. Встав утром, Артем имел привычку надевать из одежи то, что ему оставляли товарищи по коммуне, т. е. всегда что-нибудь похуже.

Только железное здоровье помогло т. Артему выносить эту тяжелую жизнь революционера, которую вели рабочие коммуны.

---

[1] Рабочих из кружка т. Артема некоторые товарищи звали „гарибальдийцы“ или „десяток Артема“.

Чтобы не выявить перед заводской администрацией своего интеллигентского происхождения, он так же, как и другие, в течение длинного рабочего дня вдыхал заводскую гарь, дым, запах прогорклого масла, исполнял тяжелую работу, испытывал изнурительную усталость, носил на руках грубые мозоли и подвергался, как все чернорабочие, являвшиеся своего рода париями на заводах среди квалифицированных рабочих, подчас грубому обращению со стороны мастеров.

Коммуна, ввиду обнаруженной опасности ареста всех участников ее, скоро распалась. Конечно, она, в которой отрицались по необходимости все культурные условия, до которых рабочие того времени еще даже не доросли, не будет являться образцом для подражания теперь, когда по мере укрепления советской власти выдвигается необходимость борьбы за рост культурных потребностей у рабочих и крестьян. Она является и будет являться примером революционного героизма, проявленного такими товарищами, как т. Артем и другие [1].

ХАРЬКОВСКИЙ ПАРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД.

Революционное рабочее движение в Харькове давно перешагнуло ту черту, до которой оно при мне докатилось в Одессе. Оно приняло здесь более массовый характер.

На Харьковском паровозном заводе, где особенно были сильны меньшевики, до появления там т. Артема начали приобретать влияние и эсеры благодаря талантливому агитатору-рабочему Забелину и интеллигенту Корытину. Последний, так же как и т. Артем, не только работал на заводе в качестве рабочего, но и жил в общежитии рабочих ХПЗ.

Несомненные агитаторские способности, умение задеть ту именно струнку в душе рабочего, которая заставила бы забиться его сердце, умение найти общий с рабочими язык, жизнь на виду у последних, — все это выдвинуло т. Артема как, пожалуй, самого популярного социал-демократа большевика из среды других товарищей, не столь блестящих по своим дарованиям, ведших кропотливую, незаметную для других работу, но без помощи которых революция не могла бы существовать.

По мере роста революционного рабочего движения на этом заводе он из „автономной республики", как его звали ввиду того, что на него как бы не распространялась власть правительства в такой мере, как это имело место за его пределами, стал мало-помалу превращаться в настоящую своего рода революционную крепость. Вывозы мастеров на тачке, митинги целым заводом на дворе

[1] Сведения о т. Артеме, что он в 1905 году становится во главе харьковской организации большевиков и в декабре 1905 г. руководит вооруженным восстанием в Харькове, на заводе Гельферих-Саде, сообщенные в Большой советской энциклопедии, т. III, стр. 475, 476, 477, абсолютно неверны.

его под открытом небом, выход из завода на улицу на демонстрации с красными знаменами, участившиеся столкновения с казаками, вооружение рабочих, приготовление с этой целью на заводе пик из газовых трубок, создание из рабочих боевых дружин, хранение на заводе оружия, приготовление на нем даже бомб,—все это ставило этот завод выше других заводов Харькова.

Именно работе т. Артема, главным образом среди рабочих этого завода и вообще среди харьковских рабочих, надо приписать несомненный успех наших большевистских лозунгов. Но у т. Артема, как у многих выдающихся агитаторов, можно было заметить свои, ему присущие недостатки. Так, видя, как загораются под влиянием его речей глаза его слушателей, как великолепно работает организация в его присутствии, он не придавал того значения, какое было бы необходимо организационному закреплению не им самим, а другими товарищами поразительного влияния на рабочих его речей. Эта недооценка организационной постановки работы перешла от него к его ученикам, членам его кружка, и вообще отразилась очень неблагоприятно на общем ходе революционной работы в Харькове.

Живя со своими товарищами в так называемой „коммуне" в самых ужасных условиях, тов. Артем все-таки превосходно усвоил конспиративную технику. То он, под видом рабочего, выступает против профессора Милюкова на реферате последнего, то он говорит с губернатором от лица рабочей делегации. Губернатор не только не узнает его, но до такой степени принимает его за настоящего, неподдельного рабочего, что делает попытку усовещивать его не слушать „агитатора Артема". То, надев больничный халат на Сабуровой Даче, он проходит в качестве больного мимо жандармов, приехавших специально с целью захватить именно его; то он ускользает от жандармов, надев форму офицера.

НЕДОЧЕТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ.

По приезде в Харьков я, кроме Артема, Авилова, Мерцалова, встретил там еще товарищей: Иванова Сергея Петровича, клички „Интендант" и „Алексей", Софью Николаевну Афанасьеву („Серафима"), Александра-слесаря, Мечникову, Постоловскую, „Димку" Бассалыгу, Матвея, Исаака Раскина и др. Харьковский комитет назначил меня ответственным организатором Заводского района, куда входили заводы ХПЗ, Гельферих-Саде и другие.

Все мои попытки создать здесь хотя бы такого рода организацию, какую мне удалось создать в Твери и Одессе в заводских районах, не привели ни к чему.

Ученики товарища Артема как бы унаследовали от последнего недооценку организационной стороны дела. Занятые все время агитацией, они не только ни разу не явились на явки района, но, насколько мне помнится, мне не удалось даже собрать их за целый

месяц на районное собрание. Происходило это оттого, что, привыкнув решать все дела Заводского района между собой, по-семейному, на самом заводе, они прямо не понимали необходимости создания вне завода районной организации, охватывавшей все заводы района.

Столкнувшись с этим непониманием необходимости организационного закрепления идеологического влияния большевиков со стороны учеников т. Артема, в руках которых находилась заводская организация Харькова, я принужден был просить комитет перевести меня в Городской район.

Таким образом мне не удалось в Харькове за месяц работы в Заводском районе создать организацию района, не только существующую на словах, но и работающую. Мне не удалось направить внимание членов района на необходимость постоянного, неуклонного превращения рабочих, пассивно слушающих ораторов, в рабочих, активно работающих над организационным закреплением все растущего влияния нашей партии.

Было бы ошибкой сказать, что последнее не делалось. Но надо признаться, что делалось все это как-то скорее стихийно, а не сознательно. Моей целью являлось создание организации района, которая работала бы независимо от того, в Харькове ли такой сильный оратор, как т. Артем, которая не превращалась бы в пустой звук при его отъезде и которая находила бы возможность нагружать всех членов организации рабочих той или иной партийной работой.

СТИХИЙНОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ МАСС.

Между тем, революционное движение рабочих в Харькове в конце сентября и в начале октября стихийно разливалось, подобно русским рекам весной, не вмещаясь в берега. Митинги шли за митингами. Лужайки, площади (левады — по-украински) по воскресеньям с утра до вечера были усеяны красными знаменами над трибунами. Движение выливалось на улицы, площади, и никакие полицейские силы не могли больше его удержать в прежних рамках. Харьковское движение не являлось счастливым исключением. Даже в таком сравнительно отсталом городе, как Курск, происходило 17 июля 1905 г., судя по „Харьковскому листку“ от 24 июля 1905 г., следующее.

Солдаты на станции Курск предъявили офицеру ряд требований. Офицеру показалось, что они требуют от него известных уступок в довольно грубой форме. Когда связанный „за дерзости“ рядовой разразился на площади перед вокзалом площадной бранью, офицер шашкой отсек ему голову.

Возмущенные происшедшим курские рабочие бросились на офицера. Последний спасся в вагон. Выведя из вагона жену

офицера с детьми и сказав последней: „барыня, не бойтесь!", рабочие с криком: „бей убийцу!" начали бросать в окно вагона камнями. После того, как офицер выстрелами из окна ранил нескольких рабочих, раздался крик: „сжечь его!"

Продвинув вагон с офицером на запасный путь, облив вагон керосином, толпа сожгла его вместе с офицером. Толпа, насчитывавшая до 20 000 чел., расправилась с помощником начальника станции, Сендеровским, и разыскивала скрывшегося жандармского офицера.

Подобный случай красноречиво говорит о вспышках народного гнева, предвестниках революционной бури. Нечто подобное, но более грандиозное и проникнутое сознательностью, наблюдалось в Харькове.

Весь сентябрь продолжались забастовки на различных харьковских заводах. Хозяева не шли на уступки, и забастовки длились долго и упорно. Рабочие, участники забастовок, собирались на митинги в заводах Гельферих-Саде и ХПЗ.

Растерянность правительства перед все растущим осенью 1905 г. революционным рабочим движением Харькова сказалась в разногласии среди членов правительства по вопросу о методах подавления движения. Так, новый начальник жандармского управления в Харькове видел выход из создавшегося положения в аресте 50 рабочих ХПЗ и высылке их вместе с опасными интеллигентами из Харькова. Губернатор же, опасаясь, что аресты, высылки и применение военной силы подольют лишь масла в огонь и вызовут всеобщую забастовку, не соглашался с ним. Жандармы в своих донесениях в Петербург указывали, что дело зашло так далеко, что не только на заводах, но и в Харьковском технологическом институте на массовых митингах бросаются лозунги „к вооруженной революции, для замены государственной думы Учредительным собранием". (Дело № 102 Харьковского охранного отделения.)

Между тем всеобщая забастовка, которой так боялся харьковский губернатор, неизбежно надвигалась на город.

В первых числах октября началась забастовка в Харьковских ж.-д. мастерских. Затем забастовали: городская конка, заводы Мельгозе, Гельферих-Саде и ХПЗ.

9 октября вечером получилось известие о начавшейся всеобщей забастовке на Северных ж. д. Известие это было встречено с энтузиазмом. Днем 10 октября в Харькове забастовка стала всеобщей. Огромные массы рабочих, двигавшихся по Московской и Екатеринославской улицам в количестве не меньше 10 000 — 15 000 чел., собрались на Ващенковской леваде. В это самое время известная часть буржуазии весело проводила время в ресторанах таких гостиниц, о которых газетные объявления гласили следующее: „Ежедневно играет музыка румынского оркестра Жана Гю-

леско; устрицы из Крыма; провизия из столиц и из-за границы; лучшие заграничные бордосские и рейнские вина; старший повар из Петербурга".

ЗАБАСТОВЩИКИ.

Я запоздал на этот митинг. В зале Народного дома на рабочем собрании я слышал своеобразный спор:

— Что вы хвастаете? — упрекал один рабочий другого. — Неделю, как бастуете... Эка невидаль! Вот мы больше месяца бастуем и не идем ни на какие уступки хозяевам. Вот тут надо уметь влиять на массы... Голодаем, да держимся. Вчера, например, получаем известие: „Зовет вас всех делегатов правление в город на переговоры". Ну, мы пошли. Затягивает, вижу, переговоры директор. И так норовит нас облапошить и этак. Да врешь, мы сами — народ дошлый, нас на сивом коне не объедешь. Однако смотрю, уже полночь. Поздно. Надо нам, говорю, по домам, господин директор.

— Так не согласны на мои условия? — спрашивает директор.

— Нет, — отвечаем, — господин директор, как можно! Пока всех наших требований не удовлетворите, мы не согласны.

— Ну, так помните, — говорит, — каяться будете! — Хлопнул дверью и ушел.

Вот вышли и мы из конторы. Идем. Темень стоит. Грязь, и ни души не видно. Идем мы переулками. Вдруг видим, навстречу нам целая орава.

— Лупи их! — слышим. — Бей их, забастовщиков проклятых! Дуй под девятую микитку, сметье это!

Ну и зачали нас сандалить почем зря.

„Плохо, — говорю, — товарищи. Правление завода раклов подкупило, а то и настоящую черную сотню. Текать надо". Ну, и бросились мы наутек. Так бежали, что пятки у нас в темноте сверкали. Вот, — говорю я теперь на собрании, — какую мукумученическую терпим мы за общее дело. Целый день в правлении завода просидели. Без маковой росинки во рту. Душу вымотал директор разговорами да подходами. А потом эта самая черная сотня нас утюжила, мочалила... Досадно им, толстопузым, что мы твердо держимся. „Постоим, — говорю, — товарищи, еще недельку-другую. Пойдет правление на уступки"...

— Постоим! Постоим! — кричат. — Держись до конца! Не сдавайся!

ВАЩЕНКОВСКАЯ ЛЕВАДА.

Ващенковская левада казалась вся красная от множества красных знамен, возвышавшихся над наскоро из досок, бочек и тому подобного материала сооруженными трибунами. Ораторы-большевики призывали к бойкоту Государственной думы, вооруженному восстанию и полному низвержению самодержавия. Толпа

издали гудела, как огромный улей. Еще не доходя до левады, на одной из прилегавших улиц я заметил несколько роскошных экипажей. Нарядно одетые дамы, сидя в экипажах, издали рассматривали интересное, редкое для них зрелище.

Не доходя еще до митинга, я заметил большое движение в толпе. Из нее раздались крики:

— В город, товарищи! В город! Докажем нашу силу! — И толпа, зашевелившись, как одно однородное целое, проникнутое одной мыслью, ринулась мне навстречу. Оказавшись впереди толпы, увлекаемый общим настроением, я направился вместе с другими в город. Оглянувшись, я увидел облако пыли, поднимавшейся над толпой от множества бегущих ног и золотившейся в последних отблесках гаснувшего заката.

— Солдаты! Солдаты! — вдруг крикнули передовые.

Тотчас в толпе раздались крики, рев, в котором выражались ненависть, жажда мщения, накопленная веками, жажда схватки, борьбы. Лицо бежавшего рядом со мной огромного кузнеца исказилось злобой. Он бросился к забору и начал выламывать огромный кол. Его примеру последовали многие, вооружаясь досками, палками, камнями. Могучий крик толпы, призыв к борьбе, раздававшийся в ее среде, был услышан, очевидно, солдатами. Их охватил ужас. Они быстро повернули лошадей и поскакали обратно. Между тем, пока мы с кузнецом выламывали колья из забора, революционная толпа проникла на Екатеринославскую ул. и Николаевскую площадь и сбила замки с оружейного магазина Тарнопольского. Оружие тотчас было разобрано. Солдаты между тем, доскакав до Университетской горки и получив подмогу, вернулись и открыли огонь вдоль всей Екатеринославской ул. Началась трескотня выстрелов. Толпа в панике разбегалась. Тем временем густели сумерки, спустилась ночь. В темноте толпа окончательно рассеялась. Вследствие столкновения с обеих сторон в этот вечер насчитывались тяжело и легко раненые. На Екатеринославской ул. лежали в виде остатков сооружавшейся впопыхах баррикады сброшенные с рельсов, перевернутые вагоны конки, из-за которых товарищи, получившие оружие, пробовали отстреливаться.

„НА БАРРИКАДЫ".

На другой день, 11 октября, с утра левада перед ХПЗ представляла собой то же зрелище, что накануне наблюдалось на Ващенковской леваде. Большая лужайка перед заводом кишела народом. Она поражала еще бóльшим количеством красных знамен. Ораторы с утра кидали в толпу лозунг свержения самодержавия. Революционное настроение и возбуждение толпы росли. После полудня разнесся слух, что в городе у Университетской горки начали строить баррикады.

— В город, товарищи! — услышал я крики. — На баррикады!

Толпа подхватила меня, и я был увлечен ее непрерывным движением.

— Наум! Наум! — услышал я знакомый голос.

Это была т. Танюша [1], которую я встречал в Одессе и которая в Харькове называлась Лиза Большая.

Тов. Лиза Большая работала в Харькове как пропагандистка. Мы пошли вместе. Дорогою к нам присоединилась толпа работниц из пригородного канатного завода.

— Что это такое? Куда это все идут такой толпой? — обратились они к Лизе Большой с расспросами.

Лиза Большая, оставив меня, тотчас начала их агитировать.

Впереди, между тем, с Биржевой площади черносотенная демонстрация пыталась было отрезать путь толпе к баррикадам. Но она была быстро рассеяна нашими боевыми дружинами. Ее предводитель, купец Леонтьев, несший черносотенное знамя, был убит.

На Павловской площади подошедшие рабочие соединились таким образом со студентами, с утра начавшими постройку баррикад. Часть рабочих тотчас тоже начала сооружать их. Другая часть разграбила еще оружейные магазины „Спорт“ на Николаевской площади и „Охота“ на Московской ул.

Когда я вместе с Лизой Большой подошел к университету, я увидел в числе студентов и настоящих рабочих, которые валили телеграфные столбы, разбирали мостовую, рыли рвы, сооружали баррикады.

Как на Павловской площади, так и на Университетской ул., мостовая и тротуары были усеяны какими-то бумагами, делами судебного и полицейского характера из архива губернского правления.

Мне бросилось в глаза, что большинство привалившихся с митинга рабочих не отдавало себе полного отчета в том, что сейчас происходит. Подойдя к баррикадам, они задавали рывшим окопы и насыпавшим валы один и тот же вопрос:

— Что это такое? Для чего вы яму роете?

— Баррикаду строим, товарищ, сражаться будем.

Все говорило, что движение вырастало как-то стихийно. На митингах ежедневно говорили о подготовке к вооруженному восстанию, о необходимости, наконец, восстать, о баррикадах, на которых сражались рабочие парижских предместий во время Великой французской революции. Этот лозунг „вооруженного восстания“, брошенный нашей партией в лице т. Ленина, повторяемый ежедневно на митингах, массовках, в кружках, встречавшийся в

---

[1] См. „Пролетарскую Революцию“ 1925 г., № 6, „Переписка т. Ленина и т. Крупской с одесской организацией“, стр. 15 и 21.

прокламациях, в газетных статьях подпольных изданий, являлся, что называется, психологической подготовкой.

Как в 90-е годы, когда после призыва партии к забастовкам последние вспыхивали, как это имело место в 1896 г. в Питере, совершенно стихийно, так и в 1905 г. после призыва партии к вооруженному восстанию началось стихийно восстание на броненосце „Потемкин", так же стихийно начали студенты 11 октября 1905 г. строить баррикады, и так же стихийно рабочие начали примыкать к ним. Как подтверждает журнал „Право", № 2, стр. 21—22, 1905 г., и журнал „Право" 1907 г., Процессы №№ 11, 13, 24, насчитывалось до 10 баррикад. Главные баррикады превышали человеческий рост. Забаррикадированными оказались Соборная площадь, Университетская улица, собор и старое здание присутственных мест. На высокой колокольне собора развевался красный флаг.

Как только началась постройка баррикад, губернатор Старынкевич объявил военное положение. Власть перешла в руки генерала Мау.

Незаметно было никого, кто бы приказывал на баррикадах. Никто никем не командовал. Не видно было распоряжающихся. Толпы рабочих, валивших из заводских районов, потолкавшись, преспокойно расходились по домам. Задерживался лишь тот, кто проявлял особенную активность, кому удавалось получить лопату, лом, топор или кирку, появлявшиеся неизвестно откуда. Нигде не было видно ни пеших ни конных воинских частей, ни казаков, ни полиции. Последняя, напуганная стихийностью движения, сильным отпором, который дали революционные боевые дружины черносотенцам, пытавшимся выступить на улицу, бесследно исчезла. Войска или сами разошлись по казармам или были уведены заблаговременно, как ненадежные, из опасения, что они окончательно разложатся.

Я шел всю дорогу с т. Лизой Большой. Она происходила из буржуазной семьи. Высланная в 1902 г. за участие в студенческом движении из Петербурга в Саратов, она вступила в искровскую организацию. Очутившись за границей, она еще до раскола на II съезде нашей партии познакомилась в Париже с т. Лениным, а позднее с Н. К. Крупской и после раскола примкнула к большевикам. Посланная партией в Одессу, она работала там в подполье под кличкой „Танюша" или „Таня". В Харькове она продолжала работать в организации под именем Лизы Большой.

— Наум, — сказала она мне, — знаете, я замерзла и проголодалась. Утром, когда я вышла на улицу, было так тепло. Я, не собираясь ночевать на улице, оделась сравнительно легко. Может, проводите меня ко мне? Я пообедаю и переоденусь потеплее. Здесь пока все равно делать нечего. Баррикады все равно еще недостроены, и мы еще успеем сюда вернуться.

Вспомнив, что я забыл у т. Лизы Большой мой браунинг, который теперь мог понадобиться, и из тех же соображений, что баррикады еще недостроены, я пошел с ней вместе в Петровский пер., где она жила. Такое наивное отношение к стихийно выросшим баррикадам, выстроенным по брошюрке т. Северцева, проявили многие товарищи, которые, как и мы, успели сбегать домой пообедать и одеться на ночь, которая надвигалась холодная.

Через часа полтора-два мы собрались в обратный путь на баррикады. Лиза Большая оделась теплее, и мы вышли из дома. Сумерки уже давно надвинулись, когда мы шли по пустынным улицам. Попрежнему нигде не видно было ни полиции, ни казаков, ни солдат. Улицы казались пустыми, вымершими. Только ракло прятались в укромных уголках с целью использовать благоприятный момент для грабежа прохожих.

Было уже совсем темно, когда мы с Лизой подошли к баррикаде со стороны собора. Там, где еще недавно виднелась лишь ровная гладь мостовой из булыжника, теперь дорогу преграждали ров и вал из ящиков, насыпанных землей, из камней, кирпичей, наваленных кучей, из досок, из мебели, из дров — из всего, что попало под руку, что лежало по соседству под открытым небом или в помещении университета. На углу баррикады, превышавшей человеческий рост, я заметил развевавшееся красное знамя.

— Стой! Кто идет? — раздался громкий окрик, когда мы подошли к мостику из досок, соединявшему территорию защитников баррикад с внешним миром.

— Это мы! Это я с Наумом! — ответила т. Лиза. — Что, не узнаете нас, товарищ Алексей? — Это был т. Иванов [1], Сергей Петрович, „Интендант".

— Ах, чорт возьми! Это вы? — проговорил т. Алексей. — А я стрелять приготовился. Ну, идите. Пропущу вас и так. Хотя не имею права. Пропускать велено только по паролю. Идите. Кстати, т. Наум, вас разыскивали товарищи.

— Тов. Наум, как хорошо, что вы хоть, наконец, пришли! — восклицал тов. Сальников. — Баррикады построили, а никого из большевистского комитета на них нет. Идите скорее: меньшевики подняли вопрос об образовании „Комитета борьбы". Как досадно, что тов. Пал Палыча нет.

— Как, Пал Палыча нет! — вскричала тов. Лиза. — Я немедленно пойду его разыщу и приведу сюда.

С этими словами она ушла разыскивать тов. Авилова.

— Эти баррикады выросли, как грибы после дождя, совершенно незаметно, как из-под земли. Никто ведь не давал лозунга строить их. Они появились сами собой. Строила их масса студентов и рабочих. Комитетчики — большевики и меньшевики и

[1] Вышел из ВКП(б) добровольно, по болезни, летом 1924 года.

и эсеры только теперь являются. Стихийное движение масс обгоняет революционные партии, — говорил мне тов. Сальников.

Мы проходили по Университетской улице и около собора, где был сооружен двойной ряд баррикадных заграждений. Как комнаты университетских зданий, так и двор, образовавшийся в пространстве между десятью баррикадами, были заполнены разнообразной, кишевшей, как муравейник, толпой. Среди этой толпы вооруженных защитников баррикад насчитывалось сравнительно мало. Большинство присутствовавших принадлежало к интеллигенции. Вооружены были эти товарищи из рук вон плохо оружием, взятым из оружейных, разбитых в этот же день и накануне, магазинов Тарнопольского, „Спорт“ и „Охота“. Солдатских винтовок почти совсем не замечалось. Кое у кого можно было видеть изредка охотничьи винтовки. Большинство же борцов было вооружено дробовиками, охотничьими ружьями и даже монтекристо, годными лишь для охоты на дичь и для забавы, но не для боя с превосходно вооруженным врагом. Но почти все члены боевых дружин вооружились револьверами и в том числе браунингами и наганами.

— Наум, Наум, товарищ Наум! — услышал я крик товарищей, защищавших баррикады. — Посмотрите, чем мы вооружены. Вы поднимайте вопрос о вооружении. Мы будем держаться, но, признаться, с таким оружием будет нам трудновато...

— Придется, видимо, сражаться не оружием, которого у нас нет и которое большинство из нас еще не научилось держать в руках, а одним мужеством, которого у нас хоть отбавляй, и революционным духом, — заявил интендант т. Алексей.

Раздавшийся внезапно выстрел рядом со мной заставил говорившего товарища и меня вздрогнуть, насторожиться. Толпа на баррикадах заволновалась.

— Что, началось? — раздались крики. — Войска подошли? Сейчас начнется бой?

Я поднялся на баррикаду. Ничего не было видно. Улицы, площади — все попрежнему было пустынно. Не видно было ни войска, ни казаков, ни полиции. Но в ту же минуту пронесся грохот от другого выстрела. Появились санитары, уносившие раненого.

Среди толпы, наполнявшей пространство между баррикадами, началась паника, но вскоре все успокоилось. Объяснения я получил из слов говорившего со мной дружинника тов. Дубровина.

— Видите, товарищ Наум, как обстоит дело. Еще солдат и в помине нет, никто не открывал против нас враждебных действий, а мы уже и стреляем и тратим попусту заряды, которых у нас мало; и не только это — как вы видели сами, мы раним друг друга еще до появления врага. Все происходит потому, что мы и вооружены из рук вон плохо и не умеем стрелять, обращаться

с огнестрельным оружием. Я повторяю: войск еще нет, а мы потратили уже порядочно зарядов, которые надо беречь, и имеем уже и раненых. На перевязочном пункте уже кипит работа. Хорошо, что много студентов-медиков среди публики.

Действительно, на перевязочном пункте работа, как только что сказал тов. Дубровин, кипела. Студенты и курсистки приготовляли бинты и перевязывали нескольких товарищей, раненых вследствие неумелого обращения с оружием.

Когда открылось первое заседание „Комитета борьбы", я взял слово и обрисовал впечатление, полученное мною от обхода баррикад. Баррикады, видимо, построены удовлетворительно, даже хорошо, но вот беда: нет оружия. Меня смущает во всем этом одно обстоятельство, что во время революций в Западной Европе восставшему народу удавалось взять не только магазины с охотничьим оружием, но и арсеналы, и вооружиться более основательно, чем мы наблюдаем это теперь, в 1905 г., в Харькове.

— Я говорю, — добавил я, — не по собственной инициативе, а по поручению товарищей-боевиков, защищающих баррикады.

Мне ответил меньшевик Рогачевский, превосходный оратор, игравший на баррикадах одну из первых ролей. Его речь, неожиданная в устах меньшевика, сводилась к следующему.

Он соглашался, что мы плохо вооружены, но он предлагал не особенно смущаться этим. В городе, по его словам, одновременно с образованием здесь, на баррикадах, „Комитета борьбы" образовался еще „Комитет общественной безопасности" из представителей радикальной буржуазии, или, вернее, интеллигенции, как профессор Гредескул, присяжный поверенный Шидловский, проф. Рейнграт. „Комитет общественной безопасности" ведет переговоры с губернатором Старынкевичем об образовании так называемой „народной милиции". Отряды этой вооруженной милиции уже ходят по городу, по окраинам, по рабочим кварталам по преимуществу. Цель „Комитета борьбы" — посредством этой милиции, входящей в постоянный контакт с рабочими, вызвать более широкое движение, вызвать у рабочих стремление подражать нам. Поэтому, несмотря на то, что у защитников баррикад мало оружия и плохое оружие, он предлагал не особенно смущаться этим, а остаться, несмотря ни на что, на баррикадах. Заканчивая речь, он выразил уверенность, что народ, создавший эти баррикады без нашего участия, без наших указаний, без нашего вмешательства, также покроет баррикадами рабочие кварталы и сумеет достать оружие.

Слово затем взял тов. Б. В. Авилов.

Речь тов. Авилова, насколько я помню, носила следующий характер. Он заявил, что большевики, конечно, приветствуют решение остаться на баррикадах и защищать их. Большевики останутся на баррикадах и уйдут с них, конечно, только последними. Он, со своей стороны, находил, что на баррикадах нужно остаться,

несмотря на необходимость вступить в бой с превосходно вооруженными силами ген. Мау, к которому перешла власть. По его мнению, настроение рабочих масс настолько было благоприятно для восстания, что оно, это настроение, передалось бы непременно войскам, которые всегда деморализуются при близком соприкосновении на баррикадах с рабочими, их братьями. В таком случае не исключена возможность победы над самодержавием и торжества революции.

С обычной своей сухостью, желчностью и ядовитостью, когда он говорил с меньшевиками, которых он тогда презирал, тов. Авилов подчеркнул, что решение остаться на баррикадах не исключает возможности для восставших умереть, защищая баррикады. Он указывал, что защитники баррикад в революционных битвах не сдают последних, а побеждают или умирают на них.

После этого было принято решение предложить большинству присутствовавших, как не владевшему оружием и потому не могущему быть использованным в роли защитников баррикад, среди которых нашлось много женщин, оставить баррикады. Затем 13 голосами против 9 меньшевики провели избрание в комендanты баррикад радикально настроенного студента, симпатизировавшего больше меньшевикам, бывшего артиллерийского офицера и таким образом знакомого с военным делом, Николая (Пальчевского). Избрание комендантом баррикад, проведенное затем общим собранием защитников баррикад, меньшевика Пальчевского явилось доказательством, что как среди „Комитета борьбы", так и среди боевиков большинство, приблизительно как 13 : 9, принадлежало меньшевикам. Данное голосование было очень показательным, ибо говорило о соотношении сил борющихся фракций среди революционеров-марксистов в Харькове. Нельзя забывать, что на баррикадах собрались лучшие силы, цвет партийной и студенческой молодежи. Это же соотношение сил предопределяло дальнейший исход борьбы. Таким образом храм науки, университет, революция превратила в свою крепость, на которой в течение дня перебывало до 10 000 чел. К вечеру число защитников уменьшилось до 2 000 чел. К ночи их осталось несколько сот. Вооруженных насчитывалось приблизительно 700 чел.

Еще вечером студенты, стоявшие во главе отрядов народной милиции, приходили в „Комитет борьбы" встревоженные и рассказывали, что на Екатеринославской и Старо-московской улицах они подверглись обстрелу со стороны правительственных войск и что в их среде насчитываются уже убитые и раненые.

Закончив свое дежурство после длительных заседаний в „Комитете борьбы", я завалился прямо на полу в одной из аудиторий университета. Утомленный за день интенсивной революционной работой, я тотчас заснул мертвым сном. Глубокой ночью я был разбужен, с одной стороны, ярким светом, а с другой — необычай-

ным шествием по комнатам. Впереди шло несколько товарищей с факелами и кричали:

— Осторожней! Бомбы несем, динамит!

Вслед за ними на восьми-десяти больших подносах, проявляя величайшую осторожность и также крича: „Осторожней! Бомбы несем!“ — около трех десятков товарищей несли черные предметы, имевшие круглую форму.

„Очень хорошо, — думал я, снова укладываясь на пол и засыпая. — Значит, есть динамит; значит, есть чем защищаться“.

На самом деле, как я полагаю, это была одна из военных хитростей, придуманная на этот раз комендантом Пальчевским или кем-либо другим. Только на основании ее могло явиться у военного начальства ни на чем не основанное представление, что у защитников баррикад так много динамита, что ими якобы даже были минированы подступы к баррикадам.

Рано утром, когда чуть брезжил рассвет, меня с большим трудом разбудили товарищи.

— Наум! Наум! Наум! — кричали мне, тряся меня за руки и ноги. — Вставайте же, чорт вас возьми! Ах, как он безобразно крепко спит! [1].

— Идите на заседание „Комитета борьбы“ по срочному и важному вопросу.

Заседание открыл тов. Львов-Рогачевский. Он имел вид человека, не сомкнувшего глаз за всю ночь, осунувшегося, встревоженного. Я удержал в памяти, несмотря на протекшие годы, как первую, так и эту вторую его речь. Он говорил, что положение дел за ночь изменилось до неузнаваемости. Баррикады, как доносила наша разведка, оказались с 4 часов утра обложены со всех сторон войсками. Если оставаться еще дольше на баррикадах, войска вскоре перейдут в наступление. Придется тогда дать бой. Но оказывается, это невозможно. У нас нет совершенно оружия. Огромное большинство борцов вооружено охотничьими ружьями и монтекристо, с которыми нет возможности выступить против превосходных сил правительства. Единственным исходом остается сдаться на так называемых „почетных условиях“, на которые соглашается военное начальство. Посредником между военным начальством и защитниками баррикад берется быть „Комитет общественной безопасности“, заседающий в „Медицинском обществе“, с которым разведка меньшевиков держала связь.

Против сдачи баррикад от лица большевиков резко и решительно выступил тов. Авилов. Он выразил удивление, что меньшевики так быстро изменили решению, принятому не позже чем

---

[1] В „Комитет борьбы“ вошли представители большевиков, меньшевиков, эсеров и студентов, инициаторов создания баррикад. Эсеры голосовали всегда с большевиками, студенты — с меньшевиками. Тов. Артема на баррикадах не было.

вчера вечером. Он указывал, что и риск и опасность от вооруженного столкновения с войсками вчера вечером были не меньше, чем сегодня утром. Меньшевики, очевидно, надеялись, что за ночь баррикады покроют весь город, и тогда это стихийное движение позволит им победить, не прибегая к бою с войсками. Это — ошибка. Всякое стихийное движение большинства не обходится без активного воздействия меньшинства. Никогда революционный подъем и настроение масс не были так благоприятны для восстания, как теперь. Это настроение не может не передаться солдатам. Не исключена возможность, что солдаты перейдут на нашу сторону. Поэтому нельзя оставлять баррикады, не дав боя. И вообще, поскольку мы вступили на баррикады, построенные народом, позорно оставлять их без боя. Защитники баррикад не свертывают поднятое на них красное знамя рабочего класса. Они или побеждают в бою или умирают героями. Тем более что это не будет победой самодержавия. Это будет скорее Пиррова победа. Известие о баррикадном сражении в Харькове при таком высоко революционном настроении страны будет лишь сигналом к всеобщему восстанию. Поэтому тов. Авилов предлагал не сдавать без боя баррикад, а, наоборот, дать сражение и или победить или умереть.

Вопрос был поставлен на голосование. Большевики и эсеры голосовали единогласно за продолжение борьбы, меньшевики и представители группы студентов — за сдачу.

— Но это не последнее слово, — возразил тов. Авилов.— Если „Комитет борьбы“ голосовал за сдачу, это не значит, что защитники баррикад согласятся с таким решением вопроса. За ними последнее слово.

Но узнав, что „Комитет борьбы“ высказался большинством голосов за сдачу баррикад на почетных условиях, меньшевистское студенческое большинство дружинников голосовало тоже за сдачу.

Еще до постановки вопроса на голосование я обошел баррикады, желая узнать настроение бойцов. Совсем недалеко от баррикад и совсем близко от наших часовых я увидел серую линию солдат. Не только видны были их лица, — слышна была их речь. Утро было холодное. Холодная сырость заставляла дрожать от холода защитников баррикад и солдат. Вдруг серая стена последних зашевелилась, раздалась. Через образовавшийся проход показался поп. Чтобы попасть в собор, ему необходимо было пройти через баррикады. Медленно приближался он к нашему часовому, тов. Дубровину. Взоры солдат впились в последнего. Все они с любопытством ждали, что он скажет и что он будет делать.

— Стой! — крикнул тот и тотчас взял ружье на прицел. — Назад! Куда прешь, жеребячья порода?

Веселый хохот раздался среди солдат при виде, как засеменил ногами перетрусивший поп, путаясь в длиннополой рясе.

— Здорово ты его, — поощряли Дубровина солдаты. — Жигани его еще долгогривого...

— Беги скорее, лампадное масло, спрячься под юбку у своей попадьи! У-лю-лю! Жеребячья порода! Стрелять буду! — кричал тов. Дубровин.

— Ха-ха-ха! — раздавался здоровый хохот среди солдат, пока, наконец, смешная фигура перетрусившего попа не скрылась за стеной солдат.

Что-то начинало уже связывать невидимыми нитями серую солдатскую массу с революционными часовыми, со всеми, кто был за баррикадами. В сцене с попом, которая только что разыгралась, проявилось своеобразное братание.

Самое опасное для старой власти во время гражданской войны — оставлять бездействующими войска поблизости от восставших. Такую ошибку совершило военное командование в октябре и ноябре в Харькове. Ее допустили адмиралы Вишневецкий и Кригер на одесском рейде, дав возможность приблизиться революционному броненосцу к кораблям их эскадры.

В то же время, когда происходила эта сцена с попом, с другой стороны с крыши здания университета наши товарищи разбрасывали кипами отпечатанные за ночь прокламации в солдатскую среду, видневшуюся внизу, прямо под стеной.

Дальше, за рядами войск виднелись широкие массы народа, которые, чем дальше шло время, тем больше увеличивались. Эта стена народа, находившаяся совсем близко от солдат, своим откровенным сочувствием восставшим и прямой агитацией, несомненно, разлагающе действовала на солдат.

Меньшевиков, оказавшихся в большинстве на баррикадах, губила немецкая метода, пригодная для проведения выборных кампаний и в лучшем случае для проведения забастовок, а никак не для использования наивысшего подъема революционного настроения и энтузиазма, которые возникают в массах стихийно, использовать которые должны быть готовы революционеры и которые нельзя искусственно создать в любой момент. Самое опасное во время революции для революционеров — пропустить этот момент. Это как раз делали меньшевики, пользуясь тем, что за ними в октябре 1905 г. было большинство, что в Харькове организационно массы шли еще за ними.

После сырой, холодной ночи утром засияло солнце. На заводах один за другим загудели гудки. Ветер доносил звуки набата. Толпы народа, как мы после узнали, валили к Павловской и Николаевской площадям, к местности, где забаррикадировались восставшие.

Время от времени на пространстве между двумя баррикадами выступали перед защитниками баррикад члены „Комитета борьбы". Меньшевики обладали на баррикадах своими крупными силами,

как интеллигенты Львов-Рогачевский, Поддубный и, наконец, некто Виктор из ж.-д. района. Тов. Артема не было на баррикадах. Он находился в это время далеко, в Петербурге, куда уехал повидимому на партийную конференцию по вопросу о бойкоте Государственной думы.

Часам к одиннадцати 12 октября 1905 г. в „Комитет борьбы" явился представитель „Комитета общественной безопасности", если я не ошибаюсь — присяжный поверенный Шидловский, с цилиндром на голове [1]. Этот Шидловский, являвшийся на баррикады с раннего утра несколько раз, пока переговоры о сдаче баррикад не были закончены, влиял в отрицательном смысле на меньшевистских интеллигентов. К часу дня „Комитет общественной безопасности" явился в полном составе на баррикады и убедил окончательно меньшевиков в необходимости сдаться военным властям на „почетных условиях".

Согласно только что принятому большинством голосов защитников баррикад решению была избрана особая комиссия по переговорам о сдаче баррикад „на почетных условиях", на которые, по сообщению представителя „Комитета общественной безопасности", выразил полное согласие командующий войсками в Харькове генерал Мау.

В делегации со стороны защитников баррикад участвовали Николай, комендант, эсер (кажется), Сазонов и я. Полковник, посланный от командующего войсками генерала Мау, согласился на пропуск нас с баррикад „на почетных условиях" (без внешнего оружия), что давало полную возможность унести в карманах браунинги, маузеры и т. д., и с правом притти на митинг на Скобелевскую площадь. В виде гарантии, что по выходе из баррикад со стороны войск на нас не будет сделано нападение, нам был обещан пропуск до Скобелевской площади под охраной отряда драгун с комендантом города во главе. В числе главных условий было то, что никто из нас не арестовывается.

— Мне поручено получить от вас указания, где у вас заложены мины и фугасы, — сказал полковник.

— Что касается мин и фугасов, — важно ответил тов. Пальчевский, — то мы обещаем сами к моменту выхода с баррикад совершенно ликвидировать их. Поэтому нет надобности вам указывать местонахождения их.

Вскоре началась сдача баррикад. Защитники их, даже голосовавшие за сдачу их, уходя после проведенной на них ночи, кидали на них взгляд сожаления. Видно было, что они как бы уже сроднились с ними. Им уже жалко было расставаться с ними. Они как бы прощались с ними.

---

[1] Шляпа, которую носят в З. Европе капиталисты и которую на свадьбах и похоронах и других торжественных случаях одевают и рабочие.

— Товарищ Наум, — обратился ко мне комендант, — в числе условий, на основании которых мы сдаем баррикады, есть требование, что в доказательство, что мы исполнили обещание и не унесли с собой винтовки, последние должны быть непременно сложены на середине двора на видном месте. Позаботьтесь о том, чтобы это условие было на деле выполнено. Не забывайте, что невыполнение его может послужить предлогом для командующего войсками нарушить, в свою очередь, условия нашего выхода на Скобелевскую площадь „на почетных условиях".

Оглядев наскоро территорию баррикад, я удостоверился, что наши охотничьи дробовики, монтекристо и редкие военные и охотничьи винтовки заботливо уже сложены в кучу на мостовой перед зданием университета, из которого вылезали до этого где-то прятавшиеся сторожа университета в полной форме. Они нарядились, очевидно, для встречи начальства. Они бросали на меня недружелюбные, враждебные взгляды.

— Наум! Наум! — услышал я. Это кричал тов. Димка (Бассалыго). — Бросайте все и выходите сами скорее. Все уже готово; вас только ждем.

Взобравшись на баррикады, я, как и все, бросил последний прощальный взгляд на них. Я испытывал двойное чувство. С одной стороны, мне было досадно, что мы уходим с баррикад без боя.

„Раз взвилось над построенными народом баррикадами красное знамя, — думал я, — оно не должно свертываться перед врагами. Лишь после боя и, быть может, долгого боя, над мертвыми уже их защитниками победивший враг срывает его и топчет ногами. Или после победы революции оно взвивается высоко-высоко над всем городом. Всем видно это красное знамя, и чувство гордости наполняет сердца борцов..."

Не то теперь: мы оставляем баррикады без боя. Как жаль, что с нами на баррикадах не было тов. Артема. Его страстная, задушевная речь в соединении с едким сарказмом и сухими логическими доводами тов. Авилова, может быть, победили бы холодную рассудочность меньшевистских вождей на баррикадах и заставили бы сердца борцов воспылать жаждой последнего, смертного боя с многочисленным врагом.

Я испытывал досаду, что мне не удалось сложить своей головы в этом бою.

С другой стороны, мною овладевала чисто животная радость от сознания, что я жив, что я испытываю дуновение свежего ветерка, что я слышу звуки жизни, что все кончается так благополучно.

Внизу, куда я спустился, уже стояли товарищи, выстроившиеся в ряды по-военному. За двумя цепями пехоты, сейчас же за солдатами, совсем близко от них, с правой и с левой стороны,

шумела и волновалась несметная толпа народа. Слышались крики:

— Да здравствуют защитники баррикад! Да здравствует революция! Привет защитникам баррикад!

Военное начальство, видимо, нервничало и торопилось нас скорее сплавить. Наконец раздались слова команды. Мы двинулись, окруженные со всех сторон отрядом драгун, с офицером во главе, на Скобелевскую площадь. Передовые рабочие и студенты, бывшие в толпе, тотчас запели:

„Дружно, товарищи, в ногу.
Духом окрепнув в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе".

Тотчас саперы, не исполнив данного нам обещания не занимать в течение получаса баррикад, по приказу военного начальства заняли их.

У самой Скобелевской площади драгуны оставили нас, повернув обратно С наскоро сооруженной высокой трибуны нас приветствовал рабочий паровозного завода, ныне здравствующий т. Егоров, произнесший короткую приветственную речь. За ним вошел на трибуну Львов-Рогачевский.

— У нас, — говорит он, — не было возможности дать бой, победить самодержавное правительство на баррикадах. У правительства не нашлось сил нас раздавить, взять в плен. Мы вышли с баррикад на почетных условиях, фактически победителями. Мы вышли с оружием в руках для борьбы, которая еще не закончена. Вы, вижу я, плачете от радости. У меня тоже слезы на глазах. Красное знамя свернулось сегодня ввиду того, что восставший народ еще недостаточно силен. Завтра он уже окажется победителем, и тогда оно взовьется над всем городом.

Уже темнело, когда он оканчивал свою речь. Площадь редела. Народа на ней почти не было.

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПОХОРОНЫ.

Хотя новым генерал-губернатором Сенницким было оставлено в силе на другой же день после сдачи баррикад, т. е. 13 октября, военное положение, но рост революционного настроения по всей стране, и в частности в Харькове, был настолько значителен, что правительство еще не чувствовало себя настолько окрепшим, чтобы запретить назначенные на 14 октября революционные похороны. Генерал-губернатор принужден был ограничиться лишь запрещением при похоронном шествии красных знамен и революционных плакатов.

Когда этот вопрос обсуждался на одном из митингов, эсер За-

белин выступил с предложением притти на похороны не с красными знаменами, поскольку последние запрещены генерал-губернатором, а со знаменами другого цвета, хотя бы белыми или желтыми. Несмотря на все возражения, Забелин настаивал на своем. Он отказался лишь тогда от своего требования выйти на похороны с белым или зеленым знаменем, когда пришедший на этот митинг эсер интеллигент Сазонов убедил его во вздорности и нелепости его предложения. Революционный суд ввиду того, что Забелин был рабочим и не знал историю революционного движения, ограничился по отношению к нему строгим выговором.

Несмотря на попытки агентов охранки сорвать эти революционные похороны с самого начала, когда один провокатор пробовал вызвать панику, сделав выстрел из револьвера, похороны, собравшие не менее 60 000 участников, прошли в строгом порядке. Они интересны, между прочим, и тем, что только во время них рабочие во всей своей массе в первый раз научились петь революционные гимны. Обнаружилось, что не только рабочие, но даже и интеллигенты, сочувствовавшие революции, за редким исключением, не знали революционных гимнов. Мне в числе других организаторов похорон пришлось поэтому бегать вдоль отдельных больших отрядов, на которые была разделена масса пришедших на похороны, писать на спинах товарищей слова революционных гимнов, затем напевать мотив и, после того как передовая часть этого отряда усваивала и начинала уже петь данную революционную песню, бежать дальше. Таким образом толпа выучивала сначала „Вы жертвою пали в борьбе роковой", затем и другие революционные гимны, кроме, конечно, „Интернационала", который еще не был известен в то время и более или менее широкому кругу революционеров.

Не прошло и получаса, как по улицам, где проходило похоронное шествие, раздались торжественные напевы революционных песен. „Вы жертвою пали в борьбе роковой, любви беззаветной к народу" — пела толпа. Слова гимнов, что скоро проснется рабочий народ, что он явится мстителем суровым, что рабочий класс идет на кровавый, решительный бой против царя, капиталистов, помещиков и всех эксплоататоров, впервые вставали в сознании многих.

После этого революционная песня надолго вытеснила все остальные песни в рабочих кварталах. Вечерами на окраинах она неслась почти что из каждого домика, она плыла и звенела в воздухе, когда я поздно вечером проходил с кружка по Ивановке, Москалевке, Панасовке и по другим окраинам города.

Вместо запрещенных генерал-губернатором красных знамен на похоронах появились многочисленные венки с революционными надписями на множестве красных лент. Похороны на кладбище закончились революционным митингом.

Нельзя пройти молчанием замечавшееся осенью 1905 г. под несомненным влиянием роста рабочего движения революционное настроение среди харьковского студенчества. Резолюция, принятая студентами в Харьковском университете 12 сентября, между прочим, говорит: „Мы будем осуществлять в стенах университета элементы политической свободы: свободу организаций, свободу собраний, свободу слова в революционной борьбе. Мы будем стремиться сделать его центром политического воспитания не только студенчества, но и широких народных масс, путем свободного доступа последних на наши собрания".

Вообще лучшая часть интеллигенции во время революции 1905 г. была на стороне последней. Вместе с ней пришло на помощь революции искусство. Достаточно взглянуть на революционную сатиру 1905 г., посмотреть рисунки художников Грабовского, Чехонина, Серова, Гржебина, Билибина, Кустодиева, Добужинского, Лансере, Животовского, Кардовского, Герардова и других, помещенные в многочисленных сатирических журналах того времени, чтобы создать себе представление, какую могучую помощь оказывало искусств российской революции 1905 г.

Подавляющее большинство сочувствовавшей революционному рабочему движению интеллигенции придерживалось все-таки меньшевистской ориентации. Еще летом у меньшевиков (дело № 88, т. III, Ю.-В. охр. отд.) насчитывалось 25 пропагандистских кружков, 3 заводских группы, 300 организованных рабочих, 8—10 профессионалов и богатая техника. Поражает малое количество профессионалов — всего только 10 человек, которые на такое большое число подпольных кружков жили на счет организации. Это говорит, что не менее как две трети кружков у них обслуживалось безвозмездно. Такое большое число кружков, которое осенью, в момент сильного подъема движения, несомненно, возросло, говорит об умении, проявленном меньшевиками, организационно укреплять свою работу в массах. Меньшевики в Харькове сумели сохранить свое влияние на своих передовых рабочих, когда последние вслед за массами двинулись в сторону большевистских лозунгов. Меньшевистские вожди умели так влиять на своих рабочих, что последним трудно было разобраться: большевистский ли это лозунг или меньшевистский. Меньшевики на словах были за вооруженное восстание и за создание боевых дружин. Эти последние у них были вооружены не только не хуже, чем большевистские дружины, но очень часто и лучше. Но большое количество в них буржуазных сынков, помогавших меньшевикам удерживать влияние на умы своих рабочих, сыграло свою отрицательную роль во всех военно-революционных выступлениях боевых дружин.

Что касается большевиков, то последние, завоевывая для боль-

шевистских лозунгов даже рабочих-меньшевиков, становившихся идеологически по многим вопросам на большевистскую точку зрения, не проявили в то время тех необходимых организаторских способностей, которые помогли нам закрепить идейные победы над меньшевиками и организационно.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ МИЛИЦИЯ.

Военное положение, введенное в Харькове одновременно с объявлением эры свобод 17 октября, не могло остановить роста революционного рабочего движения. Как могучий поток весной, оно срывало все плотины, которые пыталось ставить правительство революционному движению. Последнее пошло вширь и вглубь...

Рабочие наковавшие себе пик, сами охраняли паровозное депо, ж.-д. склады, целые составы нагруженных товарами и застрявших из-за забастовки в пути вагонов. Когда случилась кража из нескольких вагонов ценных грузов, рабочие, оцепив целый квартал, где предполагали найти воров, производили обыски, пока не отыскали и не арестовали воров. Когда было выяснено, кто именно были воры, рабочие сами их безжалостно расстреляли[1].

Постепенно выдвинулся вопрос о создании своего, революционного суда. По мере того как увеличивалось число боевиков и боевых дружин, все большую роль стал играть завод Гельферих-Саде, как центр боевых дружин. Однажды я узнал, что там дружинники арестовали и держат под арестом с десяток ракло, воров и т. п.

С тех пор как начались всеобщая забастовка, демонстрации, во время баррикад и после них значительно участились случаи грабежа и нападения на улицах. Люмпен-пролетариат, в виде жуликов, ракло, босяков, компрометировал пролетариат. Однажды среди белого дня, пройдя театр, в двух шагах от центра города я услышал женский крик о помощи.

— Ай, ай, ай! — кричала молодая, хорошо одетая женщина, принадлежавшая, по всем данным, к богатому классу. — Что же это такое? Среди бела дня настоящий грабеж! Ой, помогите! Караул! Караул!

Я оглянулся. Хромой нищий, обыкновенно до забастовки смирно стоявший на углу улицы и выпрашивавший „Христа-ради“, хладнокровно и молча изо всей силы вырывал у нее из рук сумку. Женщина визжала, кричала „караул“, но крепко держалась за сумку.

---

[1] Заподозренных в краже рабочие подвергли устрашению. Между прочим сыграл не малую роль паровой молот, которым рабочие грозили ворам размозжить головы, если они не сознаются.

Существовало известное послание харьковских воров рабочим, текст которого, к сожалению, мне не известен.

— Отдай! — крикнул, наконец, он.

— Не отдам! Ракло! Жулик! Ах, боже мой, да помог бы кто!

В это время совершенно неожиданно со стороны Театральной площади показались два наших дружинника — один рабочий, другой — студент.

— Ты что делаешь? — крикнул один из них на нищего.

— Как что? — ответил он. — А тебе что за дело? Проваливай, пока цел... Я свое беру. Она богатая, а я — нищий.

— Нет, брат, мы тебе грабить не позволим.

— А вы кто такие? — крикнул нищий. — Кто вам дал право вмешиваться туда, куда вас не спрашивают?

— Мы — революционная милиция, — ответил товарищ. — Мы действуем от имени социал-демократической партии, которая как раз и борется против богатых, против капиталистов. Но бороться против господства капиталистов с целью установить такой порядок, когда не будет гнета капиталистов, хозяев над бедняками-рабочими, это значит революция. Нападать на отдельных богачей на улицах с целью личного обогащения, это — грабеж. Отдай ей сумку!

— А вам я, с своей стороны, советую дать ему на хлеб, сколько вы можете, — обратились они к женщине.

— Я вам очень благодарна, — ответила с очаровательной улыбкой спасенная от нищего барыня. — Я не знала, что революционеры могут быть так благородны.

— Простите, ваше благородь, — говорил, обращаясь к товарищам, получивший от барыни три рубля нищий. — На самом деле пошарпать хотел я мало-мало барыню-то. Помешали вы мне, но больше, накажи меня бог, уж не буду.

Оглядываясь, он заковылял и скрылся за углом. Его слова и весь его ответ доказывали, что он ничего не понял, что говорили ему товарищи.

Меньшевики-дружинники в течение нескольких дней во время баррикад пробовали ходить по улицам. При этом передовые из них громко, на всю улицу, кричали:

— Идет народная милиция!

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СУД.

Арестованные на заводе Гельферих-Саде ракло с испитыми лицами сидели на скамейке на дворе завода, около трибуны, на которой стоял оратор. Они просидели на хлебе и воде около двух суток. По очереди их вызывали к трибуне, над которой, по обыкновению, развевалось красное знамя и на которой стояли и меньшевики и эсеры. Председателем суда был избран эсер Корытин. По очереди ракло подходили к трибуне. Большевиков на этот митинг пришло мало.

— Что делать с ним? — спрашивал Корытин. — Они, ракло, грабят, нападают на улицах, похищают грузы из вагонов. Это дает

повод правительству и буржуазии обвинять во всех этих грехах нас, рабочих, и вводить военное положение.

— Отпустить на первый раз, — подтверждала толпа предложенный Корытиным приговор. — Если же он попадется второй раз, выжечь на его лбу каленым железом слово „вор", в третий раз — расстрелять.

Одного за другим выводили дружинники ракло за ворота завода и, дав дружеский совет: „смотри, больше не попадайся!", отпускали на все четыре стороны. Таким образом были отпущены все арестованные воры. Кроме воров революционный суд судил и одного разоблаченного провокатора, агента охранки. После того, как охранник во всем сознался, отдал свою карточку охранки и обещал не вредить больше народу, его отпустили.

— Извиняюсь, — вдруг заявил высокий черный, с черными усами мужчина, обращаясь к председателю революционного суда Корытину. — Я заявляю протест. — Я императорский прокурор. Вы не имели никакого права захватить прерогативы законной власти, представителем которой я являюсь. Предупреждаю вас, что вы подлежите ответственности по следующим статьям. — И он начал перечислять статьи закона, на основании которых товарищей, стоявших на трибуне, нужно было загнать туда, куда, как известно, Макар телят не гоняет.

— Мели, Емеля, твоя неделя! — закричали на него из толпы. — Уходи, пока цел. Здесь революционный суд. Теперь революция. Понял?..

Сконфуженному царскому прокурору ничего не оставалось больше, как уйти.

ОДНА ИЗ НЕУДАВШИХСЯ ПРОВОКАЦИЙ ПОЛИЦИИ.

С переходом в Городской район я перехал из железнодорожного района, с Панасовки, на Скобелевскую площадь. Пропагандистка Городского района тов. Лиза Большая обратилась ко мне с просьбой, чтобы я дал ей кружок рабочих. В назначенный день, когда я ее должен был познакомить с членами кружка, она зашла ко мне заранее, чтобы побеседовать, как лучше вести в кружке работу.

Мы проговорили о судьбах революции, о рабочих, о методах пропаганды не менее чем часа полтора. Самовар, стоявший на столе, давно перестал напевать свою песенку и потухал. Уже стемнело. Хозяйка закрыла ставни. Я зажег стоявшую на столе маленькую, издававшую запах керосина лампу.

— Пора уже итти нам к рабочим, — сказала тов. Лиза Большая, посмотрев на часы. Я встал с намерением взять с вешалки и подать пальто тов. Лизе Большой. Вдруг среди мертвой тишины вечера раздался повелительный стук в дверь моей комнаты, и чей-то нетерпеливый и в то же время властный голос сказал:

— Отворите! Отворите! Скорее отворите!

Лиза Большая вопросительно взглянула на меня.

— Вот так так! — произнесла она. — Наверно, обыск. У вас ничего компрометирующего нет?

Осмотрев быстро комнату и убедившись, что ничего компрометирующего нас в глазах жандармов у меня нет, я открыл, наконец, дверь, в которую продолжали стучать и за которой продолжал раздаваться тот же голос, требовавший открыть дверь.

На пороге показался пристав в сопровождении вахмистра драгунского кавалерийского полка. Из-за их плеч с испуганным выражением лица выглядывала хозяйка.

Пораженный неожиданностью, я вопросительно смотрел на того и на другого.

„Почему драгун, вахмистр? — думал я. — Наверное, начались облавы в городе, и жандармов уже нехватает".

— Это тот самый? — спросил пристав хозяйку, указывая на меня.

— Да, господин пристав, — ответила она. — Это — мой квартирант.

— Так это тот самый рабочий, — обратился он к вахмистру, — который полчаса всего назад бросил камень в разъезд?

Вахмистр, прежде чем ответить, долго и внимательно смотрел то на меня, то на Лизу Большую. Последняя его явно смутила. В простом, но городском платье, без платка на голове, который она должна была надеть, чтобы замаскироваться под работницу, в пенснэ она совершенно не походила на работницу.

На его открытом, честном лице явно происходила борьба. Ему, видимо, было приказано сказать: „Да, это действительно тот самый рабочий, который всего минут сорок назад бросил в мой разъезд камень". Но потухающий самовар, мирная домашняя обстановка, присутствие в комнате тов. Лизы Большой, с внешней стороны не похожей на работницу, — все это заставило его заколебаться. Как каждый солдат, он мог вспомнить свою деревню, дом, жену, детей. Он молчал...

— Ну, что же ты ничего не говоришь? — резко спросил его пристав. — Говори, это тот самый рабочий, что бросил камень?

— Нет, ваше благородие, это не тот, это не рабочий: тот был выше ростом и тот был настоящий рабочий.

— А ты не ошибаешься? — с досадой в голосе спросил его пристав.

— Нет, ваше благородие, я уверен; тот был совсем другой человек.

— В таком случае извиняемся за беспокойство, — произнес с видимым сожалением пристав. Повернувшись, зазвенев шпорами, они ушли.

Только тогда мы пришли в себя.

— Что это такое, что это за история с камнем? — задала вопрос тов. Лиза Большая.

— Вы слышали сами, что дело идет о камне, брошенном в патруль всего полчаса назад. Между тем мы с вами сидим уже не менее чем часа полтора, если не два. Из этого ясно, что камень был брошен не мной. Тут или недоразумение или провокация, но неудавшаяся. Вахмистр оказался более честным, чем это нужно было для полиции. Вы заметили, как он колебался и смотрел то на меня, то на вас. В общем я уверен, что это ваше присутствие спасло меня от немедленного расстрела или жестокого избиения и тюрьмы.

В то время как в Харькове происходили события на баррикадах, когда с 10 по 13 октября всеобщая забастовка стихийно превращалась в восстание, опережая организации, когда толпа, отражая нападения казаков и полиции, брала приступом оружейные магазины Тарнопольского, „Спорт" и „Охота" на Московской улице, — в это время в Петербурге 13 октября заседал Петербургский совет Рабочих Депутатов, сначала под председательством меньшевика Ивана Зборовского, а затем беспартийного Хрусталева-Носаря.

„ОБИТАТЕЛЬ ЗЕМНОГО ШАРА".

Начинающееся влияние рабочих на крестьян в 1905 г. осенью сказалось, между прочим, в том, что свою борьбу против помещика, которая выливалась в Харьковской губ. в разгром помещичьих имений, в пускание красного петуха, крестьяне называли „забастовкой".

Однажды, придя к т. Мерцалову вместе с Пал Палычем (Борисом Васильевичем Авиловым), мы застали там вернувшегося по амнистии бывшего народника Данилова, описанного Таном (Богоразом) в одном из его рассказов о г. Нижне-Пропадинске (Нижне-Калымск, Якутской области). Он описан там в виде энтузиаста-мечтателя.

На вопрос Пал Палыча, что он собирается делать, он ответил:

— В народ пойду, вот что буду делать. Пойду по деревням пропаганду пущать...

Еще до наступления морозов, надев на себя котомку, взяв в руки палку, он отправился по селам и деревням. При встрече с крестьянами он пытался вести среди них пропаганду. Первые его попытки, как он жаловался, не блистали удачей.

— Ваша это земля? — спрашивал он крестьян, указывая на помещичьи поля.

— Яка ж наша, — отвечали крестьяне со вздохом. — Оце помещичья. Кругом туточки земля помещичья.

— Неправильно это, — отвечал обыкновенно Данилов. — Не помещичья это земля, а божья. Разве воздух, которым мы дышим, помещичий? Разве вода, которую мы пьем из реки или из озера,

помещичья? Нет! И воздух, которым мы дышим, и вода, которую мы пьем, — божьи, общие, мирские. Земля тоже не помещичья, а божья и, значит, мирская, общая. Неправильно, не по-божьи владеют помещики землею. По-божьи, по правилу будет, если вы, крестьяне, возьмете себе землю-то.

— Да мы и то скилько раз собирались здесь у нас в деревне енту самую забастовку, як в Харькове, объявить. Да вот сомнение берет нас. Кажуть, жиды это да безбожники на забастовки подбивают крещеный народ. Вот и вы — старый человек и хороший с виду, а вот не знаю я, чи крест-то у вас на груди есть чи нет?

— Слушаю я его,—говорил Данилов,— и вспомнил, что креста-то как раз и нет у меня. А крестьянин видит, что я мнусь, и говорит мне:

— Нема, видно, у тебя святого креста. Иди от нас, старый человек, подобру́ поздоро́ву. Не верим мы тебе. Уходи, пока не связали.

После этой неудачи заказал себе Данилов чугунный крест величиной не менее четверти аршина. Навесив себе его на голой открытой груди, без шапки, босиком, он стал ходить по деревням в любую погоду — не только в осеннюю слякоть, но и в снег и мороз, как он себя приучил еще в Сибири.

Но эта попытка играть на суеверном чувстве русского крестьянина не увенчалась для Данилова успехом. Ни крест, который он носил в самый сильный мороз на голой груди, ни обнаженная в мороз голова, ни совершенно босые ноги, которыми он поражал в трескучий мороз грубое воображение суеверных баб, не спасли его от ареста.

— Кто вы такой? — спрашивали его сначала в полиции, затем в тюрьме.

— Я — обитатель земного шара, — отвечал Данилов.

— Как ваши фамилия, имя, отчество? Какой вы национальности?

— Обитатель земного шара, — неизменно отвечал он на все вопросы.

Зимой в 20-градусный мороз я в 1906 г. видел его лично гуляющим по тюремному двору с вышеупомянутым крестом на голой груди, с непокрытой головой, с голыми ногами, на которых штаны были засучены до самых колен.

Несмотря на оригинальничанье, он своим подходом к крестьянам как бы доказывал, до чего мог докатиться народнический социализм. Игра на грубых и суеверных чувствах, культивирование веры в бога, отсутствие в его речах научных предпосылок, отсутствие указаний на борьбу пролетариата против буржуазии, при ограничении пропаганды лишь вопросом о земле, — все это говорило, что социализм народника Данилова мог быть лишь мелкобуржуазным социализмом.

БОЕВИКИ.

Сазонов (Пальчевский).

Комендант Николай, по мере того как большевистские лозунги все более охватывали массы, после баррикад все более шел на сближение с большевиками. Увлекшись делом формирования и организации боевых дружин, наталкиваясь ежедневно на половинчатость и нерешительность меньшевиков во всем, что касалось военного дела, Пальчевский порывает, наконец, с меньшевиками и примыкает всецело в это время к нашей партии. Базой боевых дружин становится после баррикад завод Гельферих-Саде. Николай становится главным руководителем по организации и обучению боевых дружин. Последнее происходило обыкновенно за городом. Большевики обращают теперь исключительное внимание на обучение и организацию военного дела. За ними, чтобы не потерять влияния на рабочих, тянутся и меньшевики и эсеры.

Одной из задач боевиков являлось разоружение жандармов, полиции и казаков, когда последние попадались в единственном числе. Это разоружение производилось просто среди бела дня и часто на довольно людных улицах. Боевику приходилось в таких случаях проявлять исключительную смелость, находчивость и быстроту. Встретив где-нибудь вооруженного с ног до головы жандарма, околотка или городового, наш боевик, быстро оглядевшись, прямо и смело подходил к ничего не подозревавшему жандарму.

— Стой! — обыкновенно кричал он ему. — Руки вверх! — И немедленно наводил на него дуло револьвера.

Почти все жандармы, околотки и городовые оказывались трусами, поднимали немедленно руки вверх и позволяли себя разоружить. Лучшими боевиками как раз считались те из товарищей, которые умели таким образом приобрести оружие.

Интендантом боевых дружин был т. Алексей (Иванов) [1]. Оружие, патроны хранились на складе матери т. Лизы Большой, где была сложена старая мебель и другие вещи. Ключ хранился у т. Лизы Большой.

Однажды я встретил коменданта Николая на одной из пустынных улиц с одним из боевиков. Последний с лицом, изрытым оспой, с черной бородой, с сверкающими глазами, вооруженный длинным скованным на заводе кинжалом, наводил ужас на жандармов, когда, встретив кого-нибудь на пустынной улице, он зычным голосом вскрикивал:

— Руки вверх!

Теперь, прислонившись к стене нежилого дома, он говорил Пальчевскому:

— Назначьте меня, товарищ комендант, в десятские отряда. Разве я не проявил уже преданности революции и энергии? Вспом-

[1] Иванов, Сергей Петрович.

нитс, скольких жандармов, околотков, городовых я уже разоружил! Не позднее, как вчера, в вашем, можно сказать, присутствии я разоружил двух жандармов, отнял у них револьверы, патроны, шашки. Вам все мало. Разве это допустимо, что мною командует какой-то мальчик?

— Не могу, — ответил комендант. — Я знаю, что вы отважны, что вы можете пойти на самое рискованное дело. Чтобы быть десятским, необходимо не только знать военное дело, — нужно быть хорошим членом партии, а вы не хотите вступить даже в партию.

— Стар уж я ваши брошюрки читать, но, видно, придется. Ничего не поделаешь. Но и без этого вы можете вполне на меня рассчитывать. Когда начнется вооруженное восстание, вы увидите меня в передовых рядах.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ САПОЖНИКОВ.

Поскольку движение выходило на открытую арену и становилось массовым, получилась возможность организовывать профсоюзы. Так как с приездом тов. Артема я перешел в Городской район, мне пришлось иметь дело не только с заводскими рабочими, входившими в Харькове в этот район, но и с рабочими мелкого производства — с ремесленниками.

Однажды, придя в Народный дом, я неожиданно для себя встретил там одного рабочего, сапожника по профессии, из Городского района Твери.

— Вы, — говорю ему, — как сюда попали?

— Да вот как. Подхожу это я в Твери однажды вечером к дому. Смотрю, сестренка стоит и что-то рукой старается мне показать: „Не ходи, дескать, домой". — Что, спрашиваю, Манюрка, случилось? — „Мамонька меня навстречу к тебе выслала. Не ходи, мол, Ваня, домой. Полиция тебя ждет. Весь дом перерыли. Арестуют тебя непременно". — Вот я и приехал сюда, в Харьков.

— Где работаете?

— Где? Известно, по нашей, по сапожной части. В подвале тут у одного сапожника, у хозяйчика. Я уже кружок создал. Хорошо, что вас встретил, а то чистая беда: никого знакомых. Я давно хочу связаться с организацией. Скучно так жить, вот я и начал вести работу среди сапожников. Уже создал центральный кружок, как вы учили. Можно выпустить листок. Материал у меня в голове давно собран. Я думаю, листок послужит искрой в пороховом погребе. Уж очень плохо этим сапожникам живется.

— Давайте, кроме партийного кружка, создадим еще и профессиональный союз сапожников.

— Можно и союз устроить. Начнем работать во-всю!..

На этом мы и порешили. Через неделю мы выпустили листок к сапожникам. Еще через неделю мы уже созывали учредительное собрание рабочих сапожного ремесла для учреждения профессио-

нального союза. Пришло более ста человек в столовую рабочих ХПЗ, которая находилась на пустыре около завода.

— Уж очень нашим сапожникам пондравился ваш листок. Правду говорят социал-демократы-большевики. Нет хуже положения рабочих, как положение нас, сапожников. Работаем мы не в больших, светлых фабрично-заводских зданиях, где много воздуха, а в душных, низких, сырых, тесных подвалах. Рабочий день безмерно длинен. Заработная плата низкая — едва хватает на хлеб да на квас. Спим мы, едим в тех же помещениях, где и работаем. Разве это жизнь? Оттого наши лица рано блекнут, принимают серожелтый оттенок. Появляется одутловатость, отеки. Оттого большинство из нас пьет горькую. Недаром говорят: „Пьян, как сапожник", — говорил мне товарищ.

— Правильно вы все это написали в листке. Есть еще и другая жизнь. Мы решили теперь начать ее. „Довольно, — говорят наши сапожники, — мы терпели рабскую долю. Пора распрямить согнутую спину, организоваться в союз и смело начать борьбу".

Так говорили сапожники на этом собрании. Листок, союз, партия, казалось, для них явились действительно лучом света, осветившим их беспросветную жизнь и указавшим им выход из нее. Они рьяно принялись посещать собрания профсоюза, партийные кружки, принялись читать партийную литературу.

Надо признаться, что работа пошла так успешно благодаря исключительным организаторским способностям того тверского сапожника, о котором я говорил выше. Я позабыл его имя. Оно стерлось, затерялось в памяти, забылось, как забывается, к сожалению, многое. Но заслуга в том огромном коллективном труде, в тех общих усилиях, которые вызвали революцию 1905 г., которые теперь склонны некоторые товарищи приписывать отдельным героям, личность которых была ярче и воля сильнее, принадлежит в большей степени этим безвестным теперь героям революции, как этот тверской сапожник.

На учредительное собрание, созывавшееся раза три-четыре, сапожников приходило все более. Меня поражало, что среди их потрепанных, придавленных судьбой фигур виднелись лоснящиеся от жира, краснощекие, резко отличавшиеся здоровым видом лица их хозяев.

— Позвольте теперича, товарищ председатель, узнать, — задавали они вопросы, — можно ли теперича и нам, хозяевам сапожных мастерских, в союз этот членами вступить? Подмастерья эти, как работали, так и работали бы, а я, к примеру, с заказчиками имел бы дело. Так оно и шло бы по-хорошему. А то, вишь, теперича, апосля вашей прокламации, житья нам, хозяевам, не стало. Раньше я только хозяин был для них. „Иван Иваныч", — обыкновенно говорят. Кланяются. А теперича на-днях слышу: „кровопиец" — говорят. Как же это можно?..

— Нет, — отвечал я, — не имеете вы, хозяева, права вступить в союз ваших рабочих. Членами его могут быть только рабочие-сапожники, но не хозяева мастерских, каким являетесь вы. Рабочие всех профессий, всех ремесл, крупных фабрик и мелких мастерских объединяются во всех странах в союзы для борьбы с хозяевами. Вот и рабочие-сапожники пришли, наконец, к необходимости объединиться в союз для борьбы с хозяевами. Посмотрите-ка, товарищи, — указывал я, — на себя и на ваших хозяев. Кому лучше живется? Одеты они в лисьи шубы и мерлушковые шапки. Лица у них красные, здоровые. Пузо у них распирает из-под шубы-то. А сукно-то на шубе новое, тонкое. А вы посмотрите на себя, какие вы с виду по сравнению с вашими хозяевами? Все вы оборваны, животы у вас подтянуты. Лица у вас серозеленые. Какое ваше житье? Оно, как говорит писатель Максим Горький, „как встал, так и за вытье". Единственный выход для вас, это — объединиться в союзы, как это сделали уже рабочие за границей, и бороться против хозяев и самодержавия.

— Нет, уж мы просим, поскольку теперича свобода эта пошла, поставить наше предложение на голосование, чтобы нам, значит, хозяевам, иметь право быть членами этого самого союза вместе с сапожниками, с нашими подмастерьями, — заявили хозяева свое требование.

Голосование подтвердило, что все рабочие-сапожники были против вступления хозяев в их союз.

— В таком случае, — заявили хозяева, — счастливо, значит, оставаться. Каждый, значит, теперича пойдет своей дорогой. Не хотите из одной миски с нами щей хлебать! Как, значит, хотите. Борьба, так борьба! Прощевайте!

Борьба началась. Хозяевам пришлось пойти на уступки. Первые победы над хозяевами, усиленная работа, которую мы вели среди сапожников, активная, самоотверженная работа товарища сапожника из Твери привели к тому, что почти все рабочие-сапожники, вступившие в союз, целиком вошли и в нашу партию. Правда, только счастливой случайностью надо объяснить то, что они организационно связали свою судьбу не с меньшевиками, а с большевиками.

ПОДГОТОВКА К ВООРУЖЕННОМУ ВОССТАНИЮ.

До восстания на броненосце „Потемкин" 14—18 июня 1905 г. в Одессе и до баррикад 11—12 октября 1905 г. в Харькове социал-демократические организации в этих двух городах, и у большевиков и у меньшевиков, не были совершенно подготовлены к вооруженному восстанию.

С одной стороны, ничто не показывало, чтобы до такой степени задавленный русский рабочий был способен на вооруженное восстание. С другой стороны, так же трудно было себе представить, чтобы

крестьянин в форме матроса мог так воодушевиться идеей освобождения рабочего класса, оказаться настолько хорошим союзником рабочему, чтобы найти в себе столько душевных и умственных сил, чтобы совершить поступок, полный такого высокого героизма, как восстание на броненосце „Потемкин" и последовавшие затем одно за другим восстания в военном флоте.

Исход событий на харьковских баррикадах 11—12 октября 1905 г. определенно указывает, что вследствие неподготовленности меньшевиков и большевиков к проведению вооруженного восстания был упущен самый благоприятный момент для восстания, когда на последнее шли стихийно и впереди и большевиков, и меньшевиков, и эсеров рабочие массы. В самом деле, стихийный рост движения среди рабочих ставил Харьков в особо благоприятные условия в октябре 1905 г. для проведения в жизнь вооруженного восстания. Мало того, можно смело сказать, что Харьков в октябре опередил все другие города России по возможности, если бы организации были подготовлены к нему, проведения вооруженного восстания. Сложившиеся обстоятельства, если можно так выразиться, судьба, давали блестящие возможности по проведению его, и они были упущены. Был упущен наивысший подъем революционного настроения. Но все, казалось, говорило за то, что, возможно, он опять еще наступит. Большевистский комитет поручил дело подготовки вооруженного восстания главным образом тов. Авилову Борису Васильевичу. Его помощником в этом деле был тов. Артем. Им предоставлена была возможность действовать через „Комитет борьбы" или Федеративный совет, совместно с меньшевиками и эсерами или совершенно отдельно от них.

Боевой штаб как-то сам собой создался из товарищей: Николая Пальчевского (руководитель штаба), студента, Димки (Бассалыго), студента — организатора боевых дружин Паровозного завода, Алексея (Сергей Петрович Иванов, студент Ветеринарного института, исполнял обязанности интенданта боевых дружин), Жука — студента Технологического института, организатора боевых дружин городского района и Остапенко Степана, организатора районных железнодорожных мастерских.

Обстоятельства опять очень благоприятствовали восстанию. Как видно из дела № 110 Харьк. охр. отд., объявленное генерал-губернатором военное положение оказалось висящим в воздухе, митинги не прекращались на заводах. Вследствие агитации и пропаганды среди солдат войска были до известной степени разложены. Государственный аппарат оказался в значительной степени расшатанным. Разложение полиции дошло до того, что она сама забастовала. К этому надо прибавить, что в связи с всеобщей почтово-телеграфной и железнодорожной забастовкой с 15 ноября началась в городе всеобщая забастовка и что войска, оставшиеся в городе, были настолько ненадежны, что не только

почти открыто заявляли, что не будут стрелять в рабочих, но сами готовились к вооруженным действиям против правительства.

БАНКЕТНОЕ ДЕЙСТВО.

В то время когда среди рабочих, крестьян, солдат в такой степени нарастало революционное настроение, меньшевики все-таки наперекор всему пытались втиснуть движение в те рамки, которые указали за границей П. Аксельрод и Мартов. В то время когда на словах они готовились к вооруженному восстанию, на деле они пытались превратить русский рабочий класс в хвост либеральной буржуазии. В этом особенно ярко сказалась их изменническая и оппортунистическая роль во время революции 1905 г.

Меньшевики 18 ноября, воспользовавшись фирмой Федеративного совета, пытались провести один из актов банкетной кампании для подталкивания буржуазии. 18 ноября вечером совершенно открыто было созвано торжественное совещание харьковской городской думы „совместно с революционными организациями". Со стороны меньшевиков выступал Биск, один рабочий с паровозного завода, говоривший, что в распоряжении Федеративного совета имеются „рабочие корпорации", готовые всегда поддержать революционные действия городской думы Харькова, поскольку последняя будет переизбрана на основании всеобщего, равного, тайного голосования. Пожелания эти были высказаны по рецепту П. Б. Аксельрода очень робко, наверно, чтобы не испугать буржуазию.

Еще более жалкий характер носило выступление от почтово-телеграфных служащих тов. Бацаева. Обладая прекрасным ораторским талантом, этот представитель почтово-телеграфного пролетариата дошел до того, что рисовал просительно, в слезливых тонах, положение „белых рабов" и не гордо требовал, а униженно просил городскую думу обратить внимание на тяжелое положение почтово-телеграфных служащих и, с одной стороны, походатайствовать за них перед правительством, а с другой, — ассигновать известную сумму денег на помощь стачечникам. В общем это его выступление носило не характер революционного выступления пролетария, предъявляющего буржуазии те или иные требования, а характер просьбы чиновника, просящего у начальства прибавки жалованья.

Хотя харьковская городская дума и ассигновала известную сумму денег в пользу забастовщиков почт и телеграфа, но получить эти деньги им все равно не удалось, ибо харьковский генерал-губернатор опротестовал это постановление.

ВОЕННАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ.

Настроение рабочих в Харькове, бодрое и крепкое, настроение солдат, представитель которых на митинге на ХПЗ заявил, что солдаты в рабочих стрелять не будут, которое выявилось в том,

что солдаты Богодуховского полка вышли без офицеров, „самовольно“, с музыкой, совершили прогулку по городу, освободили политических заключенных в полку и пытались даже присоединить к себе в городе другие воинские части, затем настроение новобранцев, отказывавшихся 16 ноября от присяги, — все это говорило за то, что надо было действовать не по-меньшевистски, а по-большевистски.

Что касается меньшевиков, то они проявляли себя, с одной стороны, очень неконспиративно, а с другой — с явным желанием, которое особенно ярко вылилось у рабочего-меньшевика Бибика [1], сорвать готовившуюся военную демонстрацию.

Большевики во главе с тов. Авиловым пытались довести это выступление солдат до логического конца, т. е. до вооруженного восстания, к которому, собственно, и толкал характер выступления. Если большевики в лице тов. Авилова полагали использовать момент для вооруженного восстания, то самый левый из меньшевиков тов. Ангарский формулировал свой образ действий словами: „не форсировать событий“. Последнее исключало тот метод, который предлагали К. Маркс и тов. Ленин по отношению к восстанию, т. е. „решительное и смелое наступление на правительство к захвату власти в городе“.

Утром 23 ноября я был послан на Холодную Гору на явку железнодорожного района с поручением жел.-дор. мастерским немедленно забастовать и выйти на улицу. В квартире на явке на кушетке лежал дежуривший рабочий-меньшевик, вышеупомянутый Бибик.

— Не нравится мне это предполагаемое выступление с войсками, — говорил он, выходя со мной с явки. — Устали уж рабочие от забастовок. Нет уже в их среде того энтузиазма, какой был еще недавно.

Мы вышли на улицу. Вдали, закрытые туманной дымкой, за Заиковкой, Москалевкой, Петинским районом виднелись очертания заводов. Я увидел толпу женщин, так же, как и мы, внимательно смотревших в ту же сторону. Вдруг оттуда, издалека раздался звук заводского гудка. Тотчас в толпе женщин началось движение. Они стали громко кричать и кого-то ругать.

— Слышите, что делают эти проклятые паровозники? Опять забастовка. Что мы будем делать? И так изголодались, сидели столько времени на одном хлебе. Слышите, кума Агафьюшка, как ревет этот паровозный гудок? Чтобы их разорвало, этих паровозников! Хоть бы полиция их переарестовала. Хоть бы их на позиции отправили.

— Видели, — говорил мне Бибик, — как реагирует на забастовку эта бабья оппозиция? Если все бабы набросятся сегодня на своих

---

[1] Ныне писатель-беллетрист, написавший ряд романов из рабочей жизни.

мужей, как эти, забастовка, можно вперед сказать, будет сорвана. Вот вам одно из доказательств, с каким энтузиазмом рабочие идут на забастовки. Ох, не нравится мне это дело!..

Воронье карканье Бибика, что забастовка будет сорвана, не оправдалось. Несмотря на пассивное или прямо враждебное отношение к забастовке и демонстрации вместе с солдатами меньшевиков и оппозицию со стороны жен, которая замечалась в это время во многих рабочих семьях, рабочие в этот день проявили огромную революционную отвагу. Они вышли навстречу смертельной опасности, которая им, как и всем участникам этой демонстрации, несомненно, угрожала. Работы на заводах, как доносил властям начальник жандармского управления, были всюду прекращены, как только послышались тревожные гудки. Рабочие с восторгом и в полном порядке встречали восставших революционных солдат.

Как выяснилось, меньшевики своей болтовней и неконспиративностью успели и на этот раз испортить все дело военной демонстрации. Власти, предупрежденные шпионами, во-время приняли свои меры. Караулы в ротах были сменены и назначены не из тех солдат, на которых можно было нам вполне рассчитывать. Ночью накануне восстания в казармы пришли дежурить в полном вооружении сами офицеры и командиры рот. Ключи от цепей, которыми запирались на ночь винтовки, были отобраны от дежурных по ротам солдат. Поставленные у ворот казарм усиленные патрули получили приказ никого не впускать и не выпускать из казарм, кроме офицеров. Все эти меры привели к тому, что военному начальству удалось удержать в казарме большую часть солдат, на которых революционеры могли рассчитывать. Заблаговременно принятыми мерами были также парализованы попытки унтер-офицеров Анисимова и Шполашвили открыть склады оружия и патронов и вооружить ими рабочих, что было бы особенно важно для успешного исхода вооруженного восстания.

Если у большевиков подготовка к выступлению была обставлена настолько конспиративно, что даже члены комитета не все были посвящены в подробности выступления, то у меньшевиков все подробности готовящейся военной демонстрации настолько не скрывались, что проведены были даже на общегородской меньшевистской конференции. Вследствие всего этого о готовящемся выступлении рабочих и солдат у меньшевиков знали все, кому это даже не было нужно. Как и в Одессе, они для использования выступления солдат создавали говорильню, а не военный центр, не штаб восстания, почему движение не могло превратиться в вооруженное восстание и почему оно вылилось лишь в военную демонстрацию. Генерал Нечаев, выступивший на этот раз против „бунтовщиков", доказал на собственном примере, насколько был разложен аппарат правительства в эти дни и насколько осуществимо было в умелых руках вооруженное восстание. Выставив свои пулеметы

сначала на Харьковском мосту, узнав затем, что восставшие солдаты и рабочие пошли через Заиковку в обход, чтобы таким образом выйти на Екатеринославскую улицу, он перенес пулеметы на Павловскую площадь. При этом генерал Нечаев, со своей стороны, допустил огромную ошибку. Он дал возможность взбунтовавшимся солдатам и пришедшим с ними многочисленным рабочим не только подойти вплотную к не затронутым еще пропагандой частям Охотского пехотного полка и пулеметной при нем роте, которые только что прибыли в Харьков, но и еще больше — окружить эти не разложенные еще части с трех сторон. Это было как раз самое опасное для старого порядка. Нечто подобное произошло с эскадрой адмиралов Вишневецкого и Кригера, когда они подошли вплотную к восставшему броненосцу „Потемкин"; это имело место теперь и на Павловской площади 23 ноября. Приобревшие большой навык в агитации, рабочие не зевали и тотчас начали убеждать солдат ген. Нечаева не стрелять. Ничто так не разлагает солдат, присланных усмирять бунтовщиков, как вид восставших за справедливые революционные требования рабочих. Вид солдат, их братьев, находившихся в рядах забастовщиков-рабочих, наверно, действовал на солдат Охотского полка не менее убедительно, чем самые зажигательные речи, которые произносили перед солдатами рабочие. Допустивший первую ошибку, ген. Нечаев допустил и вторую: он начал переговоры с возмутившимися солдатами. Чем более говорил растерявшийся генерал, тем сильнее начинало чувствоваться разложение среди его собственных солдат. В конце концов, после двух часов переговоров, взяв с революционных солдат честное слово, что они пойдут по домам, в казармы, он отдал Охотскому полку приказ пропустить „взбунтовавшихся солдат и рабочих". „Картина была подавляющая, — говорит по этому поводу в своем донесении жандарм, — и торжество революционеров неописуемое".

Я, расставшись с тов. Бибиком, спустившись вниз по Екатеринославской улице, успел на ней присоединиться к революционному шествию и вместе с колонной рабочих и солдат очутился на Павловской площади. Но на этот раз мы были свидетелями, как смертоносные пулеметы во время революции перестают быть опорой старой власти; мы слышали, как громко, радостно кричала на улицах многочисленная толпа „ура", видя солдат, выступивших вместе с рабочими и с красным знаменем революции. Всю дорогу рос этот энтузиазм толпы при виде революционных солдат. У Харьковского моста, на Скобелевской площади, наконец, на Конной площади устраивались митинги. Солдаты подымали на своих плечах ораторов. После короткой речи последних толпа неизменно кричала: „Долой самодержавие! Ура! Да здравствует свобода!"

Я помню недоумение, затем вопрос, которые отразились на лице проезжавшего через Конную площадь уральского казака, уви-

давшего солдат, ставших на сторону народа. Он так привык рассматривать солдат, как опору правительства, царя, помещиков и капиталистов, и вдруг, перед его глазами дрогнула опора власти богатых.

ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ В ХАРЬКОВЕ.

Революция была в полном разгаре во второй половине ноября и начале декабря. Большевики продолжали усиленно готовиться к возможному еще вооруженному восстанию. Меньшевики, чтобы не потерять своего влияния на своих передовых рабочих, не только не отставали от большевиков в количестве боевых дружин, но часто перегоняли последних. Пробуждение классового сознания в харьковском пролетариате сказалось, между прочим, в создании новых и укреплении старых профсоюзов. Старое „Общество взаимопомощи", охватывавшее рабочих крупного производства, преобразовывается в „Профессиональный союз рабочих механического производства". Кроме союза сапожников, который я организовал вместе с сапожником из Твери, возникают, как грибы после дождя, профсоюзы мелкого производства: союзы портных, булочников, типографских рабочих, официантов или ресторанной прислуги, союз домашней прислуги, союз интеллигентных профессий. Среди новых союзов среднего производства надо отнести союз рабочих табачных фабрик.

К сожалению, я не помню ни одного профсоюза, кроме вышеупомянутого союза сапожников, который бы шел за большевиками. Профсоюзы крупного производства были целиком под влиянием меньшевиков. Надо сознаться, что инициатива по созданию и укреплению профсоюзов принадлежала в Харькове не нам, а меньшевикам. Вообще организационно большевикам в Харькове не удалось в 1905 г. укрепиться. Кроме недооценки необходимости укреплять организационно свое влияние на рабочих, в особенности на крупных заводах, очень тяжело отразилось на организационной стороне дела слишком прямолинейно проводимая тов. Артемом, при выходе из подполья на открытую арену, ломка старого подпольного аппарата партии. Слова Артема, как прекрасного митингового оратора, мерявшего партийную работу и возможность участия в ней на свой аршин и говорившего: „для чего теперь кружки и маленькие собрания, когда на деле уже получилась возможность выступать не перед десятками и не перед сотнями, а перед тысячами и перед десятками тысяч рабочих?" — отражались в уме многих организаторов кружков, районов, рабочих-централистов, групповиков и руководителей кружков пропагандистов в нежелательную сторону. Казалось, что теперь, когда на первый план выступили митинговые ораторы, газетные работники и литераторы, им, работникам мелкого и среднего масштаба, уже делать нечего и что их роль в партии тускнеет, сходит на-нет. Страшно жаждавшие выхода

из подполья на широкую открытую арену, когда этот желанный день наконец наступил, к ужасу своему вдруг почувствовали, что они почти не нужны для революции: они не только не были использованы на организационном укреплении нашего идейного влияния на рабочих, на создании и укреплении организаций нашей партии, но и по работе по линии профсоюзов. Выходило так, что то несомненное влияние, которое имела простая и в то же время задушевно увлекательная речь тов. Артема на рабочих крупных заводов, как ХПЗ и Гельферих-Саде, направленная против меньшевиков, использовалось вследствие отсутствия у нас сильных организаций на этих заводах этими самыми меньшевиками в свою пользу. На крупных заводах, где работал тов. Артем, в смысле организационном, у нас на деле было почти пустое место. Поэтому, когда возникал вопрос о подготовке вооруженных выступлений, большевики принуждены были выступать по необходимости совместно с меньшевиками. Последние, шедшие на вооруженное восстание неохотно, относившиеся к нему с явным недоверием, вели себя так, как будто дело шло о простой стачке или демонстрации. Неконспиративность и болтливость их приводила к тому, что правительству становились известны все приготовления к восстанию заранее, и оно принимало свои меры. Все это имело место в ноябре и повторилось и в декабре, когда большевики, чтобы поддержать московское вооруженное восстание, вели серьезные приготовления к нему в Харькове.

Положение самодержавного правительства становилось в Харькове все более нестерпимым. Введенное с 14 октября военное положение существовало лишь в центре города, в буржуазных кварталах. Рабочие предместья города его уже почти не признавали. Митинги под открытым небом, митинги на дворах заводов, демонстрации, формирование боевых дружин, присутствие на митингах на ХПЗ и на Гельферих-Саде все большего числа солдат, революционная партийная работа в казармах, разлагавшая присылаемые в Харьков воинские части, — все это имело место, несмотря на суровые запрещения со стороны властей.

Между тем самодержавное правительство начинало уже в ноябре оправляться от паники, охватившей его в октябре, и переходить в наступление на революцию. В ноябре арестовывается председатель Совета рабочих депутатов в Питере. В декабре, 3-го числа, арестовывается весь Совет рабочих депутатов. Одновременно правительство начинает наступать на революцию и в Харькове. Запрещаются митинги под открытым небом и закрываются газеты „Харьковский Листок“ и „Мир“. Одновременно усиленно разыскиваются „Федеративный совет“ и „Комитет борьбы“. В ночь на 10 декабря производятся массовые аресты. Арестовано было более 30 чел. Проявив таким образом попытку арестовать верхушку организации, военные власти задумывают захват боевых дружин.

Хорошо зная, что революционеры готовятся в ближайшие дни к вооруженному восстанию, военные власти при соблюдении всех предосторожностей поручают капитану генерального штаба разработать план захвата завода Гельферих-Саде, где, как было известно правительству, сосредоточены были боевые дружины, куда последние приводили даже своих арестованных, где была попытка установления революционного суда. Действуя в противоположность нашим меньшевикам со всеми предосторожностями, не сообщая даже обычной диспозиции по войскам, проводя все подготовления к захвату боевых дружин в строгой тайне и в высшей мере конспиративно, царское военное начальство стягивает к утру 12 декабря верные ему части в казармы Богодуховского полка, расположенные недалеко от этого завода. Хотя революционным центром оставался попрежнему ХПЗ, но военным властям выгоднее было напасть на завод Гельферих-Саде, служивший базой для боевых дружин. Так готовилось правительство подавить вооруженное восстание. Как же готовились революционеры провести его?

Время было неспокойное, чреватое последствиями. Положение в стране оставалось революционным. Попытки в Харькове укрепить и расширить образовавшийся профсоюз железнодорожников наталкиваются на решительное сопротивление местной администрации и на запрещение центральной власти. Атмосфера сгущается и грозит вылиться ежеминутно в забастовку. Назревали также всероссийская жел.-дор. забастовка и московское вооруженное восстание. Вообще атмосфера была в эти дни насыщена восстанием. В городе шла агитация за бойкот бумажных денег, к которому так же, как и к требованию получения вкладов обратно из сберегательных касс, призывал в это время манифест Питерского Совета рабочих депутатов.

9 декабря, под влиянием слухов о событиях в Москве, начинается в Харькове железнодорожная забастовка. Большевики находя, что откладывать дело восстания дальше нет возможности, настаивают в Федеративном совете на немедленном вооруженном восстании. Меньшевики по своему обыкновению выступают против восстания и добиваются того, что восстание опять откладывается до более точного выяснения настроения частей. Болтовня меньшевиков делает свое обычное разрушительное, вредное дело, а наличие провокатора в меньшевистском комитете приводит к тому, что военные власти, осведомленные о готовящемся вооруженном восстании, принимают заблаговременно все меры, чтобы раздавить его. Наконец, после долгих споров и колебаний со стороны меньшевиков, вооруженное восстание назначается на 12 декабря.

Что касается большевиков, то последние, со своей стороны, действовали опять в высшей степени конспиративно. Даже не все члены большевистского комитета были посвящены не только в детали, но и в то, что именно 12 декабря им предстоит участие в

восстании. Даже т. Алексей (Иванов), интендант боевых дружин, член боевого штаба, с большим трудом был пропущен на ночное совещание накануне вооруженного восстания в подвале Психиатрической больницы (на Сабуровой даче), где с делегатами от солдат местных полков: Старобельского, Лебединского, Богодуховского, Тамбовского, Луцкого — вырабатывался план вооруженного восстания. Конспиративность большевиков являлась полной противоположностью обычной болтовне меньшевиков, шедших на восстание с неохотой, без веры в него, ибо, по их мнению, не было налицо так называемой „бестиражности" восстания, не было данных, которые сулили бы безусловный и полный успех его.

В план восстания входили захват вокзалов, вооружение рабочих оружием из арсенала, с которым имелись на этот раз прочные связи, захват университета. Базой восстания должен был служить завод Гельферих-Саде. На рассвете 12 декабря 1905 г. воинские части Харькова должны были восстать. Предполагалось, что рабочие дружины захватят арсенал и вооружатся оружием из арсенала. Все предвещало успех начинанию. Но болтливость меньшевиков и провокаторы среди революционных солдат опять провалили все. Ночью уже стало известно товарищам Авилову и Артему, что неконспиративность меньшевиков и провокация среди солдат опять погубили все дело восстания, что рухнуло все, что надежд на восстание войск не остается никаких. Прибежавшие к товарищам Авилову и Артему солдаты сказали, что они уже не могут восстать, ибо в казармы, где должно было начаться восстание, и на этот раз еще с вечера пришли вооруженные офицеры, отнявшие ключи от запертых на цепь винтовок и поставившие у дверей казарм надежный караул.

Между тем восстание, если бы не провокация и не принятые военным начальством меры, если бы оно произошло, если бы был захвачен город при одновременном восстании, которое и произошло на узловых станциях, как ст. Люботин, где даже была установлена в это время, под руководством известного студента Кирсты, знаменитая Люботинская республика, имело, несомненно, все шансы на успех.

Душой вооруженного восстания, упорным сторонником его в Харькове был Б. В. Авилов. Он жил в это время одной мыслью, одной мечтой вызвать его во что бы то ни стало и довести до конца. Им было передано т. Мечниковой заготовленное им на случай благополучного исхода восстания воззвание к населению от имени временного правительства, которое должно было, в свою очередь, созвать учредительное собрание.

На случай благоприятного исхода восстания был намечен и начальник гарнизона — один из прапорщиков запаса. Был приготовлен и соответствующий военный костюм. Желанием восстать, стремлением низвергнуть, наконец, ненавистное самодержавие и го-

товностью пожертвовать своей жизнью в битвах на баррикадах горели почти все без исключения члены большевистской организации и лучшие рабочие-меньшевики и эсеры. Рабочие Кожемякин, Гринченко, Сашка и Мишка Садевские и многие другие, фамилии которых я позабыл, проявили примеры высшей преданности интересам революции по подготовке восстания и во время его. Вооруженное восстание становилось популярным даже среди рабочих-сапожников. Закрывая обычное собрание профсоюза сапожников, имевшее место в начале декабря, я спросил их, готовы ли они будут откликнуться на призыв, который будет дан гудками на заводах, явиться на тот сборный пункт, который будет указан, чтобы с оружием в руках пойти против правительства. Я получил ответ, что они явятся все туда, куда позовет их наша партия. Вследствие таких призывов ожидание восстания становилось общим, но никто почти не знал, когда оно будет назначено, когда, наконец, оно вспыхнет, как общий пожар, в котором сгорит все старое, изжившее себя. Несомненно в подготовке вооруженного восстания проявлены были и свои промахи. Так выбор завода Гельферих-Саде, как центра базы восстания, был явно неудачен. В числе других членов комитета, не посвященных в подробности восстания, находился и я.

После перехода из подполья на открытую арену, со времени объявления свобод 17 октября и слишком крутой ломки старого подпольного аппарата партии, как и многие подпольщики, я в это время чувствовал себя до известной степени на положении рыбы, выброшенной на берег. Я переживал довольно тяжелую душевную драму. Я страшно жаждал дней свободы. Когда, наконец, она и в том урезанном виде наступила, я вдруг почувствовал себя менее нужным революции, чем прежде. Все мне говорило, что активная роль революционера, которую я мог играть в подполье, отныне сменяется более пассивной ролью при наступавшей свободе. Я стал тяготиться положением безработного подпольщика, которое все более рисовалось мне впереди. Сознание, что я менее нужен для революции и что я в то же время продолжаю жить на средства партии, начало все более угнетать меня. Я пришел к решению, что мне снова необходимо уйти в рабочую среду, приняться работать на заводе у станка.

Товарищ Александр [1] начал уже работать на заводе и описывал мне радужными красками то удовлетворение, которое он получал от постоянного общения с рабочими в условиях революционного времени.

„Как древний Антей становился снова сильным и крепким, как только ноги его касались земли, его породившей, — думал я, — и я снова обрету прежнюю силу, крепость и веру в себя, когда снова сольюсь с рабочей средой, из которой я вышел".

[1] Фамилия забыта.

„Работу рядового члена партии, которую я теперь, при изменившихся условиях, буду вести, — думал я, — я свободно смогу совместить с работой у станка на заводе".

Укрепившись в этой мысли, я стал искать работу в Харькове. Не найдя ее в этом городе, где я, очевидно, примелькался полиции, я решил попытать счастья в г. Сумах, где на машиностроительном заводе Бельгийского общества служил инженером тов. Названов из петербургского кружка тов. Ленина 90-х годов. Но уехать в Сумы я не мог из-за забастовки на железной дороге, начавшейся с 9 декабря. Я продолжал попрежнему вести партийную работу в Харькове в большевистском комитете и 12 декабря пришел на партийную явку, помещавшуюся в студенческой столовой.

— А, кстати пришли, тов. Наум, — сказал мне тов. Сальников. — Вот нужно на завод Гельферих-Саде бомбы отнести. Беретесь вы это сейчас же сделать?

— С удовольствием, — ответил я.

Поручение отнюдь не удивило меня. Партия готовилась к вооруженному восстанию. На складе, находившемся в ведении тов. Лизы Большой, хранились прибывшие браунинги, пачки патронов всевозможных калибров и динамит. Боевые дружины вооружились, чем могли. Недостаток хорошего оружия, которое трудно было достать, можно было заменить бомбами. Рабочие вооружались просто пиками, приготовлявшимися из газовых труб. Поэтому я не усмотрел ничего особенного в том, что мне предложили перенести на себе бомбы. Меня лишь удивляло сравнительно большое их количество. Я был одет в зимнее пальто с воротником из поддельного барашка. Особенность пальто заключалась в очень больших карманах, приспособленных для переноски прокламаций, и которые товарищи, ввиду их способности вмещать в себе очень большое количество нелегальной литературы, называли в шутку „поповскими". Бомбы, отлитые из чугуна на заводах нашими товарищами, имели круглую форму и были небольших размеров, величиной не больше хорошего мужского кулака; взрывались при помощи фитиля. Нагрузив ими оба свои кармана, завязав их еще в большой платок, отчего получился еще довольно больших размеров узел, превратившись сам таким образом в своего рода пороховой погреб, я спросил:

— Дайте инструкцию, как пользоваться этими бомбами.

— Метальщик этих снарядов, — ответили мне, — должен обязательно во время боя держать во рту зажженную папироску. Получив сигнал бросить бомбу, метальщик снаряда, соблюдая полное хладнокровие, быстрым движением подносит снаряд к дымящейся во рту папироске и тотчас, не медля ни секунды, бросает бомбу в врага. Бомбы уже испытаны во время пробных метаний их на поле и взрываются не позднее как через шесть секунд после того, как зажжен фитиль. Поэтому после зажжения их необходимо

немедленно бросить далеко от себя, иначе бомба взорвется в руке.

Нагруженный бомбами, неся их не менее как 40 или 50 штук, я шел осторожно, чтобы не споткнуться на скользких тротуарах. Бедность нашей партии денежными средствами была так велика, что никто не предложил мне денег на извозчика. Меня очень соблазняло нанять последнего, но езда на извозчиках представляла роскошь, почти недоступную при том скудном бюджете, какой был в распоряжении рабочего-революционера. Так как на Конную площадь, куда нужно мне было поехать, извозчик взял бы не менее полтинника, я отбросил всякую мысль о нем и, дойдя до Московской ул., поднялся на площадку вагона ходившей тогда конки.

Стояла уже давно зима. Снежным покровом была покрыта земля. Снег продолжал падать. Кучер подхлестывал пару лошадей, черепашьим шагом тащивших вагон конки. Я смотрел, как падают снежинки, подобные множеству летящих белых мух, и старался придать себе невинный вид, чтобы никто, особенно вошедший в вагон конки жандарм, не мог догадаться об опасных круглых штучках, которые наполняли мои огромные карманы и которые я держал бережно в узле. Избегая толчков от входивших и выходивших пассажиров, я стоял на передней площадке, крепко прижавшись к стенке вагона, придавая себе таким образом большую устойчивость.

Выйдя на Конной площади, я поспешил к заводу Гельферих-Саде. Было часов 11 утра. На огромной пустынной площади не видно было никого, кроме одиноких пешеходов, пересекавших ее во всех направлениях. Я вошел в завод. Пройдя в ворота под складом сельскохозяйственных машин, я вышел на обширный двор и повернул направо, в помещение столовой для рабочих завода. Столовая, как и двор завода, была наполнена с одной стороны товарищами боевиками, а с другой — людьми, просто пришедшими сюда послушать, что будут говорить ораторы на обычных во время забастовок митингах. В общем вместе с дружинниками, которых было человек 200—300, народу на дворе завода собралось не менее 700—800 человек.

Войдя в столовую, найдя там коменданта Николая и интенданта Алексея, я сдал им принесенные мной бомбы.

— Ай да Наум! — слышал я удивленные возгласы. — Сколько он приволок на себе бомб! Как же это вы ухитрились донести их? Что вы их на ломовике привезли?

— А что, если бы они дорогой взорвались, — шутили другие, — что было бы с вами? Вы бы взорвались, как целый пороховой погреб. Что бы сказала тогда Лиза Большая?

Слушая эти разговоры и шутки товарищей, я вдруг вспомнил, что я забыл дома мой браунинг. Решив вернуться за ним, я повернулся было к двери и сделал уже один шаг по направлению

к выходу, как вдруг путь мне преградил вбежавший и запыхавшийся дружинник.

— Солдаты и казаки, — заявил он, — выросли, как из-под земли, и уже окружают завод.

Спокойно и внимательно выслушали это известие товарищи Артем, Авилов и комендант Николай. Только на бледножелтом худощавом лице Авилова, выражавшем по обыкновению железную настойчивость и решимость, что-то дрогнуло.

Потому ли, что всем, особенно коменданту Николаю, понравилось, что я так хорошо исполнил ответственное поручение и не побоялся принести на себе такое большое количество бомб, я почувствовал, что я тотчас поднялся в глазах всех дружинников и в особенности в глазах самого коменданта Николая. Вероятно, вследствие этого он и тов. Авилов предложили мне войти в комиссию по переговорам с полковником, осадивших завод войск, в которую вошли, насколько я помню, Николай, Димка и я.

По внешности повторялось то, что мы переживали на баррикадах. Только тогда мы стояли недалеко от сооруженных восставшим народом баррикад, а теперь через притворенные ворота завода выглядывала высокая фигура полковника царских войск и виднелась далеко на площади серая линия солдат. Комендант — Николай — как артиллерийский прапорщик запаса, обладавший военной выправкой, при встрече с ним, по обычаю военных, как и полковник, взял под козырек.

— Предупреждаю, — начал полковник, — что я не имею никаких полномочий вступать с вами в переговоры. У меня в кармане приказ взять немедленно завод и арестовать всех вас, как мятежников. Если я вступлю с вами в переговоры, то лишь по собственной инициативе, не имея даже на это никакого права, лишь из чувства человеколюбия. Мне хорошо известно, что в числе мятежников на заводе очень много женщин, даже детей и вообще посторонней публики, пришедшей просто на митинг. Так вот, не желая напрасного кровопролития и имея вышеупомянутый приказ в кармане, я предлагаю вам немедленно сдаться. Всякое сопротивление с вашей стороны обречено заранее на неуспех, ибо в моем распоряжении превосходные силы, в том числе пулеметы и артиллерия. Предупреждаю также, что я, в случае сопротивления с вашей стороны, принужден буду начать бомбардировку завода. Вот мои условия. Даю вам десять минут на размышление. Если по истечении их не будет выкинут белый флаг, как знак того, что вы сдаетесь, я немедленно начинаю бомбардировку. Также советую не забывать, что наказание для вас будет совершенно иное, если вы сдадитесь немедленно. После открытия вами враждебных действий оно будет много строже...

— Я, со своей стороны, не уполномочен, — ответил комендант, — ответить вам сейчас же на ваши условия. Мы должны все это

обсудить, прежде чем притти к какому-нибудь решению. Я, со своей стороны, просил бы вас удлинить нам срок, дать вместо 10 минут на обсуждение вопроса, по крайней мере, полчаса. Затем, поскольку вы ставите нам условия сдачи, может, вы согласитесь, чтобы мы сдались на тех же условиях, что и при сдаче баррикад, т. е. на тех же „почетных условиях".

— Ни в каком случае, — возразил полковник. — Не может быть и речи об этих „почетных условиях". Вот мои последние слова. Посмотрите на часы; если через десять минут вы не выкинете белого флага в знак безусловной сдачи, я немедленно по истечении этого срока начинаю бомбардировку завода.

Так же отдав друг другу под козырек, мы расстались. Полковник пошел через площадь по направлению к видневшимся вдали войскам. Тотчас захлопнулись и были заперты за ним тяжелые заводские ворота. Мы, сознавая, что в нашем распоряжении осталось слишком мало времени, бегом отправились обратно в столовку, лучше, чем другие помещения завода, защищенную от выстрелов.

— Наум, — сказал мне после краткого совещания в столовке с тов. Авиловым комендант, — мы решили следующее. Вы принесли сюда бомбы. Они как раз теперь очень кстати. Придется вам взять на себя и начальствование над отрядом бомбистов. Сама революционная судьба готовила вам эту участь. Немедленно поднимитесь на верхний этаж и займите там у окон, выходящих на площадь, над входом в завод стратегические позиции. Вам придется быть на самом опасном и ответственном посту. Помните, метальщики должны бросать бомбы лишь по вашему сигналу, в тот лишь момент, когда солдаты пойдут в атаку на завод, но никак не раньше. Вы должны выждать время, должны сохранить хладнокровие и бросить разрывные снаряды лишь тогда, когда они будут попадать наверняка в цель. Идите, тов. Наум, со своими бомбистами, занимайте места. Как только получите от нас известие, что мы решили принять бой, что будет наверное, тотчас отдайте приказ выбить стекла в окнах, чтобы образовать бойницы, через которые вы будете бросать в солдат бомбы.

Все это было сказано очень быстро. В столовке между тем уже началось обсуждение вопроса, дать ли бой или сдаться, как предлагал полковник. Меньшевики опять высказались за немедленную сдачу. Большевики, наоборот, настаивали на принятии боя. Я был уверен, что большинство боевиков выскажется против сдачи. За истекшие два месяца число рабочих — членов боевых групп — значительно возросло. Хотя дружины меньшевиков состояли на 60—70% из интеллигентов, хотя процент последних был также высок и в большевистских дружинах, но постоянные военные упражнения, непрерывное ожидание вооруженного восстания укрепили боевой дух даже среди интеллигентов-меньшевиков. Присутствие в последних большей частью буржуазных сынков заста-

вило военное начальство сделаться, как говорил полковник, таким „человеколюбивым".

Уходя из столовки, я оглянулся, ища глазами тов. Артема. Я хорошо сознавал, что значит командовать отрядом бомбистов на самом опасном передовом посту. Я понимал, что иду на смерть, и мне захотелось в последний раз пожать руку тов. Артему, которого я уважал, как истинного революционера, соединявшего в себе черты интеллигента-марксиста с лучшими чертами революционера-народника эпохи 70-х годов прошлого столетия. Но Артема уже не было среди присутствующих. Он, очевидно, уже успел, по указанию штаба боевых дружин, находившегося в данный момент на заводе Гельферих-Саде, пробраться через какую-нибудь боковую калитку незаметно от солдат к рабочим паровозного завода, чтобы двинуться с последними к нам на помощь. Пожав руку вождю вооруженного восстания, тов. Авилову Борису Васильевичу, я вышел из помещения столовки. На дворе завода комендант Николай давал последние распоряжения перед боем. Он отдал приказ немедленно очистить двор, где оставил лишь членов боевых дружин. Пришедшим на митинг он указал на мастерские завода, где можно было спрятаться от пуль и снарядов на случай обстрела завода со стороны войск. Я, со своей стороны, увидев переносную лестницу, отдал приказ, чтобы ее приставили к окну второго этажа здания. Это я сделал на тот случай, если бы единственная лестница, по которой я поднимался на второй верхний этаж, была разрушена первым снарядом. А нам нужно было держать связь с боевыми дружинами, оставшимися внизу. Помещение верхнего этажа, куда я поднялся, представляло собой склад земледельческих машин, которые изготовлял завод. Отодвинув молотилки, сеялки и тому подобные машины в сторону от окна, оставив свободный проход к лестницам, бойцы заняли места в простенках окон. У каждого из них карманы были полны разрывных снарядов. У каждого из них дымилась во рту папироска. Каждый наготове уже держал по бомбе в руке. Чтобы лучше наблюдать, видеть, когда, наконец, солдаты пойдут в атаку против нас, я занял простенок окна на самой середине помещения, как раз над воротами, через которые, по нашим расчетам, должны были устремиться против нас солдаты. Это был самый лучший стратегический пункт, но в то же время, как потом оказалось, самый опасный. Метальщики бомб были все товарищи, мне мало знакомые, которых я редко встречал. Некоторых я видел здесь в первый раз. В ближайшем около меня простенке стоял также с бомбой в руках, как мне показалось, мальчик лет 16, с очень тонкими чертами лица. Всмотревшись ближе, я заметил, что это была девушка, переодевшаяся, чтобы принимать участие в боевых действиях, в мужское платье. Это была интеллигентка, как она мне сказала, сестра Бориса.

— Товарищ Наум, — сказала она мне, — смотрите, против нас

ставят артиллерию. — Взглянув через окно, я увидел в самом конце обширной Конной площади, саженях в 250—300 от завода, серую линию солдат. Ближе к нам артиллеристы верхом на лошадях быстро подъезжали, делали поворот, распрягали лошадей и устанавливали два орудия. Все приготовления делались с лихорадочной быстротой. Видно было, как они наводили жерла пушек на завод. На миг прибежал к нам комендант Николай. Он отдал последний приказ, как обращаться с бомбами.

— Только по команде Наума, — говорил он, — когда он крикнет или, если не будет от гула выстрелов ничего слышно, когда он вам махнет рукой, вы, товарищи, начнете бросать бомбы в самую гущу солдат, когда они появятся перед воротами. До того момента и без команды вы не должны этого делать.

Он спустился вниз. Тотчас поднялись по лестнице к нам дружинники-меньшевики. Они проходили мимо нас, странными, тревожными взглядами оглядывая помещения. Я тотчас узнал среди них студента-технолога Неверова, Золотарева и других.

Настоящий, неподдельный страх лежал на их лицах. Они искали спасения.

— Наум,—спросил меня один из них,—нет ли тут какого-нибудь выхода, чтобы спастись, выйти незаметно от солдат из завода?

— А что решили внизу, в столовке? — спросила стоявшая рядом со мной девушка.

— Большевики, а с ними и большинство дружинников решили дать сражение войскам. Мы, меньшевики, считаем это безумием и решили сдаться до принятия боя.

— Наум, смотрите, наши арестовали казака! — кричал мне один из товарищей, подошедший к окну, выходившему на двор завода. Наум, его освободили, выпустили, взяв слово не стрелять в рабочих.

— Наум, — раздался в этот момент крик товарища, посланного комендантом, — готовьтесь к бою! Решили дать сражение!

— Хорошо, товарищ, — ответил я, — мы готовы.

Вдруг мы увидели через окно, как группа меньшевиков выкинула в ворота завода белый флаг, как один за другим они начали выходить на белую от снега площадь. Отдельные группы меньшевиков между тем все еще продолжали подниматься к нам в склад завода над воротами. Они торопливо пробегали мимо нас, внимательно осматривая все углы, и задавали товарищам-бомбистам, то мне, то сестре Бориса, вопросы:

— Товарищи, скажите, нет ли отсюда, с вашего чердака какого-нибудь выхода?

Сестра Бориса, которой, очевидно, надоело им отвечать и которой стало противно видеть этих беглецов от революции, вдруг крикнула:

— Уйдите отсюда, презренные трусы! Разве вы не понимаете,

что здесь вам не место? Ведь сейчас начнется бомбардировка завода. Вы, бегающие здесь в испуге, будете пронзены пулями и осколками снарядов. Бегите скорее отсюда. Здесь остаются те, которые решили победить или умереть. Уходите, трусишки! Ваше место вон там, среди тех, которые сдаются, — и она указала рукой на меньшевиков, продолжавших выходить из завода и сдаваться царским офицерам.

Наконец, сдались последние меньшевики. Остальная масса публики, пришедшая на митинг и попрятавшаяся по углам завода, очевидно, ничего не знала о возможности сдаться вместе с меньшевиками и осталась в отдаленных углах завода.

Немедленно, как только я услышал, что решено дать бой, я крикнул бомбистам:

— Выбивай, товарищи, окна!

Тотчас послышался звон выбиваемых стекол. Молотами, ударами бревна мы в одну минуту образовали род бойниц, через которые можно было свободно бросать вниз бомбы.

Как только сдались последние меньшевики, полковник еще раз предложил оставшимся на заводе немедленно сдаться. Получив отказ, он отдавал последние распоряжения к осаде завода.

Все приготовления к бою были сделаны с обеих сторон. В восставшем заводе метальщики бомб стояли в простенках окон наготове со снарядами в руках. Во рту каждого дымилась папироска. Все они были наготове, чтобы зажечь фитиль и бросать вниз через бойницы бомбы в гущу солдат, когда последние пойдут на приступ. На площади также было видно, как пристав отводил в сторону сдавшихся меньшевиков. Последние чернели темной кучкой на белой скатерти снега, своего рода пятном на совести революционера. Наконец, раздалась последняя команда. По площади перед строем забегали офицеры, фельдфебели, унтер-офицеры, каждый занимал свое место. Наводчики двух орудий еще раз навели жерла пушек на нас и стали заряжать орудия.

— Наум, — сказала мне вдруг сестра Бориса, — ведь мы сейчас умрем. Я всю ночь не спала. Я начиняла эти бомбы. Смотрите, — и она показала мне свои руки, сплошь желтые от динамита, — я не успела отмыть их. Окончив набивку их, я тотчас прибежала сюда. Я с радостью умру на этом опасном посту.

Слушая ее, я сознавал, что и я пришел на верную гибель, что и меня ждет неизбежная смерть, и тотчас, как и в девяностые годы, радость ожидания смерти охватила меня. — Как прекрасна смерть! — говорил я себе. — Смерть за торжество революции!

Приятно было встретить такую самоотверженность со стороны девушки-интеллигентки. Я слушал ее и в то же время внимательно следил за тем, что делается внизу. Офицер, командовавший артиллеристами, что-то сказал, махнул рукой. Тотчас грянул выстрел, что-то ухнуло ударилось в стену, как раз в тот простенок, где я

стоял. Здание, как мне показалось, зашаталось. Силою удара снаряда, отдавшегося сквозь стену, меня отбросило от стены аршина на полтора. Тотчас раздался второй выстрел, третий, четвертый. Отбрасываемые ударами снарядов в сторону аршина на полтора-два, мы снова немедленно подскакивали к стене, чтобы через несколько секунд быть снова отброшенными от нее. С потолка сыпалась известка, воздух наполнился густой красной кирпичной пылью. Тряслась стена, шатался под нашими ногами пол. Ухали орудия. Одновременно слышался сухой треск пулеметов и винтовок, пули которых пронизывали насквозь деревянные остовы молотилок и других сельскохозяйственных машин и летели дальше на двор завода, пронизывая заборы, ящики, деревянные стены.

— Держитесь, товарищи,— крикнул я.— Держись крепче, не отбегай от простенков! Будьте готовы бросать снаряды!

Но мой голос заглох под гулом пушечных выстрелов. Никто из товарищей не слышал моего крика. Каждый из них, отброшенный ударом снаряда от простенка, снова подбегал и инстинктивно прижимался к нему, прячась от пуль, врывавшихся, как рой пчел, в бойницы и пронизывавших все, что встречалось на их пути.

Я с нетерпением ждал атаки и ждал смерти. У меня было какое-то особенное, повышенное настроение. Никогда, кажется, в жизни я не был так счастлив, как в эти минуты. Я только что женился, любил жену, я страстно любил жизнь, но в данные мгновения я, как жених невесту, ждал смерти. Я ждал ее, как наивысшего счастья. „Какая честь,— думал я,— какое счастье умереть здесь за рабочий класс, за революцию, за будущий социалистический строй!" Революция представлялась мне в эти мгновения в виде прекрасной женщины. Я уже видел, как я вместе с другими товарищами бросил через бойницу одну за другой бомбы в серые ряды солдат. Но мы не удержали их; они ворвались. Я бросаю последнюю бомбу и я умираю в блаженстве, с сознанием, что исполнил свой долг. Я падаю пронизанный пулями. Но успеваю перед смертью воскликнуть: „Да здравствует революция! Да здравствует социалистический строй! Долой самодержавие!"

Но что это? В промежуток, который военное командование оставляло, на миг приостанавливая стрельбу, очевидно ожидая, что мы выбросим белый флаг, я услышал сильные стоны и призывы о помощи уже задетых пулями и осколками снарядов раненых товарищей. Они корчились от боли, свалившись на пол. По моему знаку они выползли на животе к люку, ведшему вниз.

В эти минуты я вдруг почувствовал, что я рожден солдатом, что во мне загорается жажда битвы, потребность испытать опасности, что во мне нет никакой боязни смерти.

Но опять что же там? Я обратил невольно внимание на то, что серая стена солдат, как стояла в начале обстрела, так и стоит, не делая шагу в сторону завода и продолжая нас расстреливать.

„Так вот оно что, — решил я. — Военное начальство, царские офицеры поняли теперь ошибку, которую они допускали до сих пор. Военное начальство боится бросить против нас солдат. Оно до сих пор не уверено, что при близком соприкосновении с нами они не обратят винтовок против него самого. Оно, очевидно, предпочитает разрушить бомбардировкой завод, погрести нас под его развалинами, и только тогда, когда от боевых дружин останутся жалкие остатки, когда будут перебиты все, оно решится бросить против нас солдат".

Две пушки между тем продолжали бить в стены завода и преимущественно в центральный простенок, где продолжал стоять я.

Я не терял надежды, что полковник, командовавший войсками, бросит, наконец, против нас войска в атаку. Но военное начальство, понявшее теперь свои прежние ошибки, продолжало держаться против нас новой тактики. Избегая тесного соприкосновения солдат с нами, полковник посылал против нас снаряд за снарядом, осыпая нас в то же время непрерывным роем пуль из винтовок и пулеметов.

Наше положение, как стоявших на самом опасном месте, на которое наши враги обратили все свои разрушительные силы, все ухудшалось. Дрожали стены от ударов снарядов, колебался потолок над нами, шатался пол под нашими ногами. Все говорило, что через несколько минут наружная стена, которая еще защищала нас от выстрелов, рухнет и погребет нас под своими развалинами.

Правительство действовало наверняка. Осажденные на заводе предоставлены были только своей судьбе. Подмога, за которой, очевидно, ушел перед началом боя тов. Артем, была рассеяна недалеко от Конной площади казаками. Впереди всех храбро бежал на казаков рабочий-меньшевик с паровозного завода, Сигаев [1]. Он один из первых был ранен залпами, которые дали казаки по рабочим ХПЗ, спешившим на помощь осажденным на заводе Гельферих-Саде.

Я насчитал уже не менее 20 пушечных ударов. Войска попрежнему стояли вдали серой стеною, пушки ухали, раздавался сухой треск пулеметной и ружейной стрельбы. Пули попрежнему жужжали, пролетая мимо нас. Вдруг, после того как я оказался отброшенным особенно далеко ударом снаряда от простенка, у которого я стоял, послышался страшный треск, все закачалось, и значительная часть стены во всю вышину помещения рухнула вниз. В тот же момент приостановилась стрельба. В воцарившейся тишине из облака все застлавшей кругом пыли я услышал голоса:

— Товарищ Наум, держаться больше невозможно! Скоро рухнет вся стена!

---

[1] Сигаев позднее оказался провокатором.

— Подождите еще немного, товарищи, — ответил я. — Я узнаю решение штаба боевых дружин. Если придется занять другие позиции, я сейчас же сообщу.

С этими словами я спрыгнул вниз через противоположное окно и, очутившись на дворе, пробрался в столовку.

Внизу в столовке между тем происходило следующее. Ночь, проведенная без сна, сказалась на тов. Авилове. Когда войска так неожиданно вдруг окружили завод, он понял, что последняя надежда на восстание потеряна. Потеряна также надежда на успешный исход начавшейся на заводе Гельферих-Саде борьбы против войска. Особенно это ясно стало, когда все ухнуло в столовке от грома первого выстрела из орудий. Скоро воздух на дворе завода наполнился так же, как и в нашем чердаке, густой сухой красной кирпичной пылью. Каждый удар пушки отдавался в его сердце и как бы говорил: „Все потеряно; скоро придется сдаться, последуют глумления, издевательства врага. Сдаться, как сдались меньшевики, — нет, это невозможно!“

Стоявшие около него товарищи вдруг заметили, как неестественно изменилось его лицо. Его взгляд, как показалось тов. Алексею [1], стоявшему против него, устремлен туда, откуда не возвращаются. Его рука машинально, под влиянием сверлившей его мысли, вынимала из кармана револьвер, из которого уже когда-то застрелился его брат, взводила курок. Еще мгновение, и, как показалось тов. Алексею, он выстрелил бы себе в лоб.

— Что вы делаете, что с вами, Пал Палыч? — вскрикнул тов. Алексей, схватив его за руку и отнимая револьвер.

— Пал Палыч, что с вами? — вскричала одна девица, бросившись ему на шею и обвив ее руками.

Только тогда очнулся т. Авилов. Гордый, презиравший людей за их мелочность, за цепляние за жизнь, за мещанство, за трусость, он не мог допустить, чтобы другие заметили его слабые стороны. На его лицо легло опять выражение прежней решимости итти наперекор судьбе и выражение скептицизма, насмешливости и презрения.

— Оставьте меня, — сказал он, отстраняя от себя девицу. — Что там? — обратился он к коменданту. — Что с Наумом? Что делает его отряд со своими бомбами?

— Нельзя пробраться к ним туда. Пули пронизывают все по пути.

Но вдруг отворилась дверь, и я появился на пороге. Я заметил вопрос, который видкелся на лицах всех присутствующих.

— Есть ли какая надежда или все пропало? — спрашивали без слов выражения лиц и глаз всех присутствующих и в особенности тов. Авилова.

— Там, наверху, куда вы меня послали, мы держались до по-

[1] Сергей Петрович Иванов.

следней возможности, — говорил я, чувствуя себя как бы виноватым, что нам не удалось продержаться дольше, несмотря ни на что. — Все время тряслась стена от пушечных ударов, что-то трещало и ломалось кругом нас. Пол колебался. После каждого удара нас отбрасывало на полтора-два аршина в пространство, через которое летели пули, осколки снарядов. Гул от выстрелов и кирпичная пыль была кругом нас такая, что ничего не было слышно и видно. Но мы все-таки держались, несмотря на то, что среди нас были уже раненые. Мы все ожидали, что войска пойдут на нас, на приступ. Мы не покидали нашей позиции, надеясь, что нашими бомбами нам удастся отразить приступ, внести в их ряды панику. Остальное доделали бы вы своей атакой. Превосходные в числе, бесконечно лучше вооруженные войска обыкновенно деморализуются при непосредственной встрече с восставшими, когда солдаты, защитники старого порядка, встречаются лицом к лицу с восставшими рабочими.

— Скорее, Наум, — перебил меня комендант. — Вы не на митинге! — Ну, что же эти войска?

— Они продолжают стоять, не двигаясь, на противоположном конце Конной площади, — ответил я. — Не видя нас, они не нарушают воинской дисциплины, они подчиняются офицерам, непрерывно стреляют в нас из винтовок, пулеметов и двух пушек. Последние сделали уже свое дело. Стена, пол, где я стоял, вдруг со страшным треском и гулом рухнули в облаке известковой и кирпичной пыли. Я не знаю, каким чудом мне удалось во-время отпрыгнуть. Сейчас войска сделали перерыв на несколько минут. Стрельба прекратилась. Я воспользовался моментом и пришел вам обо всем рассказать.

— Что же вы думаете обо всем? Какое ваше мнение? — задал мне вопрос тов. Авилов.

— Я думаю, — отвечал я, — что военное командование будет продолжать стрельбу и разрушать завод. Через четверть-полчаса остатки стены рухнут. Затем пули и снаряды доберутся и до вас. Остается или умереть или сдаться. Если прикажете, я вернусь наверх, и мы будем держаться, пока не будем погребены под кучами кирпича.

— Я ставлю вопрос на голосование, — обратился тов. Авилов к штабу боевых дружин.—Вы все слышали рассказ товарища Наума. Для нас остались два выхода. Один — последовать примеру меньшевиков и сдаться. Другой — держаться до конца и погибнуть, как следует борцам за революцию, под пулями и под кирпичами падающих стен, которые неизбежно рухнут на нас. Я предлагаю второй выход.

— Нет, — возразил комендант, а за ним и тов. Андрей. — Мы исполнили свой революционный долг до конца. Мы не сдались по первому требованию, как меньшевики. Мы попробовали вступить

в бой. Перед потомством и перед лицом истории мы сделали все. Военное счастье могло бы повернуть еще в нашу пользу и наоборот. Я протестую против принесения себя в жертву. Я высказываюсь за сдачу. Надо торопиться с решением вопроса. Слышите!..

За стеной снова послышалась трескотня от выстрелов ружейных и пулеметных и гул от выстрелов из пушек. Голос говорившего заглох от шума выстрелов. Поспешно поставили вопрос на голосование. Большинство штаба высказалось за сдачу.

— Наум, — услышал я приказ коменданта, кричавшего мне над ухом. — Выбрасывай белый флаг!

— Но мне нужно снять товарищей, оставшихся наверху, — возразил я.

— Это сделаю я сам. Вы должны выкинуть белый флаг. Торопитесь! Слышите, какая стрельба!

АРЕСТ.

На дворе завода, куда мы вышли из столовки, виднелась картина разрушения. Огромные, крепкие заводские ворота были насквозь изрешетены пулями и наполовину сломаны снарядами. Следы пуль виднелись всюду на стенах, на стеклах, пробитых насквозь, на оконных рамах, на заборах. Воздух был насыщен кирпичной и известковой пылью. Слой этой пыли лег уже на лежавший на заводском дворе снег, принявший вследствие этого красноватую окраску.

Я оглянулся кругом. Я находился еще в состоянии высшего воодушевления, родившегося во мне и укрепившегося во мне во время пребывания под пулями и снарядами наверху заводского здания. Я не испытывал ни малейшего страха под пулями, продолжавшими летать и жужжать по двору. Как истый солдат революции, я пошел бы, не рассуждая, на самое опасное место. Если бы комендант сказал мне, чтобы я вернулся наверх, я, не возражая, немедленно отправился бы туда. Теперь он мне отдал приказ выбросить белый флаг, я исполнял это поручение под пулями.

— Но откуда взять белую материю, нигдѣ ничего не видно? — спросил я.

— Стойте, Наум! — вскрикнул тов. Димка. — Я вам помогу! Надо сорвать занавес с окна.

Быстро сорвав ее, он принес мне. Мы вместе с ним ее нацепили на длинную жердь. Димка отворил ворота и я выбросил вверх белый флаг. Тотчас по знаку, данному полковником, прекратилась стрельба, от линии солдат отделилась группа военных санитаров и побежала к воротам.

— Есть у вас раненые? Где они? — спрашивали они.

— Идите туда, на двор завода, — сказал я им.

Я находился в каком-то забытьи. В моих ушах попрежнему

раздавались еще грохот выстрелов, жужжание пуль, треск ломающихся и рушащихся стен, пола, потолка. Я видел себя попрежнему стоящим в простенке у окна, с бомбой в руке, готовым бросить ее и или победить или погибнуть. „Я жив, — думал я. — Мы сдаемся. Как жаль! Был упущен такой прекрасный момент умереть за революцию!".

— Наум! Наум! — услышал я голос тов. Гринченко. — Что же вы стоите и спите? Комендант Николай велел мне вас разыскать. Он, Пал Палыч, Андрей, Захар, Димка, все почти наши дружинники успели уйти через боковую калитку и через ограду. Скорее, пока не поздно!

Мы бросились к калитке, о которой говорил товарищ.

— Скорее! Скорее! — кричал тов. Гринченко. — Опоздаем!..

Мы торопились, бежали, спотыкались, снова бежали. Наконец, мы достигли калитки, о которой говорил тов. Гринченко.

— Здесь! — услышал я тов. Гринченко, бежавшего впереди меня.

Но мы уже опоздали: мы упустили благоприятный момент. Калитка оказалась запертой. Мы пробовали перемахнуть через забор. Но всюду с этой стороны завода, где не было совсем войск во время бомбардировки, теперь стояли солдаты и казаки, направлявшие на нас дула своих ружей и кричавшие:

— Назад, забастовщики, стрелять будем!

— Эх, эх, Наум, Наум! — упрекал меня Гринченко. — Из-за вас и я теперь опоздал!

На заводском дворе между тем на красноватом от кирпичной пыли снегу, усеянном ветками деревьев, обломками досок, оторванными во время бомбардировки осколками снарядов и пулями, собралась толпа тех, которые, как случайные участники происшедшего, сидели, попрятавшись, по отдельным мастерским завода. Они образовали очередь, голова которой находилась в воротах. Среди них находилась и главная масса боевиков, которой так же, как и мне, не удалось убежать через заборы. Они сдавались. Впереди перед воротами завода стоял рядом с городовым агент охранки, переодетый рабочим. Охранник, чрезвычайно походивший по внешнему виду на рабочего, и притом самого серого рабочего, очевидно, для того чтобы лучше проникнуть на митинги и всюду, где бывают революционеры, сортировал выходящих. Троим, четверым, а иногда и пятерым и шестерым он давал возможность проходить налево, значит, на свободу, затем одного-двух он заставлял итти направо, на белую от лежавшего на ней снега площадь, на которой вдали попрежнему виднелась линия солдат и на которой черным пятном выделялись попрежнему арестованные, сдавшиеся добровольно до бомбардировки меньшевики. Отпущенные на свободу направлялись налево, вдоль забора завода, до конца площади. Они быстро шли, как бы боясь, чтобы их не вернули обратно, и затем, повернув налево, исчезали за стеной из поля зрения.

„Счастливые! — думал я. — Хорошо, если бы охранник ошибся и меня тоже направил в ту же сторону".

— Наум, — шепнул мне Гринченко, — когда мы стали в очередь, — видели? Не всех арестовывают. Большинство освобождают Может, и мы попадем в их число. Вот было бы хорошо!..

Только стоя в очереди сдававшихся в плен врагу, перед своего рода евангельским судилищем, где судьей был, по всей вероятности, переодетый жандарм, „отделявший овец от козлищ" и посылавший последних в тюрьму, я очнулся и пришел, наконец, в себя. Подъем, воодушевление, энтузиазм проходили. Суровая действительность вырисовывалась передо мной во всей ее неприглядности.

„Прощай воля, свобода, — думал я. — Что ждет нас? Может, немедленный расстрел? Так было после подавления восстания коммунаров в Париже. Но ведь он не арестовывает всех, — думал я, видя, как охранник продолжал на одного арестованного отпускать четырех-пятерых на свободу в левую сторону. — А что если на самом деле он ошибется?

В этот момент я стал жить надеждой, что он ошибется. Я стоял уже у ворот завода с разбитым верхом, у груды кирпича, которая лежала слева, образовавшись от обрушившейся вследствие недавней бомбардировки стены, прислонившись к которой я еще так недавно стоял с бомбой в руках. Наконец, я стою перед самим охранником. Стоявшего передо мной рабочего он пропустил влево. Я тоже сам, не дожидаясь его жеста, шагнул в ту же сторону.

— Вы куда? — остановил он меня. — Вам не туда! Вам направо! Пожалуйте, направо!

— Зачем направо? — пробовал я возражать. — Мне налево! Я совершенно случайно попал на этот митинг.

— Нет, — возражал охранник. — Я знаю, что делаю. Вам нужно направо. Не задерживайте! Скорее! — И он, взяв меня за руку, передал городовому.

Отводимых направо, и меня в том числе, присоединили к группе сдавшихся до боя меньшевиков.

— Переписали вас? — спросил я одного из них. — Когда вас арестовывали, спрашивали ваши фамилии или нет?

— Нет, — ответил он.

— Тогда они совершили ошибку. Я предлагаю, если нас не расстреляют немедленно, отказываться в течение трех дней называть свои фамилии и непременно за все время ареста и следствия ни в коем случае не говорить, кто в какой группе вышел из завода. Это спутает карты у следствия и не даст возможности установить виновных" [1].

---

[1] Тактика пассивного ожидания, примененная восставшими 12 декабря 1905 года, в Харькове, является наглядным доказательством отсутствия военных талантов среди восставших революционеров. С такими солдатами

КАЗАРМА.

Уже вечерело, короткий зимний день приходил к концу, когда нас под конвоем солдат погнали в казарму Богодуховского полка, находившуюся неподалеку от завода, в которой и были укрыты солдаты, окружившие завод.

— Вот вам и забастовка! — произнес не то насмешливо, не то с сожалением высокий унтер-офицер, пропускавший нас через ворота казармы.

— Что сейчас будет с нами, Наум? — спросил меня тов. Дубровин.

— Надо готовиться к тому, что нас сначала самым свирепым образом изобьют и затем расстреляют, — ответил я.

Но ни того, ни другого не произошло. Нас заперли в пустую казарму, дали даже соломенные матрацы. Как только нас заперли, приставив часовых, я немедленно провел и в казарме постановление: во-первых, на случай обысков на наших квартирах, чтобы дать возможность очистить их от нелегальщины и избежать новых арестов, не называть свои фамилии в течение трех суток; во-вторых, на допросах держаться единой тактики, рекомендуемой II съездом нашей партии, особенно не давать никаких указаний, которые помогли бы следствию выяснить, кто вышел в первой, а кто во второй группе. Последнее было особенно важно, ибо, поскольку первая группа выявила бы себя, тем самым она подводила бы вторую под каторжные работы и под расстрел. Меньшевики дали честное слово, что они не подведут большевиков, вышедших уже после принятия боя. Надо признать, как ни соблазнительно было для меньшевиков сказать на следствии, что они вышли в первой группе, они в подавляющем большинстве, за редкими, совершенно единичными исключениями, исполняли свой долг за все шесть месяцев тюремного заключения.

На другой день к нам в казарму явился военный врач Николаев, хорошо знакомый многим из арестованных студентов, членов меньшевистских боевых дружин. Он согласился взять от нас и передать в организацию целый ворох писем. Его поведение, в данном случае, является доказательством, до какой степени оказалась разложенной правительственная машина.

ТЮРЬМА.

Через трое суток, поздно вечером, в сильный мороз под конвоем кавалерии и пехоты нас перевели в харьковскую губернскую тюрьму, где нас пытались поместить в подвальную, сырую, так

революции, какими были мы, с тою решимостью умереть за дело революции, можно было бы применить тактику активного наступления. Смелая вылазка отряда, вооруженного бомбами, могла кончится захватом двух пушек, оставшихся без прикрытия. В таком случае военное счастье могло бы повернуться в сторону революции.

называемую „японскую" камеру, где царствовал полумрак. После энергичного протеста мы добились перевода в лучшие помещения. Часть из нас получила более чистые, светлые и сухие камеры во втором этаже; другую часть перевели в одиночный корпус. То обстоятельство, что среди нас находились сыновья харьковской буржуазии, отразилось на общих условиях нашего существования. Ввиду того что в общих камерах не полагалось нар для спанья, которые после одного из бунтов арестантов были уничтожены, тюремное начальство разрешило так называемому „родительскому комитету", образовавшемуся из богатых родственников некоторых студентов, заказать для нас особые складные кровати. „Родительский комитет" также получил разрешение доставлять нам ежедневно горячую пищу. Вскоре мы начали получать и свидания с родственниками. Из рассказов последних мы узнали, что восстание в Москве было также подавлено. „Москва расстреляла свои патроны", — гласило извещение. Также мы узнали, что в первую же ночь после подавления восстания в Харькове на заводе Гельферих-Саде тов. Авилов собрал на Сабуровке (психиатрическая больница, превратившаяся в своего рода штаб революции) штаб боевых дружин и предложил перейти немедленно к партизанской войне. Вообще тов. Авилов являлся своего рода апостолом вооруженного восстания в Харькове и главным его организатором. Слово у него не расходилось с делом. Он не только вел борьбу за восстание. Он сам принимал участие и в борьбе на баррикадах, и в военной демонстрации 23 июня, и в восстании на заводе Гельферих-Саде. Даже когда вопрос шел об экспроприациях, у него слово не расходилось с делом. Он готов был взять бомбу и сам лично бросить в казачий разъезд. Казаки после одной подобной атаки перестали ездить по городу сомкнутым строем.

Тов. Лиза стала приходить ко мне на свидания в тюрьму. Разложение правительственного аппарата сказывалось и на порядках в тюрьме. Камеры в одиночном корпусе не запирались с 7 час. утра до 11 час. вечера. Письма мы получали и передавали через родственников на свиданиях. Надзиратели делали вид, что не замечают, как мы получаем письма от лиц, приходящих на свидание, и как передаем их им, родственникам, минуя прокурорский надзор. Кроме того, ежедневно нам доставляли письма в той пище, которую нам приносили от „родительского комитета". Обычная тишина, которой отличались тюрьмы при царизме, была совершенно нарушена нами. Пение революционных песен раздавалось в камерах тюрьмы с утра до вечера и слышалось далеко за пределами ее.

— Тридцать лет служу я здесь, — говорил нам один старик-надзиратель, — и никогда здесь ничего подобного тому, что теперь происходит, и в помине не было. Разве это тюрьма? Это — гости-

ница! Камеры не закрыты. Арестанты то и дело ходят друг к другу. Никаких правил не соблюдают. Чистая беда! Наверно, скоро настанет-таки светопреставление!

ПОДГОТОВКА К ПОБЕГУ.

Весною неожиданно на прогулке мы увидели тов. Авилова. Встревоженные товарищи передавали друг другу неприятное известие:

— Знаете, товарищ Пал Палыч арестован!

Все мы отлично понимали, и он в том числе, что если охранка подозревает или раскрыла, что он является участником самых дерзких предприятий партизан, ему не избежать долгосрочной каторги, а может быть и расстрела. Он сам, собрав нас на тюремном дворе, где мы получили право находиться на прогулке с утра до вечера, набросал план побега из тюрьмы. Более всего улыбалось бежать со свидания, замешавшись в толпе родственников при их выходе из тюрьмы по окончании свиданий. Так как после одного или двух побегов, совершенных таким образом, тюремное начальство ввело строгую проверку лиц, приходящих на свидания, при входе и выходе из тюрьмы, этот способ побега мы решили оставить. Решено было, что он бежит при помощи веревочной лестницы через тюремную стену. Лизе Большой, приходившей ко мне на свидания, было поручено принести в тюрьму и передать мне четыре револьвера, небольшой стальной якорь и веревочную лестницу. План был рискованный. Можно было влететь еще при передаче на свидании этих вещей. Решено было приносить все это по частям. Сидевшие в тюрьме большевики должны были в комнате свиданий становиться между надзирателями и мной и Лизой, чтобы не дать заметить, что она мне передает. Лиза Большая обещала все это сделать. Но она просила на время отложить это предприятие, пока ей не удастся куда-нибудь спрятать чемодан с динамитом, хранившийся в ее комнате под кроватью. Когда, наконец, чемодан с динамитом убрали из комнаты тов. Лизы Большой, тов. Авилов своим неуживчивым характером испортил все дело. Ни с того, ни с сего он, к нашему удивлению, поссорился с надзирателем нашего коридора. Этот надзиратель был не из худших, а из лучших. Мы с ним превосходно ладили. Он оказался более снисходительным к нашим нарушениям тюремных правил и более, чем другие, склонен был смотреть на них сквозь пальцы. Даже после 11 час. вечера он выпускал нас по-двое, по-трое в коридоре тюрьмы. Этой доверчивостью его к нам мы и решили было воспользоваться. Мы думали, что нам удастся его обезоружить, связать, отобрать от него ключи, выйти на тюремный двор с револьверами и веревочной лестницей, зацепить последнюю при помощи якоря, подняться по ней и бежать через тюремную стену. Поэтому мы приложили все

усилия, чтобы уговорить тов. Авилова помириться с этим надзирателем, тем более что прямой интерес дела требовал этого.

— Ну, что вам стоит, Пал Палыч, — говорили мы, — брать щетку и подмести пол в вашей камере так и тогда, как этого хочет этот надзиратель? Это же — мелочь. А от нее зависит ваш побег. Мы все умеем же избегать ненужных трений и ладить с ним.

Но все наши попытки помирить тов. Авилова с надзирателем кончились полной неудачей.

— Нет, — неизменно отвечал тов. Авилов, — я не могу позволить этому тюремщику оскорблять меня. Я, как вам известно, не являюсь сторонником христианской морали и не намерен подставлять правую щеку после удара в левую.

Для меня являлись совершенной новостью эти стороны крайнего индивидуализма в характере человека, являвшегося по сути дела тогда одним из выдающихся вождей партии.

Вследствие этой ссоры произошло то, что в тот день, когда тов. Лиза заявила мне, что начинает готовиться к приносу в тюрьму револьверов и веревок, тов. Авилов был неожиданно переведен из одиночного корпуса в другое помещение. Так как мы были разобщены друг от друга, план этот рухнул. Вскоре опасение, что охранке известно что-нибудь из деятельности тов. Авилова, не подтвердилось, так как тов. Авилов в один прекрасный день был освобожден из тюрьмы. Подготовка к побегу, принос через тов. Лизу Большую в тюрьму револьверов, веревок, — все это уже не понадобилось.

Харьковские передовые рабочие, сидевшие в тюрьме, производили чрезвычайно хорошее впечатление. У них выросло сознание своего достоинства. Они уже научились отстаивать свою личность и держали себя без унижения перед начальством. Также чрезвычайно хорошее впечатление производили руководители боевых групп со ст. Люботин, как Зеленский и другие. Сам Кирста, предводитель знаменитой Люботинской республики, которую полковник Эммануэль брал артиллерийским огнем, не потерявший тогда еще своих хороших черт человека и революционера, пел вместе с тов. Зеленским грустным напевом песню про „долю“. Поющий в этой песне спрашивает себя, где же его доля, которую он ищет всюду долго и упорно и не находит. „Может, она за горами, — говорили слова песни, — может, она за лесом, может, она скрывается в хоромах панычей“...

С тяжелым выражением на лице слушали эту песню арестованные за экспроприацию студенты: Крутов, Новожилов, Козаленко, Ушацкий, Галкин, ждавшие каторги или расстрела.

Кроме этих студентов, сидел в харьковской тюрьме гимназист, убивший за избиение заключенных одного из приставов, прозванного за толщину „Бочка“.

Несмотря на хорошие сравнительно с Тверью и В.-Волочком условия в харьковских тюрьмах, особенно в смысле пищи, доставляемой вышеупомянутым „родительским комитетом", я часто испытывал сильнейшую щемящую за душу тоску, особенно весной и наступившим летом, вечерами, когда гас украинский закат, когда загорались в небе звезды и ветерок доносил вместе с наступившим вечером мелодичные звуки украинских песен. В ярко-красных красках заката, густыми сочными мазками ложившихся на небе, в сиянии мигающих звезд, в отзвуках людских голосов и в особенности в задушевном смехе молодых девушек доносились до меня вести о жизни на воле, казавшейся более заманчивой из-за железной решетки, чем это было на самом деле, протекавшей внизу на свободе, в волшебных волнах лунного света.

Еще тяжелее стало, когда начали выпускать по нашему делу под денежный залог товарищей. Меня долго не соглашались отпустить. Мне кажется, мне помогла в этом отношении тов. Софья Николаевна Афанасьева. Она представляла собой пропагандистку нашей партии. В Харькове в 1905 г. она не являлась, как многие, новичком в революции. Она уже была сослана за предыдущую работу в Сибирь, откуда бежала за границу, где она познакомилась с тов. Лениным. Трудно было себе представить более преданного революции и более симпатичного человека, чем она. Однажды, как свидетельствует Постоловская-Дроботова, исполнявшая вместе с Александрой Валерьяновной Мечниковой обязанности технического секретаря Харьковского комитета большевиков, С. Н. Афанасьева принесла принадлежавшие ей или ее матери деньги, 5000 руб. золотыми монетами, и сдала в пользу партии.

Упадок духа стал заметен очень сильно у беспартийных рабочих, арестованных случайно на заводе. На последней неделе великого поста многие из них решили исполнить религиозный обряд — исповедываться и причащаться. Партийные рабочие позвали меня и с церковных хор показали мне их, стоящих в очереди у попа для исповеди.

— Что делать с ними, тов. Наум? — спросили они меня.

— Я думаю, что надо стараться, чтобы влияние попа не сказалось на них в том смысле, чтобы они не начали давать показания.

Предупреждение, сделанное им в этом смысле товарищами, возымело на них свое действие. Они просидели до конца дела, не рассказав, в какой группе они вышли из завода после сдачи его властям.

Летом в тюрьму привели тов. Алексеича (Лозовский). Время от времени мы узнавали, что тов. Артем, тов. Авилов Б. В., тов. Алексей интендант (Сергей Петрович Иванов), комендант Пальчевский, рабочий Сашка Садевский и другие совершали чудеса храбрости и революционного мужества в партизанской войне,

переодеваясь, скрываясь, преодолевали тысячу непредвиденных трудностей, убегали из-под носа жандармов, их искавших.

Наконец, в июне 1906 г. одним из последних, под денежный залог в 300 руб., внесенный „родительским комитетом", я был выпущен из тюрьмы.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ ТЮРЬМЫ.

— Вас освободила харьковская судебная палата, — говорила мне С. Н. Афанасьева, — а охранка вас намеревается арестовать. Приезжайте ко мне в „Крутояровку" с товарищем Лизой. Там у моей матери вы отдохнете и укроетесь от полиции.

Дом помещиков Афанасьевых, выстроенный не меньше чем за сто лет до описываемых событий, очень старый фруктовый вишневый сад, пруд в саду, служебные постройки, сами обитатели дома, кроме С. Н. и ее матери, — все здесь говорило о дряхлости, затхлости, гниении и медленном умирании. Дом, одноэтажный, простой архитектуры, от времени покосился, покривился и с внешнего вида смотрел плешивым дряхлым стариком. В комнатах пахло сыростью, гнилью. Половицы гнулись и, казалось, жалобно скрипели. Мне было душно в нем, и меня тянуло всегда уйти из него в сад или на простор полей.

В саду загнивал и покрывался плесенью большой пруд с купальней на его берегу. Преданье гласило, что когда-то, еще при крепостном праве, из него били ключи. Вода была холодна и прозрачна. В пруду водилось много рыбы. Соседний помещик, с земли которого протекали в пруд ключи, поссорившись с владельцем пруда, на зло ему, чтобы досадить своему сопернику, взял да и перекопал эти ключи. С той поры запустенье все более проникало в усадьбу. Обширные пахотные земли мать Софии Николаевны, по настоянию последней, продала по дешевой цене соседним крестьянам, хотя одновременно со стороны купцов и кулаков было предложение продать их им по очень высокой цене.

„На что нам эти земли? — наверно, думала С. Н. — Моя мать, сестры, наверно, скоро умрут. Что касается меня, я — революционерка-большевичка".

Помещичий род Афанасьевых вымирал. Особенно видно было это на сестре С. Н., больной какой-то тяжелой нервной болезнью.

ОПЯТЬ ОДЕССА.

Я уехал в Одессу. Здесь я лечился от сильного ревматизма на Хаджибеевском лимане. Мимо грязелечебницы проходила дорога. Вечером, когда возвращались с полевых работ крестьянские парни на телегах, доносилась песня:

„Вставай, подымайся, крестьянский народ!
Вставай на врага, брат голодный!"

Несмотря на это, чувствовалось, что революция пошла на ущерб. После неудач с „Потемкиным", страшного еврейского погрома в Одессе, длившегося, начиная с 18 октября, четыре дня и унесшего не менее 800 чел. убитыми и 5000 ранеными, воскресившего страшную Варфоломеевскую ночь, в городе усилились меньшевики и появились анархисты. Жена присяжного поверенного Гроссман, собиравшая при Дяденьке средства для комитета среди буржуазной публики и доставававшая нам квартиры для собраний, заявила мне, когда я разговаривал с ней на квартире ее мужа по Троицкой ул., 18:

— Я, Наум, больше не большевичка. После потемкинских дней я не могла больше оставаться с этими авантюристами, хотевшими подвергнуть город бессмысленной бомбардировке. Подумайте, что было бы тогда!.. Какой погром тогда устроили бы черносотенцы! Нет, я работаю теперь с меньшевиками.

— Вы ошибаетесь, — ответил я. — Если бы тогда решились на бомбардировку с захватом города, с восстанием во всем Черноморском флоте, наверно, самодержавия не существовало бы и не были бы возможны погромы.

ВО ВРЕМЯ ПОГРОМА.

В порту, куда я направился побродить, лавочница-еврейка рассказывала, как она избавилась от погрома.

— Как начался этот погром, мы дрожали, как в лихорадке, и все ожидали, что и к нам придут громилы, что и нам не миновать расправы. Мы закрыли лавочку, заперлись, и как только кто-нибудь останавливался перед нашими дверьми, мы дрожали от страха. Первый день прошел благополучно. „Слава богу", — говорит мой бедный муж. „Подожди еще!" — отвечаю я ему. Наконец, настал длинный, без конца следующий день 19 октября. Настала и ночь. Мы не спим... Ждем... Наконец, ночью слышим — идут. Остановились. Не меньше, как трое.

— Отворяй, — слышим, — жидовка! Мы сейчас вас всех убьем, а лавку разграбим! Такой, слышь, приказ пришел от начальства, чтобы, значит, жидов бить и товар их грабить.

Вижу, муж мой страшно испугался, слова не может промолвить, затрясся весь. Я одна не растерялась. „Подожди, — говорю, — я, может, поправлю еще дело". Слышу я, что голос знакомый. Вспомнила я, кто это. „Васька, — говорю ему сквозь дверь, — как тебе не стыдно! Ведь ты у нас всегда, когда у тебя денег не было, брал в долг. Ты приходил, покупал, и мы никогда денег с тебя не спрашивали, если их у тебя не было. Как же ты теперь нам за добро хочешь отплатить? Ну, убьешь ты нас, ограбишь, пропьешь, а тогда к кому придешь в долг брать, когда у тебя денег не будет?" Слышу, говорят они друг с другом. Васька говорит другим:

— Слышь, ребята, не стоит здесь грабить: наша эта жидовка. Пойдем в другое место или лучше всего в город, ребята. Там побогаче кого-нибудь ограбим.

Так и ушли, оставили нас. Мы так рады. Живы теперь. — „Васька, говорю ему, — повторяла она свой рассказ, — неужели ты добра не помнишь? Как тебе не стыдно!“ Сказала я ему это, и ушел он с ними. Вот как избавились мы от погрома, — заканчивала она свой рассказ, и лицо ее озарялось радостной улыбкой. На нем отражалось сознание счастья и радости, что она жива. Так же радостно-счастливо улыбался ее муж, сидевший в углу лавочки.

На буржуазную интеллигенцию этот погром произвел, видимо, революционизирующее влияние. На остановках загородного трамвая, где собиралась гуляющая публика, слышались среди гимназистов разговоры на тему: „Читал ты произведения Ф. Энгельса или нет?“.

Уезжая из Одессы, я увез с собой воспоминание о ярком солнечном свете утром, о горящих, как огромные брильянты, звездах на почти черном небе ночью, о море с его необозримым простором, с его волной, набегающей на берег.

Еще по выходе из Холодногорской харьковской тюрьмы товарищи Мерцалов и Грамматиков советовали мне на полгода или на год уехать за границу.

— Судебная палата вас освободила, а охранка вас завтра арестует, — говорили они. — Поезжайте в Бельгию. Вы — рабочий. Там развита металлообрабатывающая промышленность. Сами вы — рабочий-металлист. Рабочие-бельгийцы настолько сочувствуют нашей революции, что собирают даже деньги на нашу революцию. Кроме того, из Бельгии доставляют нам для революции оружие.

„Если охранка арестует, значит грозят мне каторжные работы, — думал я. — Пожалуй, будет благоразумнее уехать в те почти сказочные страны старой высокой культуры, где происходили победоносные революции, где рабочий класс давно уже ведет борьбу за свое освобождение“. Сидя на скалах у Ланжерона, на берегу Черного моря, прощаясь с красочными берегами этого моря, я чувствовал все усиливающееся во мне желание увидеть эти страны.

Я чувствовал, что я болен, утомлен и что мне необходимо уехать хоть на полгода, чтобы подлечиться, притти в себя и отдохнуть от ужасной усталости.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр
Вместо предисловия	3
Глава первая. От Минусинска до Красноярска	5
Глава вторая. Воронеж, Ярославль, Кинешма, Иваново-Вознесенск, Бобров, Киев	43
Глава третья. Тверь	70
Глава четвертая. Дорогой в Екатеринослав	102
Глава пятая. Одесса	121
Приложения	160
Глава шестая. Приезд в Харьков	172

ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ИСКЛЮЧЕН

ОГИЗ—КНИГОЦЕНТР

ЛЕНИН, В. И.

ПИСЬМА К РОДНЫМ

(1894—1917).

С предисл. и примеч. М. И. Ульяновой. (Дешевая б-ка Госиздата № 208—210

Стр. 188. Гиз. 1930. Ц. 30 к., в/п. 40 к.

ЛЕНИН И СТАРАЯ „ИСКРА".

ХРЕСТОМАТИЯ.

Под ред. П. КУДЕЛЛИ.

Стр. 206. Гиз. 1926. Ц. 1 р. 50 к.

КРУПСКАЯ, Н. К.

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕНИНЕ

Вып. I (Ин-т Ленина при ЦК ВКП (б).

Стр. 184 + 6 л. илл. и портр. Гиз 1930. Ц. 1 р., в/п. 1 р. 50 к.

ДОКЛАДЫ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ ВТОРОМУ СЪЕЗДУ РСДРП

Предисл. и общая ред. Н. АНГАРСКОГО.

Стр. 324. Гиз. 1930. Ц. 2 р. 40 к.

ИСКРОВСКИЙ ПЕРИОД В МОСКВЕ

Под. ред. О. ПЯТНИЦКОГО, Ц. БОБРОВСКОЙ, М. ВЛАДИМИРСКОГО.

Стр. 173. „Моск. раб." 1928. (Истпарт). Ц. 50 к.

„ИСКРА"

Полный текст № № 1—51

Под ред. П. ЛЕПЕШИНСКОГО.

В 7 выпусках. „Прибой". 1926—1929. (Истпарт).

Ц. за все выпуски 13 р. 50 к.

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ И ОТДЕЛЕНИЯХ КНИГОЦЕНТРА ОГИЗА И В „КООПКНИГАХ"